

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Т Р Е Т Ь Я

М А Р Т

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 1

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Маржэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентральный, роман, продолжение	5
2. Вл. ЛИДИН. — Могила неизвестного солдата, повесть	18
3. И. СЕЛЬВИНСКИЙ. — От Палестины до Биробиджана, стихотворение	42
4. А. АРОСЕВ. — На боевых путях, воспоминания, окончание	45
5. О. МАНДЕЛЬШТАМ. — Армения, двенадцать стихотворений	64
6. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение	62
7. С. ЛЕВМАН. — Торопливые рассказы	75
8. С. ОЛЕНДЕР. — Вечер, стихотворение	84
9. Александр ЯКОВЛЕВ. — Повороты, главы из романа, окончание	86
10. Вл. ЛЮБИН. — Экспедиция, стихотворение	109
11. В. СЕМЬЯКИН. — Краснозвездцы, стихотворение	110

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

12. Иван КАТАЕВ. — Тихий омут, очерк	111
13. Марк ЭГАРТ. — Павла из Чулышманской долины, из книги «Пере- права»	120
14. Борис ПИЛЬНЯК. — Очерки	132

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. Л. АКСЕЛЬРОД-ОРТОДОКС. — Пролетарское искусство и классики	147
16. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — О «Новой земле» Ф. Гладкова	166
17. Л. ПОЛОНСКАЯ. — Из еврейской литературы	170

НАУКА И ЖИЗНЬ:

18. Проф. Н. А. ПОДКОПАЕВ. — Современное состояние учения о по- ведении с точки зрения условных рефлексов	175
--	-----

ЗА РУБЕЖОМ:

- | | |
|--|-----|
| 19. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, <i>очерки международной политики</i> | 181 |
| 20. И. ТАЙГИН. — Японские силуэты. | 190 |

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

- | | |
|---|-----|
| Арк. ГЛАГОЛЕВ. — П. Кофанов «Станицы в огне» | 207 |
| Н. МАТВЕЕВ. — Н. Тихонов «Анофелес» | 207 |
| Я. БУЧИЛОВ. — Борис Анибал «Время, дела и люди» | 208 |
| Борис ГРОССМАН. — Э. Чаган «Еще раз рожденные» | 208 |

Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение¹)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава вторая

ПАВОДОК

I

Погода, я вам доложу! Мимо начанца сумрачно прошагал, завернувшись в плащ, испанец не испанец, а гидрометр Ареульский, он спешил вниз к реке, откуда рабочие посылали тревожные сообщения. Мизинка, с утра вздувшаяся, безостановочно поднималась, — застряв в реке, крестьянская арба градусником показывала подъем воды. Мужик накручивал волю хвост, но, расставя ноги, вол не двигался, а вода все прибывала вокруг него и вокруг застрявшей арбы, — так тебе и переехал реку! Впрочем на все эти мелкие подробности и даже на странное появление Аветиса в кожанке (вернулся парень), о чем-то пересмеивавшегося с плотником Шибкô, и на уход из конторы начальника участка, тоже вниз, к реке, — на все это, занятый своими мыслями, как-то недосужливо отмахнулся Захар Петрович, — в характере его была черта всех сильных личностей: бессознательно верить, что события пождут, покудава нм, личностям, недалеко сбежать по своей надобности.

Своя надобность—ариаднина нить—вела его домой, но не прямо домой, чтоб найти время оформить мысли, а кругом

всего участка, по косогорам и людным местам, — на людях Захару Петровичу думалось легче, чем в одиночестве. Потребностью быть на людях он как бы заботился о некоем внутреннем алби. На людях Захар Петрович, как еж на иглах, чувствовал себя сокровенней и безопасней. Он имел свойство делать множество посторонних и успокаивающих зрителя движений: высмаркивался, за воротником тер носовым платком и долго потом глядел на платок; скоблил чем попало переносицу, а чаще рылся в карманах, щуря глаз на извлекаемые оттуда бумажки и бумажонки, будто бы никак не находя нужную, — мимо подобной занятости текли люди, воспринимая Захар Петровича как в своем роде пустое место; читатель и по себе знает, стоя где-нибудь в очереди или в трамвайной коробке, сколь успокаивает его, при разговоре, подобная занятость соседа.

Суетливо-отсутствующим придатком к этому дню, полному всеобщего беспокойства, прошел Захар Петрович по людным местам и застрял в столовке, где ел долго и канительно, присматриваясь к каждому куску на вилке и чуть ли не поднимая его на свет. План, мелькнувший в уме его, зависел до некоторой степени от исхода бюро, — но вот узнай-ка об исходе бюро! Впрочем по

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1—7, 10, 1930 г.
и 2—с. г.

разным признакам бюро и вовсе не собиралось. Заведующий кооперативом, воздев лунное лицо над борщом, был тут; начмилиции Авака спешно вызвали с тремя милиционерами к реке; Агабек все еще сидел в месткоме, — видать, и нескоро соберется бюро. Обтеревшись по-простонародному горсточкой и с ладони заброся в рот оставшиеся крошинки хлеба, Захар Петрович встал наконец, — будь это в царские времена, где-нибудь на службе среди крестьянства, он искал бы образ в углу, чтоб накрестить усы, потому что начканц, Захар Петрович, любил пластику и обычай, но сейчас он только отрыгнул, больше для красоты, чем из потребности, и вышел. Его сразу обдал ветер с дождем. Было почти темно, темнело с каждой минутой, перемена произошла во всем. Люди мотались под дождем взад-вперед, не жалея сапог; жены их высыпали с ребятенками, глядя из-под ладони; подняв рукой длинную юбку, сухая, прямая, как палка, пугая архаизмом своей одежды гусей на улице, прошла по дороге жена Левона Давыдовича, — и наверху, будя ночь архаизмом своего появления, словно откликнулся кучер Пайлак: он гнал, раскинув руки с вожжами, крысоногих лошадок, улюлюкая сквозь вой и свист ветра, многозначительно, важно, охваченный близостью надвигающейся катастрофы, и его старомодная, с высоченной приступочкой, лихо отзванивавшая повозка подскакивала, как пустая жестянка из-под молока, на каждом придорожном камне. Все словно кинулось навстречу чему-то, выросшему впереди, как растет морской вал в бурю. Странная, парниковая теплота была в воздухе после утреннего мороза, — стало ясно, что, кроме ливневых вод, в эту ночь хлынет сюда тающий по горам снег, — тепло охватило снег, как ломота схватывает тело.

Внизу, при вспыхнувшем электричестве, горсточка людей суежилась на месте работ. Спешно снимались буровые, где еще осталось оборудование; люди таскали брезент, свернутые кольца шнура, деревянные шести, доски. Бол так и не вывез арбу из реки: он шел, распряженный мужиком, по половодью, здоров свой накрученный хвост и безостановочно облегчал желудок, — но не

было свидетелей воловьей нервозности: Мокрый лориец глядел с берега на перевернутое брюхо арбы, плившей здрав колеса к мосту — не выловить, не спасти арбу! В быстроте надвигающейся катастрофы было нечто ритмическое, подобное танцу, и тем удивительней, что первые его такты, можно сказать, мимо прошли Захар Петровича: сдвинув картуз на затылок, он попросту направился домой.

Клавочка лежала с ногами на одеяле, подушка на животе. Клавочка была расстроена: заболела в пятницу. Придя из лавки и чувствуя знакомую слабость в пояснице, она с минуту постояла не шевелясь, — так ли оно? Весь жар сегодняшнего возбуждения — глупости, надежные впопыхах, уходили от нее в легком, приятном ознобе, неся взамен чувство значительности, расслабленности и освобождения. Клавочка любила, нет, больше того, обожала эти первые минуты заболевания, но на стене висел таинственный листочек, где буквами ее, схожими с почерком мужа, стояло для памяти:

В понедельник — честь.

Во вторник — подарок.

В среду — маленькая неприятность.

В четверг — новость услышишь.

В пятницу — большая неприятность.

В субботу — исполнение желанья.

В воскресенье — об'яснение в любви.

Жди теперь большой неприятности! Удовольствие от лежанья и приготовленного на этот случай грязного томика Оливии Уэдсли с мешочком изюму было омрачено. При виде мужа она скользнула ногами на пол, подушка у живота:

— Заря, я заболела в пятницу!

— Обошлось, значит.

— Да ты слушай, — в пят-ни-цу! У тебя есть неприятность?

— Лопает изюм непромытый, а в деревнях брюшной тиф.

Он явно избегал разговора, и это была неприятность номер первый. Захар Петрович брезговал ревновать. Мелкие подробности семейной жизни он смахивал со счетов, как полушки при сведении баланса, но нынче во всем, в запахе жилья, в мягких складках Клавочки, ее расслабленных локоточках, уткнутой в подушку, в бледноте распущенных по-бабьи щек, чудился ему недопустимый

дух, чужое присутствие, прямо сказать — присутствие рыжего, о котором, быть может, мечтает собственная жена его, — а, что б!..

— Я тебя предупреждала...

— Лучше молчи, — предупреждала! Весь день шлюхой вокруг него ходишь, — предупреждала! Сама же и в городе его выискала неизвестно как, — фактически ведь это ты мне его, матушка, нашла, а сейчас «пре-ду-преж-да-ла»!

Клавочка подняла рукав к носу и заплакала. Она всхлипывала с удовольствием, потому что пятница, — доказательство, — но, перескакивая с мысли на мысль и сквозь всхлипывания угадывая несвязную мужнину речь, деловито додумывала в эту минуту: хорошо ли? Самому куда следует загадя написать — это дело. Эта «ариаднина мысль» начканца... тотчас же, угадав ее, Клавочка сама сквозь всхлип прибавила в общую кассу и от себя малую толику: «сейчас на Агабека везде косо смотрят!» Не он же в конце концов, а сам предместком Агабек без биржи принял рыжего, да еще уволить мешает, увлекшись, она опять вскочила с кровати и уронила подушку на пол:

— Пиши так, Заря: пиши, что ты узнал, что он скрывает, что парикмахер...

— Парикмахер? — Захар Петрович уставился на жену. Он даже кулак сжал от неожиданности. Дурак-дураком предстал он сам себе в эту минуту, — начальник участка тоже сказал «парикмахер». — Значит, ты это (крепкое слово сорвалось у него) все время знала и собственного мужа под суд подводила?

Ничего она не знает и не подводила, — горькое действие пятницы, неумолимое правило на стене, подвергавшее Клавочку роковой участи, почти пьянило своей неизбежностью. Ее даже тошнить стало, — рыская в шкафу, где лимон, по засаленным с неделю тарелкам, в суете лосыпавшихся невымытых ложек, попадая пальцами в муку с мышиным помётом, варенье, открытую помаду для лица, — голько бы соль не просыпать, — стояла Клавочка возле шкафа, глядя в зеркало на пишущего начканца. Но взамен курчавой с проседью обезьянней головы мужа ей вдруг померещился Арно Арэвьян, как он тут в комнате сидел и как упруго и нежно щека его охолодила

руку Клавочки. Звериная нега к чему-то, никогда в ней не бывшему, волной прошла по животу, — ребенок, дитя, убитые младенчики, — она остро почувствовала, какие мягонькие, мягонькие, ну совсем, как у сосунца, волосики у рыжего на затылке. Разнежившись, сладко представила себе Клавочка: посадят рыжего за решетку.

— Зарик, ты, дуся, брось, пожалуйста, волноваться. Я тебе, помнишь, говорила, — вместе ехали, Мишей звать, молодой такой в шерстяном свитере? Ты мне дай заявление, я этому Мише собственноручно отвезу, и никто знать не будет.

— Молчи, дай писать!

Он писал и успокаивался. Он писал благородно. С исторической точки зрения, в порядке событий, Захар Петрович был прав на все сто: участок — свидетель.

«...между прочим, вышеупомянутый шаг к сокращению и увольнению Арно Арэвьяна встретил сопротивление со стороны нашего месткома, товарища Агабека, и в силу этого, вопреки моей воле, произошло оставление Арно Арэвьяна на участке, несмотря на неоднократное указание на недопустимость такого, имея в виду прецедент с архивными бумагами, хотя я пустил в ход все имеющиеся законные меры ограждения строительства от безусловно неблагонадежной личности, по слухам, бывшей беглым парикмахером...»

— Тук-тук-тук, — вы дома? Выдьте, пожалуйста, на минуточку, Захар Петрович. Вода идет. Весь участок внизу, даже мамаша у меня тронулась, — так я хочу знать вы ничего против не имеете, если не успею к шести в контору?

Володя-меринос был приятно возбужден волнением на участке.

— Вода, говоришь?

Начканц сделал «гм» и шагнул к вешалке, где висел плащ с капюшоном. Он только сейчас сообразил, — где же это у него голова?

— Обожди малость, я сам пойду!

2

Вода на участке была событием первой величины.

Паводок прошлого года, случившийся поздно, к концу апреля, был, как крестьяне говорили, какого не запомнят

старожилы. Добавляли по секрету, что наверху в Чигдыме, где пользовались двумя оросительными канавами, не в срок спустили воды или даже умысел был, но только Мизинка снесла первую перемышку для отводного тоннеля и повредила внизу железнодорожной дамбе. Именно прошлогодний паводок и успокоил насчет моста,—гидравлики сошлись на том, что вторично такой воды, повторяющейся каждые сто лет, ждать в скором будущем не приходится и что мост с расчетом на двести пятьдесят кубометров свой срок простоят. А весна между тем пошла с норовом,—и вот уже третий раз били тревогу, третий раз, сломя голову, любители острых зрелищ мчались к реке, вздувавшейся выше нормы. Но настоящего, полного паводка, какой проходит, можно сказать, единожды, как болезнь с иммунитетом, корь или оспа, и ошибиться насчет которого нельзя, еще не проходило. Дождь и снег последние дни, смена тепла на холод, едкие ночные росы смущали крестьян. Не один Месроп косился на Мокрые горы, покуривая козью ножку и сплевывая между цынготных зубов тоненькой струйкой,—но с некоторых пор на участке принято было помалкивать. Шибкó с артелью, задержанный на мелких плотничьих работах, и тот насчет моста прохаживаться прекратил и даже, к тайному ужасу Александра Александровича, самолично украшал мост к приемке комиссией из управления и на самой приемке всей артелью пьянствовал и веселился. Однако «безвредный», поздно вечером проходя мимо месткома, видел иконописную голову Шибкó, что-то шепчущие алые губы Шибкó, расчесанный пробор, ровный, как на нестеровских отроках,—наклонясь к бледному профилю Агабека, плотник обстоятельно ему что-то шептал, а карандаш Агабека двигался по бумаге. Но это было вчера, а сегодня, при первой воде, вся артель собралась внизу.

В молчании, с каким она расступилась перед начальником участка, было что-то намеренное. Начальник участка шел не один. Наверху догнал его наконец специалист по бетону, товарищ Целадзе, и чтоб времени не терять, как был с повязкой—пошел рядом, умеряя

слегка своей близостью нервозность Левона Давыдовича. Разглядеть мост еще нельзя было. Шоссе под дождем раскисло, начальник участка водил рукой, показывая Целадзе то и другое, он это делал рассеянно, его шукастый профиль, когда падал свет, был мертвенно бледен: не то, чтобы он боялся за мост,—ни разу, с первого дня постройки, он не испытывал сомнения в работе, но в воздухе было нечто, причинявшее дурноту,—к перемене погоды, должно быть.

— У нас так: вода пройдет, и сразу установится погода. Хорошо, что строительный сезон...

Хотел сказать: не потеряем строительный сезон, потому что новый проект, еще не дошедший во всех деталях до участка, но уже в общих чертах ясный, был утвержден по всем инстанциям,—как в ослепительном свете качающихся фонарей, из-за поворота шоссе, окруженный жужжанием голосов, похожих на пачку мух над с'естным, им навстречу наплыл большой, видимый отсюда на все три четверти профиль моста. Начмилиции Авак стоял у самого в'езда на мостовой настил, раскинув руки. Его круглое лицо, красное от переругивания с толпой, было напряжено; при некоторой мнительности оно показалось бы даже не по времени пьяным или накрепко, словно чих, удерживающим усмешку. Милиционеры возлились пониже, у дамб. На мост публику не пускали. Авак ругался: отчаливай! Кто-то в майке, синий и веселый от стужи, выкрикивал для интересующихся: опять камень подмыло!

— Правая дамба ничего, цела, а левую подмывает,—сказал, подойдя к Левону Давыдовичу, десятник.

Но Левон Давыдович не услышал.

Представьте себе идущего вам навстречу человека. Представьте эдакого толстяка в реглане, с тросточкой, в новых полуботинках и заграничном котелке, с тем дружжелюбнейшим международным подмигиваньем, с каким пьяница видит пьяниц во всяком живом существе,—ноги толстяка заплетаются, трость в его сжатых пальцах, обтянутых замшей, игриво вычерчивает, как на дуэли рапира, неожиданные зигзаги в воздухе, лишая его вдруг точек опоры,—и

вот именно таким толстяком, величественно смешным, самоуверенным, как пьяница, наплыл всей своей тяжестью призрак моста на остановившегося начальника участка. Это было его детище, знакомое наизусть. Ничто не переменялось. Два покосившихся глупых шеста на перилах напоминали недавнюю приемку,—лохмотья красных флагов, поломанные лампочки от иллюминации жалко торчали на шестах. Но призрак жил сейчас. Зыбкими, заплетающимися, почти куралесящими казались его четыре ряжа, стоявшие сейчас не на мокрой гальке, как их привык видеть Левон Давыдович, а в бешено бьющей, натекающей, стремительной массе воды. Тросточкой в руках гуляки ломались в зыбком свете вечера, в каскадах дождя, преломлявшего свет, очертания ферм, множившихся перед глазами,—построенный мост был в действии. Но если бы он мог заговорить, мост, казалось, лихо запустил бы, спотыкаясь на четырех ряжах, классические слова всех времен и народов:

«ты п...пьян, брратец».

Отшатнувшись, Левон Давыдович перестал глядеть. Это длилось впрочем одно мгновение. Впоследствии, вспоминая минуту, Левон Давыдович никак не мог объяснить, что в сущности с ним было. Грузин, спокойно стоявший рядом, внимательными глазами смотрел туда же и видел большой, деревянный, громоздко построенный через реку мост, только и всего. Он не любил и не знал дерево, и ему в голову не пришло критиковать, но специалист по бетону казался во взгляде, каким он первым делом обшарил дамбу. Тут-то и показала себя работа Михаила Самсонова. Левая дамба, обложенная для красоты тяжелыми, добытыми повыше из карьера камнями, казалась сейчас толстой сигарой, уткнутой в пепельницу концом внутрь; не придушенный на конце дым тлел и отмывался от сигары, — именно так, оправдывая сравнение, легкими круговыми колечками отмывались снизу от дамбы медленные, круглыми поворотами, струйкой давая знать о себе, каменные плиты.

— Вы крепили дамбу не на цементе?—спросил грузин.

Левон Давыдович пришел в себя:

— Нет, да это ничего, выдержит. Большого паводка не может быть. Какой там цемент... Алексан Саньч, камни подвозят? Дайте распоряжение, чтоб засыпали справа, часть людей пусть пройдет через мост... что? Я сейчас! Туда, туда пусть набрасывают... Ах, да передай, чорт дери, ему кто-нибудь в ухо! Извините, Вахтанг Николаевич, вы спрашивали про цемент. Мы строили максимально дешево, на сопротивляемость в двести пятьдесят кубометров...

Часть рабочих, прорвав руки Авака, побежала через мост на ту сторону, паясничая и приплясывая, как бы пробуя ногами упругое сопротивление досок под собой. За ними медленно, подняв воротник, пошел начальник участка, извинившись перед спутником. Грузин, новый человек на участке, остался стоять, глядя на мост, казавшийся ему, честно говоря, некрасивым. Но если бы спросить его, чем некрасивый, он вряд ли бы нашелся ответить, потому что инженер Вахтанг Целадзе не был строителем, а был человеком материала, и технология, а не форма, вот что открывалось ему в предмете. Сколоченные из бревен ряжи, тонкорукие взлеты ферм, весь этот визг остроугольных, линейных, обнаженных в своем скелете форм ничуть не прельщала его со стороны конструктивной, и никакого смысла он не видел в нем, потому что он не чувствовал в мосту передачи силы, косога движения, единственного в мире по гениальной всеобъемлемости закона рычага,—что прежде всего увидел и почувствовал бы механик,—а только намокшее, угловатое, непрочное вещество. Ему вспомнились ясные линии построек из бетона и очарование легких дугообразных мостов, где железо-бетон был почти живым телом, где секрет движения был спрятан, как у человека скелет, и где просто стоит себе над рекой, очаровывая вас, полукруглый пролет белоснежного моста, словно радуга в небе, опоясывая берег с одного конца на другой,—вот это мосты, да! Впрочем смешно было и сравнивать настоящие, серьезные, большие мосты, стоявшие миллионы, с этой деревянной нескладной над маленькой речкой, сделанной... тут он осмотрелся и деловито сообразил, для чего собственно нужен был этот временный мост:

для перевозок машин и материала на тот берег, где повидимому пойдет главная работа: котлован, вход в тоннель...

«Да ведь и моя лаборатория должна быть с той стороны!»

3

Та сторона участка, отделенная Мизинкой, была только последние три дня связана с барачным городком постоянной и безопасной связью, а до открытия движения по мосту крестьянские арбы с материалом и машинами переезжали реку вброд, зависимо от погоды; рабочие иной раз тоже вброд шли повыше, где река текла не шибко, или пользовались зыбким висячим мостом гидрометра. Сложность перехода наложила на ту сторону, где стояло два-три барака и два больших складских здания, особенный отпечаток, какой есть в больших городах на фабричных окраинах. Главные работы предполагались именно здесь, и для них строили склады и готовили кузню, механическую мастерскую, расчищали место под жильё. Именно тут, недалеко, были каменные карьеры, откуда предполагалось возить камень для будущей плотины, еще когда не забраковали проекта. Тут же, в одиночестве, огороженный высокими стенами из сырца, спрятанный в ложбинке и всегда охраняемый угрюмым, волосами обросшим милиционером, стоял, как своего рода склянка с черепом в отдаленном шкафу у аптекаря, мрачный и одинокий пороховой склад. Сюда притти—значило сразу нюхнуть работу, как она есть и предполагается, и здесь рабочие чувствовали себя больше хозяевами, нежели на той стороне.

Инженер Целадзе опять нагнал начальника участка и перешел с ним через мост,—он хотел посмотреть место, где будет полевая лаборатория по бетону, хотя время для этого никак не подходило. У левой дамбы, на порядочный кусок обмытой, ковырялись и свисали на веревках рабочие. Группа с тачками ползла под дождем навверх, чтоб взять из карьера камень. На другой стороне любители надсаживались от критики.

Володя-меринос под большим ветхим черным зонтом держал под руку собственную мамашу, глядевшую неожиданно умными, старчески тоаковыми глаза-

ми на картину перед ней. Старуха выходила изредка и не попусту; узловатым, нетвердым пальцем она указывала вперед и головой трясла,—ей мост не нравился, по-армянски, жестким выговором, она сыпала замечаниями, как из сита: чэ, чэ, чэ, (нет, нет, нет), не нравится и не устоит мост. «Удивляюсь, какой он некрасивый под дождем»—сказала жена Маркаряна.

— А вот только вашей, бабьей, критики недостало!

Рассерженный Захар Петрович прошел мимо них к Аваку, но и в круглом лице Авака и в его уклончивом взгляде было нечто. Мост вышел на экзамен. Мост вышел на экзамен не один. Начканц знал, что экзаменуется с ним вся система управления на участке, весь подготовительный период работы, шесть месяцев, можно сказать, не одной Левон-Давыдовичевой, а главным образом его, начканцевой, политической системы, в которую он непогрешимо верил. Захар Петрович повернулся к экзаминаторам, прищунив свое мохнатое и уверенное око: экзаминаторы, чорт побери, старались. Яростный, теплый ветер дул с Мокрых гор, похожий на веселое собачье лая, когда мчитса собака за автомобилем. Черные, низкие клубы туч висели сверху, источая редкий тяжелый дождь. Мизинка пронеслась внизу без кудерька пены, и даже шуму от неё как-будто меньше стало,—Мизинка была страшна. Ее гладкое, черное, одутловатое, словно отёвшееся водой тело мягко прокатывалось внизу, как на резиновых шинах по асфальту катит лихач. «Н-да»—сказал начканц. И опять он услышал рядом бабий визг, и кто-то, хихикая, воскликнул:

— Ужотко он был красивше!

Так на участке говорили только донская публика, Марьянка-уборщица или артельная прачка. Но восклицанье относилось к мосту. Восклицанье выразило общее мнение: кто ни видел при дневном свете на спокойной речонке строящийся, чистенький, монументальный мост, тот обязательно повторял: «какой красивый», и восклицанье «красивше», отнесенное к прошлому, показывало, что вся эта публика видит ночью, в эффектной ночной обстановке, в блеске тысячесвечовых брошенных сюда волн све-

та, в вое ветра и брызгах дождя, словом в романтическую минуту экзамена, то же самое, что видел специалист по бетону,—катеорию эстетическую, а говоря попросту: уродливую, некрасивую, неблагоприятную сторону моста, словно за эти несколько часов сооружение могло измениться или перестроиться.

— Дура-то, прости господи,—громко сказал Захар Петрович,—красивше, некрасивше,—тебя бы инженером поставить! Для красоты мосты строятся? Чем зря балясы точить, шла бы по своему делу. Вот я возьму да за панику штрафовать буду, потому—имей понятие, о чем говоришь. При такой воде и выдерживает,—вот что надо сказать про мост. Держись, надо мосту сказать. Отстаивать надо свое сооружение, поняла?

Но кто-то прошел в темноте мимо начканца, задев его рукавом, и в ответ сказал одно слово: «дерьмо». Слово тоже относилось к мосту. Быстро оборотившись, чтоб разглядеть бузотера, Захар Петрович оступился в лужу, а когда поднялся, первое, что он увидел перед собой, был мост. Меньше всего понимал начканц в красоте или делал вид, что понимает. Но природный вкус, тайное чувство, неизвестно как живущее в человеке, даже самом прозаическом, ударило ему в голову, и начканц не удержался:—ах, ты, мать твою,—выругался он с бешенством не то по адресу выпачкавшей его лужи, не то вдогонку бузотеру, а вернее всего в направлении моста, виновника неприятности,—мост в самом деле был... не тогб. Чем и как объяснить некрасоту моста, Захар Петрович не знал, и если технолог Целадзе воспринял ее как плохое качество материала, ставшего несовременным, то начканц и с ним досужая дублика участка,—конторщики, дамы их, семьи рабочих, мелкий подсобный элемент,—все они воспринимали по сей день и восприняли сейчас мост просто как составную часть пейзажа. И в самом деле, в хороший день на пустом галечном ложе, над тонкими струями веером бившей шумливой речки, под облаками, слегка, в роде как яичным белком, взбитыми на синеве неба, между стенами ущелья, цвета старинной охры, мост стоял ничего себе и даже казался

в уходящем покое своих четырех ряжей красивым. Но куда же и почему запропала красивость? Подойдя ближе, начканц увидел своего бузотера: это был русачок-рабочий, скромняк и тихоня, не имевший с начала работ ни одного замечанья. Он стоял в группе рабочих, неотступно глядевших не туда, где левая дамба и куда все глядели,—там весь скат был почти обнажен от камней, и люди сверху бились, чтоб остановить размыв, а они глядели поближе, на крайний слева ряж. По виду ряж был, как остальные.

Рабочие между собой переговаривались насчет практических вещей: как забивали ряжи, сколько и какого сыпано в них камня, всухомятку сыпано или на растворе,—но каждый знал, что цементу на постройку не пошло и фунта. Все они были согласны между собой насчет моста, но если технолог брал его глазом как материал и женщины тоже взяли глазом как часть пейзажа, то эти рабочие-землекопы, совершенно как и стоявшие подале плотники и работавшие на дамбе щепнебойцы и камнеломы—все они брали мост не на глаз и даже не видели его весь целиком, а судили по седьмому чувству людей, делающих вещи: «рази это в наших местах мост?»

Если б кто пожелал вытянуть из них замечания по существу, то добился бы разве что одного. Каждый по порядку навел бы критику, касающуюся детали, ему понятной: место под мост не ладно,—под самым напором, берега тут некрепкие, дамбы для красоты заделаны, а толку мало, ряжи частые, большой воде пройти тесно, крепежу недостаточно, главное же дело, не соответствовал мост «нашим местам»—капризному нраву горных речек, который—нрав этот—был досконально изучен рабочими:

«на живую нитку делали».

— А когда наш брат, рабочий, на живую нитку делат, не жди, брат, толку, Ежели ты всю правду хочешь, вон гляди, толк-от каков: и стоит мост, да не работает.

Услыша громкую и спокойную фразу рабочего, суммирующую воедино все, что сегодня вокруг моста говорилось, Захар Петрович почувствовал легкое и неожиданное беспокойство, впервые за весь день. Не то чтоб усомнился в мо-

сте,—мост был незыблем, как его система, и не то, чтоб серое мужичье на миг выложило ему свой резон: «Тьфу на их замечанья»—мысленно сделал Захар Петрович, будто уж мог бы рабочий больше инженера знать и глубже его судить!

— Да чего ты понимаешь, колесо замазаное,—проговорил он с великим и убежденным презреньем, но очень правда громко, когда прошел мимо. И тем не менее беспокойство он ощутил настолько, что решился пройти на ту сторону, к начальнику участка: не случись бы чего, мелкой какой прорухи. Всеобщее настроенье показалось ему опасно: спички недостает. Хоть и облегчили участок от беспокойного элемента, а рабочий—вот он каков: достаточно самонаималейшей тревоги, чтоб нож в спину. Стройка с такими, —хо-зя-е-ва!

Полный горечи и презренья, он отстранил рукой Авака и, не слыша, что ему кричат, быстро прошел тем же путем, какой за полчаса до него проделал Левон Давыдович.

Начальник участка, охрипший от крика, был внизу, под мостом, где крепили дамбу, но когда Захар Петрович, человек комнатный, с большим трудом до него добрался и хотел заговорить, держась ради предосторожности за спину рабочего, он увидел, что Левон Давыдыч странно как-то стоит, деревянно и без всякого оживления, а ближе подойдя, рассмотрел его лицо. Отсутствующим, недвижным взглядом начальник участка глядел прямо в воду, туда, куда смотрели и рабочие с другого берега, на ближайший ряж, и смотрел удивительно,—начканцу припомнилась мать его над больным братом,—так только мать и глядит, зная, что умрет ребенок. Но ведь ничего как-будто, стоит ряж. Невольно покоряясь неподвижности этого взгляда, Захар Петрович с гнетущим чувством стал тоже глядеть и заметил наконец кое-что, самую малость. Водю давно сдвинуло и захлестнуло камни, горстью насыпанные вокруг ряжей, вода поднялась теперь выше. И вода медленно расшатывала ряж, словно слабеющий зуб во рту, незаметным, плавным, сильным движеньем, взад—вперед, как душил жертву страшная судорога смерти.

Только в эту минуту правда дошла

до сознания Захар Петровича. Ничего не сказав и не спросивши, как кошка быстро, где по спинам, а где хватаясь рукой за чужой пояс, вскарабкался он к мосту и услышал остереженья: уже ни с той стороны на эту, ни с этой на ту без очень важного, начальником участка данного, приказа не переходил народ. Вместо Авака, у настила выстроилось пять человек с той стороны, и цепь была с этой.

— А пусти ты, чорт тебя! — заорал начканц, врезавшись в цепь и ударив кулаком по чужой руке, — пусти, говорят!—Вырвавшись, он побежал по мосту, чувствуя или воображая странную слабость под ногами, но никакая опасность в эту минуту не задержала бы Захара Петровича. Тяжело проскочив мимо милиционеров, он на ходу крикнул:—Володька! Я гидрометру... Стой тут, не сходи с места, часы держи. Как первый ряж тронется, запиши время!

4

Гидрометр Ареульский, натура для окружающих загадочная, с утра был в очень странном настроении. Странное настроенье выражалось в нем преимущественно молчанием, но молчаньем, обязывающим окружающих к принятию мер,—даже разиня Мкртыч испытывал неопределенные порывы к действию, считая себя виновным в молчаньи патрона. Скосив рот в язвительной усмешке, Ареульский заносил весь день сложные данные науки своей из блокнотика в официальную, приготовленную для сего графику, но делал это, как если бы сводил с землей последние счета. Раза два за весь день раскрыв рот, он обронил между прочим фразу: «собираюсь уходить» или «скоро простимся», вынуждая слушателя, даже и постороннего человека, усиленно и с безграничным убежденьем упрашивать его «остаться», «не бросать дела», «малость обтерпеться». Только один Фокин, услыша фразу, легкомысленно произнес: «а что ж, проводим»—но от Фокина чего ждать.

Странное настроенье гидрометра было вызвано людской несправедливостью. Известно, что водный режим, наука, им ведающая, даже если похерить практику, не брать в счет эпоху, когда от наших, от гидрометрических данных зави-

сит, можно сказать, вся индустриализация,—а возьмем вопрос с научной стороны, беспристрастно, разве ж гидрометрия станет в ряд с какой-то там геодезией, землемерным делом? Землемер испокон веков и в литературе описывался как незначительная специальность. И он, гидрометр, для своих изысканий не мог человека допроситься! Ему, гидрометру, дали в помощники дефективную личность, Мкртыча. А технику Гришину для простейших работ—здорово живешь—отпустили интеллигента с немецким дипломом—рейки таскать!

Закрутив кашне, в макинтоше, гидрометр Ареульский шел под дождем на свой пост, а Мкртыч, всем нутром чувствуя собственную дефективность и находя утешение только в наждаке—жвачке, с утра припасенной во рту за языком, отмахивал собачьими шагами это же расстояние, но поодаль. В узком месте ущелья при единственном фонаре возносился, похожий на финскую лыжу, мост. Камни, накатанные Мизинкой, белели, как черепа, вдоль берега. Тесные здесь скалы почти касались друг друга, тянулись друг к другу, как дитя к матери. Мрачное величие места, приятное испанской душе Ареульского, было однако же нарушено чьим-то присутствием. Подойдя ближе, гидрометр увидел двух ребят в накинутых на головы мешках от дождя, лихо покачивающихся на мосту,— это были рабкор Вартан и его закадыка Гурген, после победы над Кошкой считавшиеся «общественниками». Будь Ареульский не так занят обидой, присутствии комсомольцев на неподобающем месте удивило бы его. Но сейчас он только рукой махнул, чтоб не баловали, и сунулся было к реке. Однако же в том, как бежала Мизинка, было сегодня нечто новое. Она замолчала, прикусила язык,—шума реки сверху почти не было слышно, отсюда, если глядеть, речка смахивала на конвейер из гладкой, вздутой, натянутой черной кишки, неслышно подаваемой слева направо, или же на узкое тело мокрой водяной крысы, животного почти мифического. В молчанье Мизинки был словно отзвук молчанья гидрометра, оно казалось налитым тяжелым и зловещим смыслом. Резвая джан-ахчик, красоточка кучера Пайлака, хрупкая зеленоглазая бе-

гунья—где она? Призраком с Мокрых гор, неизбежностью, паркой, безглазой головой крота на минуту поднялось черное тело реки, уставившись круглым, невидящим, тупым всплеском волны на мост,—и слепота стихии даже на Ареульского подействовала. Покачав головой, он пробормотал: «паводок»; нет сомненья, проходил настоящий паводок, большая вода, весенняя корь реки. Нельзя было упустить время. В каждом деле—у станка, при паровом котле, в игре пианиста, у наездницы, прыгающей через обруч, у больного брюшным тифом—есть такой момент, когда нельзя потерять секунду, а подогнать полную свою сообразительность именно к этой кульминации, чтоб не сползла точка. Скрутить во-время нитку или камфару вспрыснуть, или подойти к центральному узлу произведенья своего, соединяя высший расход энергии с моментом высшего на нее спроса,—в этом в сущности и лежит секрет всякой работы. Для гидрометра Ареульского такой точкой был паводок, и думать о качестве Мкртыча уже было поздно. При всем испанском стиле Ареульский был честный профессионал, тотчас же почувствовавший в себе, как хорошая лошадь при первом движении вожжей, знакомый прилив энергии. Он побежал сам с вертушкой на мост, где уже невозможно было стоять без опоры,—ветер рвал его с тросов. Ночь шла сюда вместе с ветром, а с ночью неотступно шла вода, и надо было встречать воду,—каждая секунда теперь имела значение, потому что в каждую секунду расход воды увеличивался, уже не в воле Мизинки было не набухать и не итти к кульминации,—и Ареульский должен был поймать кульминацию, не прозевать высочайший момент паводка. Он стал высчитывать с часами в руках, залепленный дождем, жестким и сильным, как глина, расход воды, подобно врачу, державшему перед кризисом пульс больного. Расчет теоретиков лопнул. Какой там раз в сто лет! Если на глаз считать, расход и теперь уже возрос втрое, и видать было, что нынешний не уступит прошлогоднему...

Гурген и Вартан, отошедшие было подалее, подошли снова и прислушались. Втрое означало уже двести двадцать пять кубометров в секунду. Но если ги-

дрометру действие цифры было только действием воды на вертушку, а все вместе—умственным бегом за кульминацией, то Гурген и Вартан вцепились в цифру ушами, как следователи, цифра их видимо не устраивала, они почесали головы под мешком, переглядываясь: «двести двадцать пять...»

— Ты, товарищ Ареульский, проверь, не многовато ли? Вода-то ведь с полча-ся, как пошла.

Голос Вартана звучал почти вкрадчи-во. Он подошел к мдсту, — мокрый се-ренький блокнотик в ладони. Его зака-дыка Гурген следил за большими, круг-лыми, старинными часами, висевшими у него с шеи на черной тесемке. Но Вар-тану ответил не Ареульский: гидрометр животом лежал на мокрых полозьях мо-ста, несшегося в ночь с быстротой дет-ских санок, и матершил в сторону рази-ни Мкртыча. А ему ответил из темноты простионароднейший говорок начканца, Захар Петровича:

— Тебе, паря, не колбасу вешают, — «проверь». Хоть не хошь, а сказано вполне ясно: двести двадцать пять.

Захар Петрович подходил медленно, хотя сюда бежал бегом. Столько же, сколь недовольны и разволнованы ка-зались комсомольцы, был Захар Петро-вич доволен и успокоен. Цифра — ви-дать было — вполне устраивает начкан-ца. Вначале, подбегая сюда, он чертых-нулся, завидя «общественников». Гурген и Вартан — в мешках, их тени, лохматые от ветра, — «ишь следопыты нашлись!» Но мозг его, как в трудные минуты жиз-ни, после утреннего затишья работал ослепительно, на полный ход: «и очень даже хорошо» — одобрил он их присут-ствие тотчас же. Следопыты не следопы-ты, но свидетеля в этот каверзный час не мешаает иметь. Пусть-ка утрутся! Две-сти двадцать пять — цифра в самый раз. Накинь еще пять минут...

— Растет вода! — крикнул он, тужась противу ветра и сплевывая изо рта дож-дик, — верно уже за двести пятьдесят перевалило!..

А ну, кто кого пересидит! Меряя усмешечкой от маковки до штанов обо-их примолкших парнишек, Захар Петро-вич обстоятельно располагался к отсидке в этом чортовом месте, где даже привыч-ного Мкртыча тошнило от страха. Сесть

разумеется некуда, но умному человеку стать с толком, в заслон от ветра и от дождя, имеючи между прочим полный перед собой вид, — тоже не воробей-дело. Уже он стоял в наилучшей близос-ти от гидрометрического поста, слушая звоночки и бормотанье сквозь ветер Ареульского, задавал между делом под-собные вопросы Мкртычу, а Гурген и Вартан, не желая сдаваться, опять по-лезли на мост. Тут, вдалеке от главного фронта, где ежась от холода, стоит сей-час участковая публика и где серой мышью, воротник поднят, руки в карма-ны, оцепенел Левон Давыдович, — тут было, по чести говоря, покойнее, хотя умозрительная, высшего класса, оконча-тельная борьба решалась именно здесь. «Думали, дураки сидят... а ну-те, настря-пайте-ка!» — со всем вернувшимся к не-му хладнокровием рассуждал начканц. Мысль о погибающем мосте больше его не трогала. Мост погибал по закону, на самом что ни есть законнейшем основа-нии. Хозяйственно, зорким оком гляды-ваясь в темноту, Захар Петрович и тут не терял времени, а перебирал в уме раз-личные графы расходов на мост: мате-риал — главная статья, а материал не пропадет, разберут да повыловят, сло-вом, дело-то не так страшно. Шесть ме-сяцев системы управления на участке совсем даже не проваливались на экза-мене. Мстительно запоминая, кто в этот день радовался или ругал мост, Захар Петрович еще как в будущем обещал про себя кой с кем посчитаться; но впро-чем весь этот сложный букет мыслей он таил до времени про себя.

5

В первую минуту никто крика Захара Петровича, обращенного к Володе-кон-торщику, толком не понял: при чем ги-дрометр и часы? Так не понимают дели-катного появления в дверях приличного человека с аршином, кивком бровей и таинственным шопотом запрашивающего: «из дубочка или фанерой под дубок?», покуда еще лежит больной, окруженный родственниками, в кровати; был еще тот переходный момент в болезни, когда не знаешь, куда она клонится, — ни один человек в публике, кроме впрочем одно-го единственного, — но об этом позд-нее, — не подозревал, что мост гибнет, умирает, дожил до последнего часа.

Мост стоял, как стоял раньше, странным и неподвижным, но вполне знакомым и как бы неизменившимся в своём лице, храня то же самое выражение безразличия и покорности. Он не работал. Не потому, что последними его перешли начальник участка и специалист по бетону. Не потому, что справа и слева цепь из живых человеческих рук окончательно оградила его от действия, как ограждает в музее металлическая цепочка кресло какое-нибудь, ставшее памятником самому себе и насмешкой над смыслом бытия своего, лишённого человеческой нагрузки. Нет, мост «не работал» в том особом и непередаваемом значении, какое вложил в эти два слова русачок-рабочий. Он не сопротивлялся. В картинной позе над бьющей водой, мост выстоял, в сущности, только материальным препятствием, поставленным для игры, — и его ряжи напоминали кегли. Тот, что медленно расшатывался под ударами воды, был сейчас предметом всеобщего внимания. Он походил на утопающего, чьи ноги держит акула или щупальцы спрута, — сила, сильнейшая всех его сил, безнадежность которой влияет на ум человека, делая его безумным, и борца превращает в маньяка, прыгающего, как галушка в рот, навстречу гибели, — вот именно таким утопающим качался ряж на глазах у зрителей. Его обречённость отзывалась почти что в зубах у людей: с каждым толчком воды люди мысленно тоже толкали его, чтоб наконец расшатав и свалить, словно это был не ряж, а вырываемый зуб. Когда он ёкнул и втянулся вдруг в черную, гладкую воду, у публики вырвался вздох облегчения. Но и на самом мосту его гибель отозвалась чем-то радостным и облегченным: не успел упасть ряж, как легко и мгновенно, словно рассыпаясь легкими радиусами веера, раскрытого детской рукой, с треском наступающего освобождения одно за другим резвернулись перед зрителями действия: плавно над упавшим ряжем всеми своими точками мостовой настил вдруг сделал кренделек, опустился выбоинкой, напомнив кастрюлю с ручкой или Большую Медведицу. Тотчас же другая, более длинная часть настила начала медленно, медленно, словно шерсть на коте, вздыматься над тремя ещё уцелевшими ряжами. Но раз-

рушение и на этом не остановилось, хотя стало уже невидимым. Оно перешло в незаметные движенья ферм, торчком выпятившихся под согнутым настилом, в ослабленную покинутость ряжей, в раздвижку бревен и досок, в непрерывное разложение формы, раскрепление ее, обратную работу, похожую на то, как крутит оператор задом наперед фильму. И оттого, что эту работу мост как-будто проделывал более дружно и наглядно, а еще верней оттого, что эта работа несомненно велась мостом, как несомненно не велась в нем необходимая работа на сопротивление, — сейчас он показался куда красивей, чем раньше.

Его гибель и на людях отразилась шиворот-навыворот. То глазели в полной неподвижности, потеряв волю к действию, а сейчас, не успев ряж поплыть, рабочие самостоятельно, не дожидаясь приказа, побежали спасать материал. Насколько — странная логика человеческая — ни один из них не пожалел о мосте, настолько все сейчас стремительно озабочены были жалостью к бревнам и доскам. Десятник пошел к Сан-Саньичу договариваться о разборке. Любитель из чернорабочих, скинув одежду, покрасовался в темноте на берегу белизной своего тела, попрыгал даже, прежде чем лезть в воду, сверху ему смельчаки, доползшие до выбоины, кинули конец каната, — это рабочие с опасностью для жизни, весело и почти с песнями, — да и запели бы, если б не стыдно, — вольные, как эта вода, разом окрепшие, весело чувствовавшие физическую свою силу, как на игру или на спорт лезли валить и разбирать фермы и увязывать доски для спасенья гибнущей части мостового настила. Вместе с ними, подняв воротник, невидимый Левон Давыдович, по голосу как-будто ничего, без паники, спокойно руководил разборкой, в то время как старенький Сан-Саньич, кряхтя от подагры, устанавливал по реке пикеты, чтоб не упустить лес вниз по течению.

Именно в эту самую минуту и вспомнил Володя-меринос крик Захар Петровича о часах и гидрометре. Крик припомнился впрочем каждому одновременно, точно он и впрямь появился в дверях человеком приличной внешности, с аршинчиком в руке и вопросом насчет дубка или фанерки под дуб. В самом

деле: сколько же было времени, когда смыло первый ряж? Быстрее мыши сунувшись пальцами за пиджак, Володя-меринос поднес круглый часовой циферблат к глазам, выйдя предварительно туда, где светлее. Его распухшие от холода пальцы не остались на циферблате равнодушными. Семь часов двадцать пять минут... кладь пять минут на возню, разговоры и прочее такое, итого семь,— большой палец Володи прикрыл минутную стрелку, словно блоху, поймал. Но тотчас же голоса вокруг показали Володе, что номер этот не пройдет, что окружающие тоже заинтересованы в вопросе и что вокруг пяти разыграется торговля,— в одну секунду, словно порох взорвался, вся толпа зрителей, безучастная к гибели, проявила к вопросу о времени, как рабочие к спасению материала, жгучий интерес. Стоя в центре нагнувшейся кучки людей, где среди женской публики уже стал преобладать мужчина, а женщин, не догадывавшихся в чем острота вопроса, сдвинули в сторону,— Володя отчаянно, с часами в руках жестикулировал: спор шел о пяти минутах. Какие там пять минут! Гибель моста и все, что пришло за гибелью, исчислялось получасами,— дурака не валяй, Володька! Именно в семь без пяти и погиб мост. Не заживай для администрации двадцать пять минут, заячья душа, да и заживай — не вывезет, потому что гиблое твоё дело, слезай с верхов! Комсомольцы, хоча, довольные до того, что даже и притупилась злоба, глядели, тесня Володю, в его круглое, красное, нагловатое лицо с кудерьком на лбу и в его нашлепнутый на часы большой палец,— комсомольцы были уверены, что пришел их час.

Но и Володя был уверен, что никакой их час не пришел. Мост погиб, когда следовало, и не мог не погибнуть по закону. Подобно учителю своему, начканцу, Володя-контрщик в ответственные минуты чувствовал и понимал вещи именно так, как необходимо должно было быть по душе и желанию начальства. Поблагодарит вас, таких-сяких, начальство за вылазку,— думал он не без злорачества по адресу комсомольцев. Отвечать-то за мост не вы будете! Хоть и не долга была его, Володина, учеба у

начканца, но бессмертные догматы Захар Петровича жили, как в своем роде конторская предпосылка, всосанная с чай-булкой канцелярии и вдохнутая воздухом смежной с начальством комнаты, не проветривавшейся с царских времен,— эти бессмертные догматы сделали сейчас Володю из глуповатого мальчишки-нахала членом великой корпорации. Он знал, что ревизия наедет — неприятностей не оберешься, неприятностей для товарища Манука Покрикова, а за ним для лица вышестоящего, а за тем для лица еще выше стоящего в первую голову, и, что даже если сделают эти лица противоположный вид, им будет усердие Володи затушить или умерить неприятность — только лишь по душе, ибо такова сущность всякого службизма.

Радость людей, теснивших Володю, была проще, — вместе с мостом они, как там ни говори, получили в руки оружие. Мост-то ведь, как там ни говори, провалился, провалился мост! В непроизвольной радости они держали карту козырем вверх, их молодые лица, — а была тут всё молодёжь: армянские парни из механической, клубные работники, члены артели Шибко, члены пожарной команды, — их молодые лица, смеючись, не прятали секретов: вот тебе козырь! Им дело казалось проще простого: шесть месяцев зажима на участке, разгон лучших общественников, единовластие держиморды начканца, самодурство чуждого и ненавистного большинству инженера Левона Давыдовича, шесть месяцев издевки над голосами рабочих, людей опытных, знающих, не один мост на своем веку выстроивших, — да чего там перечислять, одно скажи, хватит: шесть месяцев без производственного совещанья! И для них мост погиб по закону, не мог не погибнуть, но только закон был в неправильной постановке работы, а не в паводке, не в цифре паводка, не в лишнем двадцати пяти минутах, хоть сейчас и они, как Володя, вцепились в эти двадцать пять. Ни до, ни после гибели тот, кто сидел сейчас наверху и суммировал факты и кто получил наконец козырь в руку, не спустился вниз и не побывал на реке, потому что у него не было свободного времени, но именно для этого человека, ставшего вождем недовольства, обремененного растущим

багажом фактов, и должны они были отвоевать двадцать пять минут, прибегая к двадцать пять минут, принести двадцать пять минут, чтоб дать ему в руки лишнее преимущество.

Горбун Агабек имел сведения о событиях на реке чуть ли не каждую секунду. Он сидел в маленькой накуренной комнате месткома, под грязным зеленым абажуром лампы, точнее не сидел, а стоял, упершись в стул коленкой, а другую коленку безостановочно сгибая и разгибая под столом, как если бы она у него засиделась. Зеленое лицо Агабека с отеками от усталости веками было, несмотря на хорошие новости, как-будто невесело. Вот уже несколько дней Агабек жил, а еще больше внушал себе, что живет, в растущей атмосфере гибели и близкой катастрофы. Чувство конца стояло в этой комнате вместе с оторванной и никем до сих пор не приделанной дверью, стоявшей прислоненной к наружной стене, — день и ночь в открытую дверь натекал холод, сырость, натекало людское недовольство, шлепающее мокрой подошвой, пятнившее грязью, глиной, навозом совершенно уже неразличимые половицы в комнате. Оно вошло сюда с нарушенным уставом трудового дня, не кончавшегося для комнаты ни в обед, ни в ужин. И конец был в том, что уборщица миновала комнату, считая уборку бесполезной и лишней: «Отмоешь, как же! — кричала Марьянка-уборщица, — ты сам и защищай мои трудовые антересы, коли ты сидишь в месткомах!»

Этому чувству конца, утеснившему и

сжавшему мысли и действия Агабека, подобно тому, как сжимается к концу движение по параболе, — принесенное известие должно было дать последний, решающий толчок. Так по крайности думал запыхавшийся Гурген, самолично мчась снизу под мокрым от дождя мешком, красный от бега, довольный своим гражданским подвигом: он досиделся до финала, хоть и не пересидел начканца. Он взял под нготь ихний сговор, они в точности с Вартаном занесли цифру, — в шесть сорок снесло ряж, а тогда паводок был двести двадцать пять кубометров... впрочем цифры Гургена были несколько недостоверны, как и остальные цифры в этот вечер. Ожидая встретить полное удовольствие Агабека, Гурген увидел только невеселый и странный взгляд горбуна, налитый чем-то большим, чем усталость. Против стола, повернув к Агабеку свой чистенький и маловыразительный профиль, сидел сейчас секретарь ячейки и для чего-то некстати играл выпачканной в чернилах линейкой, поворачивая ее так и этак и похлопывая ею по коленке. Концы пальто секретаря, висевшие до полу, были вымазаны землей и глиной, указывая на недавнее путешествие секретаря по месту работ. Когда Гурген кончил запыхавшимся голосом рапортовать, секретарь все так же в профиль, не поднимая глаз, негромко сказал, положивши обратно на стол линейку:

— А это нормально, что рабочие радуются на гибель моста? Как тебе кажется, Агабек?

(Продолжение следует)

Могила неизвестного солдата

Повесть

ВЛ. ЛИДИН

Под аркой, в бронзовом кратере могильной плиты, синеватое газовое пламя. На арке высечены названия мест, городов, полей битв, где побеждала Франция. Елисейские поля лежат перед аркой. Над ними сумрачное небо Парижа. На площади Согласия платиново дымится фонтан. За ними черная с золотом решетка Тюильри. Под бронзовой могильной плитой с синеватым газовым пламенем и цветами, не успевшими завянуть, лежит прах неизвестного солдата. Его останки, безымянные кости, подобрали на поле битв, и вот под триумфальной аркой лежит он как воин, защищавший честь, свободу, величие Франции. Ветер со стороны Булонского леса овеивает его надгробие. Имя его неведомо человечеству. Посмертная слава назвала его неизвестным солдатом.

Человек прибредает на площадь Звезды и садится на скамейке скверика напротив арки с могилой. У человека небритое лицо, ему тридцать пять лет, ему можно дать сорок. Щетина его щек неопрятна. Глаза его равнодушно глядят на автомобили, пронесшиеся из Булонского леса, в Булонский лес, в Нейи. На человеке серая мятая кепка, сидящая на верхушке его длинных волос, желтый по краю воротничок, несвежая рубашка, разбитые башмаки тусклого табачного цвета. Большой палец его левой руки нодно пережжен табаком, солдатским «капоралем», который прижимает он в обугленной трубке. Человек приходит на могилу товарища. Имя товарища, со-

крытое от человечества триумфальным неправдоподобием, Евсей Давидовский. Он не был убит в бою. Он был расстрелян в деревушке Курландон, в районе Энны, весной тысяча девятьсот пятнадцатого года. Его расстрелянный безымянный прах подобрали на поле битвы и привезли с триумфом в Париж, чтобы неизвестный солдат под бронзовой доской гробницы охранял величие Франции. Матери и жены, потерявшие сыновей и мужей, приносят на его могилу цветы. Компании, возвращаясь после веселой ночи и посещения Центрального рынка, бросают охапки цветов, срезанных накануне и привезенных с рассветом в Париж. Генералы и города спорят между собою о чести очередного возжигания пламени. Его пронесут иногда через всю Францию, из департамента в департамент, этот неугасимый огонь вероломной памяти и блистательного церемониала.

Человек, который приходит в скверик напротив, сидит на скамейке, смотрит на синеватый огонь газа и говорит иногда сам с собой. Его имя — Гастон Леру, его профессия — бывший гравер, его жилище — Париж. Пустой рукав его правой руки засунут в карман пиджака. Ветер несет облака над площадью Звезды, как разодранные паруса судов. Елисейские поля темнеют от дождя. На уличных верандах кафе дымятся уже печи с раскаленным углем. Человек поднимается со скамьи и бредет через город. Он обходит места, где жизнь замедляла свой бег. Над Сеной туман и дождь. Мокрые зонты

пешеходов сталкиваются на мосту Инвалидов. Переполненный зеленый автобус пронесется с грохотом, как тяжелая артиллерийская запряжка. На пустынном плацу дворца Инвалидов — голые деревья, мокрый песок. Беспокойная метла ветров сметает в кучи листья и разносит их вновь по плацу. Старое знакомое небо тысяча девятьсот четырнадцатого года лежит над дворцом Инвалидов. Здесь, на этом плацу, Евсей Давидовский сделал первые шаги к своей славе. Дождь начинает идти сильнее. За дворцом широкий, синеватый простор бульвара Инвалидов, за ним — высокое стеклянное здание вокзала Монпарнас с наименованием всех пляжей северного побережья, куда может унести отсюда поезд; за вокзалом — бульвар Монпарнас с его кафе, с его лавочками, где продают холсты, багеты и краски; за ним — бульвар Порт-Рояль. Сенегалец с ружьем стоит у казарм иностранного легиона. За железной решеткой двора дремлют желтая лихорадка Африки, Марокко, пески. Гастон Леру проходит бульвар Порт-Рояль, потом авеню Гобелин. Он сворачивает в боковой переулок, где в дряхлости, в черных, обугленных временах стен оказывает нищете гостеприимство Париж.

Двадцатого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года Евсей Давидовский глядел на небо Парижа. Облака над дворцом Инвалидов неслись, как разбданные паруса судов. На двадцать первый день мобилизации Франции принимали в легион иностранных войск иностранцев. Рекрутское наборное бюро заседало в дворце Инвалидов. Волонтер входил во дворец и мог назвать себя любым именем. Его обучали сержанты, прибывшие из Северной Африки. Величие Франции ждало его подвига. Уцелевши в боях и в желтых лихорадках Марокко, он мог через пять лет выбросить свое прошлое, как старую газету. В очереди у дворца Инвалидов стояли все нации. Испанцы сплевывали себе на башмаки. Их волосатые руки хранили сумрачную тайну вендетты. Русские шли защищать туманные идеалы возмездия; их глотки, охрипшие от споров, поглоща-

ли едкие струи вонючих македонских сигарет и трубочного дешевого табаку. Евсей Давидовский ждал своей очереди. Голые — тощие, разжиревшие, покрытые рыжим, черным волосом, оторчески безволосые и со впавшими грудями недомерков — стояли в коридоре дворца. Военный врач вымеривал грудь, смотрел зубы, как коням на ярмарках, и хлопал по голому плечу: «годен для службы!» Евсей Давидовский натуживал впалую грудь. В местечке Красняны люди рождались тощими и непохожими на воинов. Чернотусый военный врач, с величественным носом романца, ударил его по плечу. Евсей Давидовский отошел от стола. Человечество ждало его подвига. Низкорослый, тучный офицер, призванный из запаса, выдавал у входа подъемные. Евсей Давидовский — легионер 2-го полка — вышел на площадь, Паруса облаков разошлись, и голубой корабль неба плыл между них, постепенно исчезая в тумане. Легионер смотрел ему вслед. Корабль уплывал в будущее. В восемь часов утра на другой день волонтеры собрались на Орлеанском вокзале, чтобы ехать в Блуа. Париж торопился очиститься от сомнительных иностранцев. Русская гармошка завела рекрутскую лихую тоску. Закопченная стеклянная крыша вокзала стала отодвигаться назад. Евсей Давидовский смотрел на Париж — в дожде и в тумане, на черные дома предместья, на черепичные крыши. Потом прошла Сена. Воодушевленные лавочники выставляли на станциях красное вино волонтерам, уходившим защищать их торговлю, сбереженья, покой. Вечером поезд пришел в Блуа. 113-й пехотный полк был уже на войне. Его черные казармы приняли в себя пополнение. Люди повалились на солому, разостланную на полу, и принялись спать. Алкоголь, табак, возбуждение свалили их. На соломе, при огарке свечи, Евсей Давидовский начал первую запись в своей клеенчатой книжке...

Гастон Леру с авеню Гобелин сворачивает на улочку Крулебарб. Она идет книзу, отгороженная каменными облученными заборами, ущельями домов, построенных столетие назад, с чаще

глиняных труб, из которых сыплется сажа. Париж здесь стар, непригляден и не рассчитывает на внимание соглядатая. Рабочие с автомобильного завода Дэлонье, мастера и старьевщики обитают на улице Крулебарб. Деревья из-за заборов простирают над ней свои опустошенные ветви. Гастон Леру входит во двор дома, облупленного от времени; его черные осклизлые стены поросли лишаями сырости. Во дворе стоят старые разбитые фургоны и кабриолет прошлого столетия; из его разодранного сидения вылезает колтун рыжей пакли. Гастон Леру бредет через двор. Прорубленное окно в сарае завешено выгоревшим номером «Энтрисижан». В мастерской Эфроима Цаткина трубки свернутых старых холстов, обугленные копотью стены и сырость. Ее зловещие трупные пятна сползают на стены. Эфроим Цаткин лежит под двумя одеялами. Его горбатый нос, черная с сединою борода отражены на стене. Огромный портрет старого еврея с молитвенным ящичком на лбу, простертый над ним, и медная тарелка цирюльника, блистающая по утрам у ворот, — все это походит на знакомое местечко Красняны. Гастон Леру выдвигает табурет и садится посредине комнаты; они оба молчат. Потом он спрашивает:

— Ты был у маршана?

— Маршан — подлец, — говорит Эфроим Цаткин, не поворачивая головы. — Ему нужно, чтобы я сдох, как Модильяни. Тогда он начнет продавать мои картины за сотни тысяч франков. Маршан — подлец, — говорит он опять. — Я не хочу умирать.

— Нам не надо было идти на войну, — отзывается Гастон Леру равнодушно. — Война оторвала мне руку и сожрала твой талант. Инвалиды не нужны Франции. Я был опять у Евсея. Сегодня утром на его могилу возложила огромный венок делегация американских солдат.

Эфроим Цаткин поворачивает наконец голову.

— Приходила консьержка. Чрез два дня нас выбросят отсюда на улицу. У консьержки есть на примете жилец. Она может заработать двести франков. — Потом он молчит. — Что Да-

вид? Неужели он не дает за протез трехсот франков? Эту челюсть делал лучший дантист. Двенадцать золотых зубов и пластинка.

— Давид — ростовщик. Его надо убить, — говорит Гастон Леру. — Вчера он давал двести франков. Сегодня он дает сто пятьдесят. Он говорит, что золото падает в цене. У него тик. Он разевает рот и трясет головой, как пингвин, подавившийся рыбой. Он был подрядчиком по уборке трупов в Шампани. Он заработал на мертвецах миллион. Мы воевали за счастье Давида, Цаткин!

Потом он вытаскивает из угла свернутый плоский тюфяк. Он раскладывает его на полу. Из-под дверей несет ветром. Гастон Леру ложится на тюфяк и натягивает на себя мешок и пальто. Его ноги в башмаках табачного цвета лежат неподвижно и плоско, как ноги мертвеца.

— Надо отдавать за сто пятьдесят франков, — говорит он через минуту, — пока он дает еще их. Сто пятьдесят франков за челюсть, которую изготовил только для героев! Консьержка хочет заработать на этой студии деньги... она заработает их. Художникам нужны мастерские. Маршан не хочет больше покупать твои картины. Он говорит, что ты отстал, Цаткин. Если ты даже подохнешь, все равно ты не станешь известностью. В твоих красках не осталось радости. Война выела радость из твоих красок, как бензин.

Потом Гастон Леру достает из кармана клеенчатую книжку Евсея Давидовского. Он подпирает голову и начинает читать.

— У него хватало еще времени писать дневник, — говорит он в раздумье. — Если бы мы могли доказать, что это и есть дневник неизвестного солдата, мы были бы богаты на всю жизнь. Я показывал его всем букинистам на набережной Вольтера, никто не верит. Один старикашка предложил два франка, а гроб Евсея покрыли национальным флагом, его хоронили вторично под залпы и орудийные салюты!

Он подпирает голову и читает первую запись Евсея Давидовского в казарме 113-го пехотного полка в Блау...

Двадцать второго августа 2-й полк иностранного легиона выстроили на казарменном плацу в Блуа. Внизу, за деревьями осенних садов, видны были Луара, средневековые покатые улочки, мрачный и торжественный замок Валуа. Евсей Давидовский стоял по мелкорослости на крайнем левом фланге. Красные штаны, подтянутые шерстяным кушаком, были велики, красное кепи на голове, лишенной обычных рыжеватых волос, спускалось на уши. Лейтенант Сандрё, уже нетрезвый с утра по марокканской привычке пить, чтобы предотвратить лихорадку, на кривых кавалерийских ногах обходил фронт. Золотые нашивки на его рукаве сияли солнцем.

— Как стойте, каналы! — закричал он петушиным голосом. — Сержант Берто, выровнять фронт!

Он проходил вдоль фронта, мутно глядя в глаза стоявших в ряду.

— Вы — легионеры Франции, а не уличные девки, — говорил он на ходу, тыкая каждого стеком в грудь. — Вы идете воевать, а не...

Грудь выгибались, головы поворачивались ему вслед. Так дошел он до левого фланга, до Евсея Давидовского.

— Как стоишь, свинья, — закричал он, — таких солдат мы посылаем чистить нужники!

Сержанты, муштровавшие марокканских солдат, следовали за ним.

— Он был педераст и садист, лейтенант Сандрё, — говорит Гастон Леру. — Его дважды в Марокко разжаловали в солдаты за убийство людей. — Его сержанты обращались с нами, как с сенегальцами. Если бы я мог сейчас всадить штык в тех патриотов, которые вскружили нам головы! За какую справедливость мы дрались, Цаткин? Где эта справедливость?

Эфроим Цаткин смотрит на трупиное, сырое пятно потолка. Нагая женщина в крутых шарах своих грудей и бедер висит над окном. Это могло бы быть равным Тьеполо! В тринадцатом году маршан, этот лживый старикашка, чмокал языком, он обещал галереи мира. Его черный котелок, черный костюм, рогуля черного зонта через руку — все было благосклонно. Он покровительствовал искусствам, он по-

ощрял дарования. Может быть, молодого художника убьют на войне. Посмертная слава приходит триумфально и неожиданно. Равнодушная, сытая красавица улыбается над окном. Его не убили, ее не продали в Амстердам в музей. «Мой друг, — говорит маршан, — увы, война калечит людей. Что делать! Это проклятие цивилизации. Надо возвращаться к первобытности, мы слишком стали утонченны. Нам нужны свежесть и примитивы. Посмотрите на негритянское искусство. Оно полно молодой крови. Наше искусство перестает убеждать. Старой Франции нужно немножко варварской крови». Говоря так, он продал в Америку коллекцию негритянских божков. Его агенты скупают этих эбеновых пузатых божков в глубине Африки.

— Я бы мог создать шедевры, — говорит Эфроим Цаткин. — Мои вещи выставлялись в Салоне. Мною заинтересовывались частные коллекционеры.

— Война! — отвечает безжалостно Гастон Леру. — Война.

Потом он перелистывает дальше клеветную книжку Евсея Давидовского.

Через два месяца после начала обучения в Блуа батальон иностранного легиона отправили на позиции. Сержанты выколотили из людей иллюзии. Романтику дожирали вши и дисциплинарные взыскания. Сержант Берто был снова разжалован за избивание до полусмерти солдата. Батальон расположился между Суасоном и Реймсом, на Краонском плато. На вершине горы, в одном километре, стоял старинный город Краонн; он был занят немцами. Серая изъеденная дождями равнина, одна скирда соломы, одно осиротевшее дерево и — трупы в боевых позах, не убранные после марнской битвы.

— Этот окоп назывался окопом смерти, — говорит Гастон Леру. — Днем немцы засыпали нас тяжелыми снарядами. Ночью нас кормили, чтобы мы не сдохли от голода и от ожидания смерти.

Старый номер «Энтрсижан» на окне начинает колыхаться от ударов дождя. Дождь идет над Парижем.

В деревушке Краоннель, рядом с окопами, были каменные дома, черепичные крыши и яблони. Снаряды разворотили

дома и кладбище. Земля пахла трупами и яблонями. В уцелевших домах были замурованы погребки; на погребках были надписи: «Замурованный погреб. Трупы». Яблони и трупы цвели в лунные ночи в Краоннеле. Их запахи смешивались. Ночью партии выходили убирать трупы, оставшиеся на поле сражения. Позади несли ведра с известью. Саперные лопатки звякали о камень, разрывая землю. Трупы стаскивали за ноги в ямы и заливали известью. Капралы, проходя, наступали на ноги лежавшим в сторожевом охранении. «Я возненавидел войну, — записал Евсей Давидовский в своей клеенчатой книжке. — Правы были те, кто был ее противником, кто не хотел в ней участвовать. Вчера солдат едва не облил меня известью, он принял меня за труп. Я лежал в сторожевом охранении, а сзади лязгали лопатки уборщиков трупов. На самом деле, не труп ли я уже?»

— Он ожидал смерти, — говорит Гастон Леру, — но он не знал, что его расстреляют свои же. В деревушке Курландон волонтер, чех Легашек, зашел в бювет, где сидели сержанты. Ты помнишь чеха Легашека, Цаткин? Он зашел в бювет и потребовал красного вина. Сержанты велели ему убираться, потому что бювет не для нижних чинов. Но он сел за столик и потребовал красного вина. Он сказал им: «Я — волонтер, я добровольно пошел на войну, я имею право пить вино наравне с другими. Я защищаю Францию». После этого они набросились на него и стали его избивать. Особенно пострадал сержант Берто. Он избивал Легашека, как привык избивать негров... Тогда прибежали другие волонтеры, они стали отбивать Легашека, а Берто выбежал на улицу и вызвал военный караул. Но в карауле был Евсей Давидовский, он первый бросил ружье, и все в карауле тоже побросали ружья и не стали арестовывать волонтеров. Тогда лейтенант Сандре послал донесение в штаб о военном бунте... Это был пятнадцатый год, весна. Военный суд приговорил к расстрелу трех человек как зачинщиков, в числе них Давидовского. А двадцать других были сосланы на каторжные работы в Марокко. Евсея Давидовского засыпали известью...

его убили как бандита и закопали как падаль. Потом его останки подобрали на поле битвы, его назвали неизвестным солдатом, его отправили с триумфом в Париж... он стал легендарным, как повесть о величии Франции.

Гастон Леру подтирает голову и смотрит в черный угол, на свернутые свитки холстов. Эфроим Цаткин лежит, задрав кверху свой острый горбатый нос.

— Я попробую завтра отнести маршану кентавров, — говорит он, — если с этим не выйдет...

Потом он спит. Осень с дождями и гриппами осаждает Париж. По улице Крулебарб не проносятся ночью машины. Ее нищету бережет сон. По лестнице, марш которой проходит сквозь комнату, стучат каблучки; сверху сыплются штукатурка и пыль.

— Люси поступила к Вурту... их возят в Биарицц — модели. Она хочет покорить Париж!

Гастон Леру натягивает одеяло на голову и наконец затихает.

Утром по улице Крулебарб идет старьевщик и дудит в рожок, как пастух. По авеню Гобелин громяют грузовики. Трубы Парижа дымят. Люди из булочных выходят с аршинными палками хлеба. Он стоит в высоких корзинах, как ружья в козлах. Медная тарелка цирюльника с конским хвостом качается от ветра. Осень ночью взяла приступом город. По облупленной стене гигантские буквы тонического вина Дюбонне уходят в небо. Переполненные автобусы проходят своей донисторической, грузною поступью. Люди подбегают к остановкам и щелкают ящичком, доставая билетки с номерком для посадки. Зонты, зонты, с зонтов течет дождь. Длинные, зеленые сколопендры трамваев уползают по бульвару Порт-Рояль к вокзалу Монпарнас, обратно — к Бастилии.

Поезд из Бельвю приходит на вокзал Монпарнас в 8,30 утра. Высокие двухэтажные вагончики девяностых годов прошлого столетия с кружевными грязными занавесочками на диванах, мокрый паровичок, высокие подножки вагонов. Мсье Поль Ренар, маршан, едет из Бельвю вторым классом. На вокзале Бельвю он покупает газету «Пари-ма-

гэн». Потом он садится на диванчик, вещает за ручку зонтик, надевает пенсне и начинает читать. Его подкрученные кверху усы нафабрены. Пенсне ущемило складку на хрящеватом носу. На мсье Ренар трехвершковый стоячий воротничок, в отверстии которого висит синеватая куриная складка шеи, черное застегнутое доверху пальто, на руках напульсники от ревматизма. На пальце правой руки золотой фамильный перстень-печатка. «Пари-матэн» открывается речью министра колоний в палате депутатов. Затем идет дельная статья о политических задачах Франции. За окном вращаются мокрые поля, Медон, Кламар, красные крыши пригорода, затем в дожде, в дымах выныкает Париж. Вилка Эйфелевой башни едва проступает в тумане. Мсье Ренар снимает пенсне, складывает газету, надевает на руку зонт. Двери вагончиков распахиваются, прибывшие устремляются к выходу. Он спускается по ступелькам вокзала, выходит на площадь, отрывает у трамвайной остановки билетик. По горбу раскрытого зонта течет дождь. Мсье Ренар входит в трамвай и пробирается во второй класс, как все бережливые французы. Кондукторша в суконной шапочке прощелкивает билетик в машинке. Мокрые зонты пассажиров сложены, как крылья летучих мышей. Мсье Ренар проезжает пять остановок. Потом он сходит и идет под зонтом к колодцу метро. Из железных решеток метро в тротуарах несет теплым жавелевым запахом, как из прачечных. Мсье Ренар спускается вниз и дожидается поезда. Поезд вылетает из-за подземного поворота, зашатаывает людей и с гулом и грохотом, минуто спустя, несет его к улочке Зонапарта. Министр колоний продолжает свою речь. Газета на уровне глаз, над головами сидящих. Германия не хочет платить долгов. Мы ездим во втором классе метро, мы нюхаем этот отвратительный воздух, мы экономим. Мы отказываем себе во многом... но мы победили, чорт подери! Франция умеет быть милосердной, но она умеет и требовать. — Защемленная складка в пенсне багровеет, как петушинный гребень. — Опять это дело несчастного русского генерала, которого похитили в Париже

днем! Доколе министерство на набережной д'Орсай будет терпеть издевательства? Нет, мы становимся гуманны, мы слишком гуманны!

Поезд подземной дороги строчит под земельями города. Продольные рекламы Синзано, вермутового аперитива, уносятся вместе с подземными станциями. Мимо несутся стены, перепоясанные удавами проводов. На станции Сент-Жермэн мсье Ренар выходит из поезда. Золотая крышка его часов отскакивает. Без семи минут девять. Он раскрывает зонт. Ровно в девять он подходит к витрине магазина, за которой роскошный масляный автопортрет Кларана, бретонские этюды Каллэ, городской пейзаж Утрилло. Галерея Ренара через годик станет в одном ряду с лучшими галереями Парижа. Пока же — выдержка, выдержка. В магазине на стенах, затянутых серым холстом, висят картины. Мсье Ренар снимает пальто, котелок, напульсники. Две минуты спустя он сидит за своим бюро. Костяной разрезальный нож вскрывает письма. Маршан из Копенгагена... уведомление из банка... объявление об аукционе на улице Вожирар... торги с молотка коллекции Делянкура... конечно наследники! Собирали отцы. Вдруг губы его раздвигаются в улыбочку, нафабранные усы лезут кверху.

— Нивуа приглашает сегодня на завтрак, — говорит он. — Это мило!

Его американское кресло опрокидывается назад. Мсье Ренар лежит в кресле, задрав кверху коленки. Его посещает отличное философическое настроение.

— Здравствуйте, мсье Цаткин, — произносит он, поворачиваясь вместе с креслом. — Опять картины? Нью? Натюрморт?

Эфроим Цаткин стоит с картиной подмышкой. Его длинный нос лоснится от напряжения.

— На этот раз фантастический сюжет, — говорит он насколько может развязно. — Это кентавры.

Он долго возится, устанавливая картину, чтобы было выгодное освещение. Наконец он отходит. Мсье Ренар лежит в своем откиннутом кресле, как астроном перед рефрактором.

— Что это такое? — говорит он вдруг. — Кентавры? — Он делает полукруг со своим креслом и начинает хохотать. — Вы чудак, Цаткйн, восклицает он наконец. — Кому в наше время нужны кентавры? Что вас осенило? Откуда такие фантазии? — Он покачивает ногами в начищенных башмаках. — Вы отстали от эпохи. После войны такие сюжеты не интересуют никого. Кроме того, эти грязные краски... я не узнаю вас, Цаткйн. Вы начинали так свежо в свое время!

Эфроим Цаткин стоит возле своих розовых кентавров. Его лицо белеет.

— Мне на войне повредили глаза, мсье Ренар, — говорит он. — Я не вижу красок, как прежде. Дело впрочем не в этом. Я знаю, что я Парижа не покорю. Но мне нужны деньги... всего двести франков. Картины покупают не только одни галлерей, их покупают также для украшения жилищ.

— Кому нужны кентавры, Цаткйн? — Мсье Ренар опускается вместе со своим креслом. — Кто захочет украсить свое жилище кентаврами? Увы, я не могу вам дать ни одного франка. Я не меценат, я завишу от своих дел.

Эфроим Цаткин начинает светиться. Блеск его лица отражает ответ.

— Я уступаю вам за полтораста, — говорит он.

— Я не возьму даже за пятьдесят. Мне не нужны кентавры. У вас было недурное дарованье, Цаткйн. Глаза... да, к сожалению, цивилизованные народы все еще разрешают споры между собой этим варварским способом. Франция хочет жить спокойно... довольно потрясений. Мы уже сделали нашу революцию. Теперь мы имеем право на отдых! Но нам не дают отдыха... нам угрожают со всех сторон. Против Франции заговор... и знаете, чьи это происки? Это — большевики. Они усиливают кризис Европы... вы знаете, что такое демпинг, Цаткйн? Это покушение на Европу, заговор против Европы. Коллекционеры перестают собирать, мировые ценности падают в цене. Для искусства наступают сумерки.

Мсье Ренар увлекается логикой своих построений. Он оглядывает победоносно собеседника. Складка его жи-

листой шеи ущемлена крахмальным воротничком. Он багровеет от своего красноречия.

— Эпоха меценатов прошла. Мы уже не можем покровительствовать, нам приходится оглядываться по сторонам... против нас заговоры.

— А если натюрморт? — говорит вдруг Эфроим Цаткин, — написанный в хорошей голландской манере натюрморт?

— Натюрморт умирает. Мир движется, он потерял неподвижность. Люди не хотят созерцать.

Эфроим Цаткин делает шаг. Лицо его белеет от решимости.

— В таком случае... одолжите мне соток франков. Мне нечего есть, понимаете ли, мсье Ренар, дело дошло до того, что нечего есть...

Мсье Ренар смотрит мимо, он прищуривает левый глаз, он разглядывает сквозь трубочку руки холст, висящий на стене.

— Франция должна заботиться о свих инвалидах... для этого есть министерство обеспечения. Но мы здесь не при чем, это не наши функции. Я тоже могу завтра оказаться жертвой этой мировой игры... Кризис охватывает Европу. Коллекционеры нищают и лопаются. Даже мировые шедевры идут сейчас за бесценок. — Он подходит к Эфроиму Цаткину и хлопает его по плечу. — Мужайтесь, Цаткйн. Конечно жизнь подобна бегам, где одни приходят первыми, а другие выходят из игры. Что делать, это печально, но это — жизнь! Розали поможет вам вернуть картину.

Потом Эфроим Цаткин выходит из магазина. Он идет узкой улочкой, затем он обходит широкое здание школы изящных искусств. Впереди лежит Сена. Облака разорваны над ней, и солнечная желтизна ударяет в мокрые, плоские камни мостовой. Зеленые лотки букинистов и антикваров вдоль каменной набережной открыты. Букинисты сидят на стульчиках против своих лотков. Эфроим Цаткин идет вдоль их рядов и вглядывается в лица. Никто не смотрит на него, никого не интересует картина в его руках. Наконец толстое лицо торговки кажется ему снисходительным.

— Мадам, — говорит он. — Я хочу предложить вам картину.

— Покажите товар, — отвечает женщина.

Она сидит под широким зонтом и вяжет чулок. На ее толстом обветренном лице почти нет мыслей.

— Это кентавры, — говорит Эфроим Цаткин. — Мифологический сюжет.

Женщина смотрит на кентавров. Их красная окраска и торсы, оканчивающиеся ногами с копытами, пробуждают в ней ленивое любопытство.

— Сколько вы хотите за это? — спрашивает она.

— Я хотел бы сорок франков...

— Нет, — говорит женщина и отворачивает лицо. — Не подходит.

Она опять начинает вязать чулок.

— Сколько вы могли бы предложить? — спрашивает Эфроим Цаткин, держа картину у своих ног.

— Десять франков, — отвечает женщина. — И мне еще три месяца придется ждать, пока кто-нибудь взглянет на это.

— Если бы я согласился за двадцать...

— Десять франков, — говорит женщина.

Еще через минуту она не купит совсем.

— Хорошо, — произносит Эфроим Цаткин развязно, — я уступаю вам за десять франков. Вы увидите... вы на ней зарабатываете. Вы будете покупать у меня согни картин.

— Посмотрим, посмотрим, — отвечает женщина.

Она достает склеенную бумажку. Потом она оглядывает еще раз кентавров. Может быть, в самом деле этот человек продавал краденый шедевр? Эфроим Цаткин оставляет картину. Он бредет теперь дальше вдоль набережной, мимо лотков букинистов, к Новому мосту. У моста сидит торговка с цветами. Несвоевременные розы цветут возле ее ног. Эфроим Цаткин смотрит на розы. Люси любит розы. Она забегала подростком в его мастерскую и нюхала розы, поставленные в вазе для натюрморта.

— Сколько стоят розы, мадам? — говорит он вдруг.

— Три франка за пару... три франка за пару, мсье.

Он приседает над корзиной. Его дрожащая, худая рука выбирает две розовые, тугие розы. Торговка засовывает в широкий карман своей юбки склеенную голубую бумажку. Эфроим Цаткин несет цветы в шелковой бумаге. Сдача позвякивает в его пиджаке. Он заходит в кафе на углу и выпивает у стойки кофе, чтобы не упасть от тоски и истощения. Потом он движется дальше.

Мсье Ренар без четверти час сходит с подножки зеленого автобуса на углу бульвара Распай и Монпарнас. Он покупает «Пари-миди», он переходит не спеша улицу. Он достойно растягивает удовольствие предвкушения. Перед рестораном Гран-Шамьер на улице выставлены корзинки с устрицами на кленовых листьях, омарами и кокиляжами. Он входит внутрь, протирает пенсне и оглядывает посетителей. Потом он делает приветственный жест.

— Добрый день, дорогой Нивуа, — говорит он через минуту. — Я рад вас видеть, дорогой Нивуа.

Они садятся в глубине ресторана. Мсье Ренар с достоинством и дружелюбно оглядывает собеседника. Широкий лоб в рыжеватых кудрях, подвижной розовый рот оратора. Нет, что ни говори, адвокаты—это гордость Франции... блеск ума, галльское красноречие. Порода, порода.

— Какие новости, дорогой Нивуа? — говорит он задушевно.

— Новости есть... но сначала посмотрим меню!

— Отлично. Просмотрим меню, — отвечает мсье Ренар готовно.

Он поправляет пенсне и начинает читать. По его лицу пробегают тени волнения. Он даже хорошеет в этот миг.

— Что вы думаете насчет жиго по-нормандски с бобами? — произносит он вдруг задумчиво. — Это не плохо. Или пулярда Франк-Комптуаэ? Секрет изготовления принадлежит патрону. Что касается меня, то я предпочел бы жиго.

— Отлично. Я также. Гарсон, сначала закуску. Потом два жиго. И бутылку Анжу.

— Итак, какие новости, мой дорогой Нивуа? — говорит мсье Ренар, раскладывая на коленях салфетку.

От нетерпенья он начинает отламывать от хлеба вкусные коричневатые корочки. Гарсон подкатывает тележку с закусками. Мсье Ренар выбирает маринованный лучок, сардину, пучочек красных океанских рачков с их прозрачной скорлупкой. Потом он нюхает в бокале вино, ополаскивает им рот, отпивает глоток. На его лице появляется вдохновение.

— Итак, какие новости, мой дорогой Нивуа? — повторяет он, высасывая рачка из скорлупки.

Адвокат поливает маслом зеленые листья ромэна.

— Вам известно, Ренар, что большевики распродают мировые сокровища? — говорит он торжественно.

Мсье Ренар морщится и гримасничает.

— Ну, не все, положим, а дублеты и кое-что из запасного фонда...

— Все равно — мировые сокровища. Но дело не в этом. Среди картин, поступивших для аукциона, есть Тициан, принадлежавший графу Бремонту. Женский портрет. Дама в лиловом. Вы знаете эту вещь, Ренар?

— Да... приблизительно. Уйдет в Америку вероятно.

— Так вот... нам нужен скандал, Ренар. Нам нужна экспертиза, которая докажет, что эта вещь краденая. Она украдена у графа Бремонта. Будут скандал и процесс. Нам нужно еще раз поднять общественное мнение Франции. Вы понимаете, о чем я говорю?

Мсье Ренар гримасничает и морщится.

— Не совсем... граф Бремонт — эмигрант. У большевиков свои законы. — Он натывает на вилку маринованный испанский лучок. — Они плюют на общественное мнение Европы. Если вам нужен лишний скандал...

— Да, нам нужен лишний скандал. Суд может признать претензии графа Бремонта. У нас есть данные предполагать так. Нам нужен эксперт, который установит принадлежность этой картины Бремонту. Это все.

Мсье Ренар вяло тычет вилкой в сардину.

— Условия? — говорит он утомленно.

— Пятьдесят тысяч в случае успеха. Две тысячи в случае неуспеха.

Мсье Ренар усмехается кисло. Сардина разламывается под его вилкой.

— В конце концов в этом деле реальных только две тысячи. За две тысячи давать свое имя эксперта... нет, это не коммерческое дело. Это иллюзии. Я не могу за эту сумму дать экспертизу.

— Какие ваши условия? — говорит Нивуа.

— Пять тысяч за экспертизу... пять тысяч!

Мсье Ренар говорит сомнамбулически. Его глаза смотрят мимо. Внезапно лицо его пробуждается, на нем появляется интерес, рука его, щипавшая хлеб, поправляет на коленях салфетку. Гарсон несет жигу по-нормандски с бобами. Мсье Ренар следит за ним, за его движениями, его длинный нос вытягивается и нюхает запах мяса и запах бобов.

— Вы чувствуете, как пахнет это жигу, Нивуа? — говорит он завороченно. — Это секрет патрона, специальность дома.

Он накладывает себе жигу на тарелку и принимается есть. Он отрывается только для того, чтобы отпить глоток вина или прожевать кусок.

— Какое жигу! — говорит он. — Вы чувствуете аромат мяса без примеси? Мясо отдает все самое лучшее, что в нем есть. Заметьте, что всякая другая приправа грубила бы его. Бобы как нельзя больше кстати. Кулинария — наука! Хороший повар так же редок, как хороший министр.

Он перекачивает во рту куски мяса. его лицо багровеет, потом лиловеет. Прежняя неумолимость оплывает на нем благодушием.

— Хорошо... только для вас, дорогой Нивуа. Четыре тысячи франков. И баста. Легкое Анжу требует сухого бордоского. В нем есть терпкость, которую вы не найдете в бургонском.

Он обглодал все косточки. Теперь кусочками хлеба он собирает с тарелки последний соус, он вылизывает тарелку, как истинный француз. Он заглядывает еще с сожалением в опустевший судок. Потом он откидывается на

спинку дивана, он достает зубочистку. Он отяжелел от еды, но становится говорлив. Его посещают блаженные и питательные отрывки.

— Меня удивляют большевики, — говорит он, закуривая сигарету. Он откидывает голову и выпускает струю дыма. — Почему они не хотят признать старых долгов? Это все равно, как если бы Франция вычеркнула из своей истории эпоху Наполеона III. История остается историей. Нет, как хотите, это небывалый поединок. Культура Европы борется с нашествием варваров. Кто победит? Вот вопрос сегодняшнего дня. Коммунизм невозможен в мире. Нам нужен гуманизм. Франции, кроме того, нужна твердая правительственная программа. Мы слишком многим пожертвовали на войне. — Тройная приятная отрывка сотрясает его. — Старые формы жизни ломаются во всем мире. Одна Франция оберегает традиции. Искусство конечно — другое дело. В искусстве традиции реакционны. Освежайте палитру, художники! Старые формы уже не удовлетворяют нас. Кубизм и Леже — вчерашний день. Пикассо становится классиком. Нам нужен Джотто, нам нужен примитив, нам нужно варварское искусство.

Широкая шея адвоката розовеет в отложном воротничке.

— Итак, мы рассчитываем на вас, Ренар, — говорит он многозначительно.

— Желая вам успеха, мой дорогой Нивуа. Большевики остаются самым угрожающим бедствием для Европы. Они покушаются даже на колонии. Мы должны спасти культуру. Вы можете рассчитывать на меня!

Нивуа подзывает гарсона. Мсье Ренар допивает кофе.

— Это был восхитительный завтрак. Каково жиго! Патрон привлекает клиентуру... браво, Бурри!

Они выходят вместе из ресторана. Мир радостно плывет, осыпанный дождем.

— До свиданья, мой дорогой Нивуа.

— До свиданья, Ренар. Мы рассчитываем на вас, Ренар!

Мсье Ренар переходит улицу и от-

рывает на столбе билетик для посадки в автобус. Потом он садится и едет.

В шесть часов большие бульвары залиты наводнением Парижа. Набитые автобусы проносятся без остановок. Щелкают машинки на местах посадок, из продольных ящичков на столбах вылезают билетики. Наводнение заливает вокзалы, где кукушечные двухэтажные вагончики и электрические поезда увозят в Севр, в Медон, в Бельвю, в Сент-Жермэн... Мсье Ренар покупает на ходу «Ами де пепль», он врывается с толпой в вагон и находит местечко в углу. Приятный завтрак, хорошо проведенный день, настраивают его возвышенно. Он читает объявления о продаже вилл. Неплохо конечно на берегу Средиземного моря... неплохо в Апеннинах, на границе Испании... неплохо наконец под Парижем, где-нибудь в Жуанвиле или в Вирофлэ. Сидеть на берегу реки и ловить рыбу. Под домом, рядом с небольшим, но уютным погребом вины, он начнет разводить шампиньоны. Ему приходится в Бельвю снимать чужой дом. Чувствуешь себя пришельцем, случайным человеком в этой среде владельцев и собственников. Нет, собственный дом, собственный погреб, собственные шампиньоны, собственные корнишоны своего маринада! Он достает карандаш и обводит объявления, которые кажутся ему подходящими. А если выйдет дело с пятьюдесятью тысячами франков... поистине подарок, прямой задаток под будущую виллу. Он едет в мечтах. Поезд разгружается по пути. Мсье Ренар вылезает в Бельвю и идет плохо освещенной улочкой мимо каменных заборов уединенных домов. Что Денис приготовила на обед? Может быть, рагу из кролика? Постепенно он ускоряет шаг. Он чувствует еще в прихожей запах рагу из кролика. Он настраивается великолепно. Денис — клад, хотя по временам они конечно и ссорятся. Но эти легкие облачка проходят в конце концов, и тогда опять видишь отличное благосклонное небо. Он снимает пиджак и надевает пижаму. Потом он надевает туфли. Его кресло за столом согрето пламенем камина.

— Сегодня был удачный день, —

говорит он вслух самому себе, — откроем бутылочку Шамбертена.

Денис приносит из кухни дымящийся суп. От нее пахнет кухонным жаром. На ней свободный капот, под которым видны ее отяжелевшие формы. Мсье Ренар мурлычет, он оглядывает Денис, пока она ставит на стол миску с супом.

— Ты нагуляла себе добра, — говорит он. — Женщина в твоём возрасте должна быть настоящей приманкой.

Он ест суп, потом рагу из кролика. Он приходит в мечтательное настроение. Старый Шамбертен почтительно туманит голову.

— Кажется, все-таки я решаюсь на виллу... еще через год это будет, может быть, поздно. Кто знает, куда идет Европа!

Он начинает дремать в своем кресле с номером «Ами де пепль» в руках. Пенсне сползает на кончик его носа.

— Хорошая статья... правильная мысль, — говорит он, похлопывая по газете. — Франция — это форпост цивилизации. Написано сильно и с достоинством. Цивилизации угрожает опасность. Германия побеждена, но не уничтожена. Послевоенную политику делали нервные люди. Нам нужно министерство, лишенное нервов и сентиментальности! Посмотрим курсы на бумаги... металлургические опять упали... нефтяные снова поднялись на три франка. Нет, рента, рента... рента спокойнее всего.

— Мясник обещал на завтра вепря, — говорит Денис. — Наверное ты не откажешься от вепря?

— От вепря... нет, я не откажусь от вепря, — отвечает мсье Ренар умиленно. — Сядь сюда, ко мне поближе, малютка. Я думаю о вилле в Сент-Жермене... у меня есть в виду подходящая... что ты скажешь на это? Необыкновенная панорама и вид с горы.

Постепенно жар огня разморяет его. Широкая двухспальная постель уже гостеприимно открыта в спальне.

— Все-таки ничто не сравнится с собственным домом, — говорит мсье Ренар, стягивая кальсоны с жилистых ног. — Арендатор — это еще не человек... это только получеловек.

Он ложится под пуховое одеяло. Де-

нис возвышается рядом с ним жаркой горой.

— Я бы стал ловить рыбу и собирать эротическую библиотеку, — говорит мсье Ренар еще. — По старой памяти букинисты добывали бы мне лучшие экземпляры...

Потом он спит. Будильник возле постели отщелкивает минуты, готовясь в семь утра разбудить своим пронзительным воплем. Мсье Ренар отдыхает для нового дня.

В четыре часа пополудни Гастон Леру поднялся со скамейки в скверике Ренэ Вивиани. Обломки статуй и химер торчали вокруг из травы. Под Малым мостом рыбаки удили рыбу в Сене. Он миновал мрачное здание префектуры полиции, прошел вдоль набережной Сены и вышел к Новому мосту. Красная вывеска универсального магазина Самаритэн уже сияла на высоте, в глубине сумерек. Фасад театра Сарры Бернар загорелся сплошной линией огня. Гастон Леру пошел по улице Риволи, мимо освещенных окон, где стояли восковые манекены в костюмах, пальто и спортивных бриджах. Их восковые лица воспроизводили в точности убожество, красоту и гемороидальное уродство людей, создавая тем самым иллюзию полного совпадения с жизнью. Это были гигантские окна Лувра. Под лоджиями улицы Риволи шли витрины со светящейся насквозь парфюмерией, табачными изделиями, бусами и блестящей парижской мишурой. Гастон Леру глядел в витрины, на восковых собратьев, и шел дальше. Его походка на этот раз утратила неуверенность блужданий. У него была цель. Мятая кепка деловито держалась на верхушке сальных волос. На нем было пальто — впервые за эту осень. Его дыры драпировались складками. Он перебежал широкую площадь Лувра. Улицы Парижа были уже залиты предвечерним наводнением. Полицейские свистки пускали в движение и останавливали несущиеся воды машин. Конный полицейский в крылатке поднимал руку, как бронзовый памятник. Его лошадь, откликаясь на свистки, привычно прыдала ушами. Гастон Леру миновал

Пале-Рояль и пошел широкой дорожкой сада Тюильри. Его газоны и статуи уже наливались синевой, а впереди на площади Согласия все было серебряно от света, она была освещена невидимыми прожекторами, платиновые фонтаны вздымались, переполненные спадающей влагой, архитектурные линии морского министерства, обведенные огнем, проступали в своей первоначальной классичности, и туманная перспектива Елисейских полей с очерком далекой арки уже поглощалась сумерками. Гастон Леру стоял на площади Согласия и смотрел на далекую арку, под которой в торжественной безвестности покоился Евсей Давидовский. Потом он свернул вправо, к церкви Маделен, к большим бульварам Парижа.

Было без четверти пять. В колодцы метро проваливалась тучища людей. Вдоль карнизов домов текли надписи. Синие, зеленые и красные трубки вывесок наливались огнем. Электрические лошади загорались и брыкались на крыше кино; потом все потухало. Он миновал Итальянский бульвар, потом бульвар Пуассоньер, потом бульвар Бон-Нуфель. Впереди была мрачная арка ворот Сент-Дени. Он обошел деревянные ограждения строящегося метро. В вышине, привычно и навеяв знакомую слабость отчаяния, сияла вертикальная вывеска: «Покупка драгоценностей». Гастон Леру вошел в подъезд. Грязноватая и плохо освещенная лестница круто шла кверху. Сердце билось, его стук был отчетлив, как стук метронома. Гастон Леру поднялся по первому пролету и остановился на площадке. Можно было еще вернуться. Улица шумно пронеслась внизу. Он сдвинул кулаком сердце и стал подниматься выше. На грязной обитой двери было написано: «Входите без звонка». Длинноватая комната, похожая на коридор, была доверху заставлена вещами. Мраморные бюсты, черноватые голландцы в золотых рамах, мебель ампир с бронзовыми мордами львов, часы под стеклянными колпаками и даже велосипед. Мсье Давид расширял свою деятельность. В глубине, в другой комнате, возле его бюро, девушка продавала цепь. Минуту спустя с отчаяньем на хо-

рошеньком, бледном лице она вышла из бюро мсье Давида; она судорожно засовывала бумажки в модную и жалкую сумочку. Гастон Леру вошел в бюро. Лысый человек, с остатками черных волос вокруг черепа, с черными подстриженными усами, сидел за столом, на котором стояли весы для взвешиванья драгоценностей.

— Мсье? — сказал вопросительно мсье Давид.

Его лицо задергалось в нервном тике. Он гримасничал и судорожно выгибал голову к правому плечу.

— Я принес вам протез, за который вы давали вчера сто пятьдесят франков, — сказал Гастон Леру. Он достал из кармана золотой мост с шестью золотыми зубами. — Третьего дня вы давали двести, но я не мог решиться без согласия товарища. Этот протез принадлежит ему. Ему делали его как инвалиду войны. Это работа американского дантиста.

Он положил золотой мост на стол. Цепкая, проворная рука схватила протез.

— Сколько вы хотите? — спросил мсье Давид. Его лицо опять задергалось в тике.

— Я согласен отдать за сто пятьдесят, как вы предлагали вчера, — сказал Гастон Леру вялыми губами.

— Семьдесят, — ответил стремительно мсье Давид. — Сегодня семьдесят франков. Золото падает в цене. Я сейчас купил эту цепь за тридцать пять франков.

Он поиграл в руке цепью.

— Вы предлагали вчера сто пятьдесят франков, — сказал Гастон Леру.

На его лбу надувалась жила. Знакомое туманное бешенство останавливало сердце. Ненавистный дергающийся человек с ободком волос, мертвецки чернеющих на желтом черепе, сидел перед ним. Цепкие руки ростовщика приближали и отодвигали протез по столу.

— Вы дадите мне сто пятьдесят франков, как предлагали вчера, — сказал Гастон Леру.

— Нет.

— Сто пятьдесят франков, или...

Лицо задергалось перед ним. Человек тщетно пытался остановить тик.

— Семьдесят франков! — успел он прокричать между судорогами, скывавшими его язык.

— Собака, свинья... ростовщик! — Гастон Леру надвинулся на столик, он опрокинул весы. — Я воевал за тебя, ростовщик, — повторил он опять. — Я стал из-за тебя инвалидом...

Внезапно дергающееся лицо превратилось в лицо лейтенанта Сандре. Оно высовывало язык и издевалось над ним. Гастон Леру уперся в его шею обрубком правой руки в рукаве; левой он выхватил из кармана пирю. Он поднял руку и дважды ударил в желтый ненавистный череп. Потом он поправил на столе упавшие весы. Человек сидел в кресле и дергался и гримасничал попережнему. Казалось, в нем бушевал электрический ток. Он подмигивал на прощанье и силился освободить шею от спазмы, пригивавшей его голову к правому плечу. Гастон Леру, не отрывая взгляда от гримасничающего человека, попятился к дверям. Опять была комната, заставленная мебелью, мрамором и черными картинами в золоте. Никого не было в ней. Гастон Леру открыл дверь. Лестница была темна и пустынна. Он стал спускаться вниз. Он не ускорил шага. Внизу, у выхода, он снял свою кепку и вытер мокрый лоб. Бульвар Сент-Дени уносился попережнему. Газетчики выкрикивали вечерние газеты. Автобус, громыхая, спускался с горы. Он дошел до угла, свернул на Севастопольский бульвар и поглотился толпой.

Париж опустошался вечерним разливом. Витрины угасали, с грохотом спускались железные ставни. Гастон Леру шел по бульвару. Его лоб намок под кепкой. Он останавливался и вытирал пот рукавом. Окна, окна: модная мебель с никелевыми ножками, бар, распродажа остатков... светились и вспыхивали уличные маяки, реклама электрических лампочек «Мазда». Длинная, лоснящаяся и глухая боковая улица с зажигающейся и гаснущей вертикальной вывеской «Отель Рояль». Одиноким велосипедист уезжал по ней. Гастон Леру свернул в эту улочку. Скоро мрачные здания Центрального рынка возникли на его пути. Улица пахла кислотой гниющих овощей и кровью

освеженных туш. Он прошел мимо рынка и вышел к Сене. Ночной освещенный пароходик бежал по ней. На другом берегу, оторванная, как бы летящая в воздухе, уносились в высоту светящаяся красная реклама аперитива. Он перешел мост, он шел без цели и без желаний. Полицейские в крылатках, стоявшие на углах, смотрели ему вслед. Мсье Давид дергался, как паяц, опережая его и заглядывая ему в глаза. Улицы пустели, кафе становились людны. Затем стали пустеть кафе. Его сваливала усталость. Он прислонился к стенам и закрывал глаза. Потом он двигался дальше. Наконец он присел на скамью бульвара. Бульвар был пустынен, гладкие, синеватые камни мостовой лоснились. С деревьев с шорохом опадала листва. Он прислонил голову к спинке, сон мгновенно повлек его за собой. Мсье Давид, уже не кривляясь, необыкновенно торжественно, в черном, одетый, как для похорон или свадьбы, сел рядом с ним.

Эфроим Цаткин стоит у ворот дома. Дождь начинает пощелкивать по широким полям его шляпы. Газовые фонари на улице Крулебарб мигают, задуваемые дыханием ветра. Осень проторно носится над Парижем. В глухих улицах она откровенна. Она посвистывает предупредительным свистом. Железные печурки начинают коптить в домах. Наконец по переулку стучат каблучки. Надо пробежать от авеню Гобелен кривой, насупленной тишиной переулка.

— Может быть, вы зайдете в мою мастерскую, Люси, — говорит Эфроим Цаткин. — Я купил вам немножко цветов, сколько мог. У меня сейчас неважные дела.

У Люси по-кукольному нарисованы брови. Прежние брови выщипаны по одному волосочку. Ее длинное, модное платье почти обертывает ноги.

— Только на минутку, Цаткин, — говорит она. — Сегодня я очень устала.

Эфроим Цаткин вводит ее в мастерскую.

— Мой товарищ запропастился куда-то. Садитесь сюда, на табурет. Вы стали модной женщиной, Люси. Я помню вас подростком.

Подрисованные темные глаза оглядывают его жилище.

— Вам плохо живется, Цаткун?

— Да, после войны мне живется не особенно хорошо.

— Вы очень постарели, Цаткун, — говорит она вдруг. — Зачем вы носите бороду? Я скоро выезжаю из вашего дома.

— Вы выходите замуж? — спрашивает он.

— Нет. Я служу у Ворта моделью. Нас везут в Биарриц, оттуда в Сан-Ремо. Нас одевают в лучшие платья, мы живем в самых дорогих отелях, как американки. Это необходимо для фирмы. Я переезжаю поближе к службе.

Она болтает ногой в черной туфельке.

— Вы покоряете Париж, Люси, — говорит Эфроим Цаткин.

— О! Я просто служу. Эта служба интереснее других служб. Эти розы для меня? Вы очень милы, Цаткун. Как жаль, что вам живется так плохо. Наше дело вернее: женщины не перестают одеваться. — Ей становится скучно в сыром сумраке мастерской. — Теперь я должна бежать. Я ложусь рано. У нас должен быть свежий вид.

Эфроим Цаткин загораживает собою дверь.

— Вы прибегали в мою мастерскую подростком и щебетали, как птица. Теперь вас уже забрал, уже отравил Париж. Люси, где ваши милые черные брови? Зачем вы позволили выщипать их парикмахеру? Вы мечтали о маленьком счастье, а не о Биаррице...

— Вы чудак, Цаткун, — говорит она удивленно. — Каждый делает свою жизнь, как может. Париж — это Париж. Спасибо за розы. Я поставлю их в воду.

Она проходит по комнате в своем длинном платье. У нее походка женщины. Возле уголков ее губ маленькие складки горечи.

— Вы должны написать много хороших картин, Цаткун, — говорит она на ходу. — Куда открывается дверь? Спокойной ночи.

Ее легкие шаги стучат по лестнице, выступающей маршем над комнатой: сверху сыплются штукатурка и пыль. Из незакрывшейся двери тянет холодом. Эфроим Цаткин закрывает дверь;

потом он садится на табурет посреди не комнаты. Париж пожирает людей. Люди идут удивленно и неосторожно по камням этого города. Люси... Он повторяет вслух:

— Люси...

Гастон Леру не возвращается к ночи. Его плоский тюрфак пустует. Номер «Энтрсижан» колеблется, вздуваемый ветром, как парус. Старый еврей с молитвенным ящичком на лбу глядит косым взглядом на своего потомка.

— Не гляди на меня, — говорит Эфроим Цаткин, — я могу продать тебя тоже за десять франков торговке на набережной.

Потом он слушает ночь. Гастон Леру не идет. Он не приходит и утром.

Мсье Ренар утром в поезде читает «Пари-матэн». На его пробритом подбородке свежие пораненья от бритвы. Пенсне ущемило багровую складку его носа.

— Убийство ювелира на бульваре Сент-Дени... в центре города... негодня осмелели, они угрожают безопасности Парижа!

Он оглядывает победоносно соседей. Сенсация касается всех.

— Это итальянские анархисты, я уверен, — говорит сосед; его щечки в красных жилках загораются негодованием. Мсье Ренар узнает владельца аптеки в Бельвю.

— Пора очистить Париж от нежелательных иностранцев, — говорит он. — Мы стали слишком гостеприимны! Сегодня бандитизм, а завтра политическое убийство. Кто знает, может быть, здесь тоже политика? У убитого не было похищено ничего.

— Может быть, месть? — говорит аптекарь.

— А может быть, начало террора... коммунисты хотят терроризировать состоятельных людей. Что смотрит министерство, что смотрит префектура? — Мсье Ренар хлопает кулаком по газете. — Заговоры, заговоры... убийства... бандитизм... куда идет Европа? Наши министры спят, наша префектура гонится только для устройства парадов. Я не постесняюсь сказать это в глаза самому префекту!

Аптекарь вторит ему. Он перечитывает сообщение в газете.

— Ужасно... ужасно! — говорит он наконец. — Несчастливая семья. И такое варварское убийство! Все-таки, что ни говорите, это убийство имеет политическую окраску. Здесь замешаны итальянские анархисты...

— Или русские большевики...

— Или русские большевики, совершенно верно!

— Пора нам, передовым людям, объединиться. Пора забыть распри и разногласия. Процветание Франции вызывает бешеную зависть врагов. Они хотят, чтобы мы тоже вошли в полосу кризиса. Кто знает, может быть, в этих убийствах виноваты и немцы... им было бы выгодно посеять панику среди торговых людей.

— Убийца исчез...

— Убийца исчез. И я полагаю, что нет надежды его захватить.

За окном полукругом катятся мокрые поля. Аспидный туман лежит над Парижем. Мокрые крыши, серый сумрак вокзала. Город полон угроз, в нем нет безопасности. Мсье Ренар приподнимает котелок и устремляется к автобусу. Четверть часа спустя он входит в бюро. У него решительный вид. По дороге в автобусе он кое-что обдумал.

— Розали, — говорит он, — для незнакомых людей меня нет. Я не бываю в бюро. Если есть какое-нибудь дело, пускай изложат в письменном виде. Я не могу общаться со случайными людьми. У меня есть постоянная клиентура. Читали вы про убийство ювелира на бульваре Сент-Дени? Это политическое убийство. В конце концов я тоже политик. У меня есть свои идеалы. Я — республиканец, но я стою за твердый порядок. Министром внутренних дел должен быть военный, а не адвокат. Довольно этой адвокатской болтовни. Во Франции слишком много разговаривают. Палата депутатов становится жалкой говорильней. Я бы стоял вообще за постоянный военный совет вместо этой парламентской говорильни. Добрый дух, военная дисциплина, славные традиции.

Он садится за свое бюро. Внезапно лицо его багровеет. Он проводит рукою по лбу. Воспоминание поддывает

к глазам. Нивуа... но ведь это — политическое дело. Большевики будут мстить, они подстерегут на улице или подожгут такого же бродягу...

— Розали, — говорит он изнемогающим голосом. — Если будет звонить Нивуа, скажите, что я уехал... меня нет в Париже. Я не могу рисковать собой из-за четырех тысяч франков... Я не хочу не спать ночей, я не хочу опасаться возвращения домой по вечерам!

Он принимает решение. Он достает лист бумаги и пишет письмо Нивуа. К сожалению... обстоятельства... он вынужден отказаться. Наконец успокоенно он вытирает лоб. Теперь можно приняться за дела. Жизнь европейского человека усложняется. Она становится полна опасностей, особенно для передовых людей... Слишком много переживаний, слишком много размышлений. Франция победила, но послевоенная жизнь становится все труднее. Пора, пора думать о доме где-нибудь под Парижем, на берегу тихой речки, с подвалом для шампиньонов, вдалеке от страстей и политики. Хороший сон, доброе вино, рагу из кролика, которое необыкновенно умеет готовить Денис, переписка с букинистами... собрание первоклассной эротики. Франция — страна коллекционеров. Это правильно, у каждого должна быть своя раковина. Революция 48 года научила ценить неприкосновенность своего жилища. Дом — это тайна. Хорошо бы дом без электричества, чтобы даже монтеры не приходили раз в месяц проверять счетчик. Нет, не впускать никого, кроме посвященных! — Он начинает мечтать. Он даже насвистывает. Стрелка часов между тем не спеша ползет к часу завтрака.

Гастона Леру будят ночью два полицейских. Их велосипеды стоят прислоненными к дереву. Полицейский трясет его за плечо.

— Где ваш дом? Вы выпили лишнего?

Электрический фонарик у его пояса бросает свет в лицо Гастона Леру. Он ослеплен. Они ворвались в его сон на велосипедах.

— Документ!

— У меня нет документа.

— Где вы живете?

— У меня нет жилища.

— Вы француз?

— Я — швейцарец.

Полицейский, наводящий фонарик, подзывает движением головы второго. Второй полицейский подходит к Гастону Леру.

— Поднимите руки. Встаньте, когда с вами говорит полиция!

Он поднимается. Полицейский хлопает его по карманам. Потом он быстро залезает в левый карман и достает из него гирю.

— Что это такое? — спрашивает он.

— Это гиря.

— Вы гуляете с этой игрушкой по улицам Парижа? Недурно. Я полагаю, Шевалье, что его надо отвести в префектуру.

Полицейский с велосипедом сопровождает Гастона Леру.

— Хорошо, хорошо. Мы поговорим в префектуре. Где ты потерял руку?

— На Марне.

— Ты комбатант?

— Да, я сражался за Францию.

— А теперь ты даже утратил имя... Ты бы мог быть занесенным в списки героев. Вот что делают алкоголь и преступность.

— Я не пью вина, — говорит Гастон Леру.

— Тем хуже. Значит, ты действуешь в полном сознании.

Два часа спустя, на рассвете Гастона Леру привели в префектуру полиции. Ажаны в крылатках стояли у входа во двор. Его провели под аркой ворот. Жидкие, грязноватые доски лестницы скрипели. На площадках были уборные, из их широких дверей несло неистребимым запахом. Гастона Леру провели длинным коридором с дверями по обеим сторонам. Потом его ввели в комнату в конце коридора. За длинным столом сидел в кресле высокий человек с черными толстыми подстриженными усами. Гастон Леру сделал шаг.

— Сержант Бертó!

— Кепку долой, когда ты стоишь в кабинете. Да, я Бертó, начальник отдела. Ты меня знаешь? Тебя уже приводили ко мне?

— Я служил во 2-м полку иностран-

ного легиона, — сказал Гастон Леру.

— А... ты прошел приличную школу. Это были мошенники и канальи! И так, откуда эта гиря?

Бертó поиграл гирей, лежавшей перед ним на столе.

— Это моя гиря, — ответил Гастон Леру.

— Я знаю, что это твоя гиря. Зачем ты носишь гирю в кармане?

Гастон Леру стоял с кепкой в руках. Его салнные волосы слежались во время сна. Он видел сержанта Бертó, знаменитого сержанта Бертó, который избивал Давидовского. Бертó был жив, в петлице его пиджака цвели узкие ленточки орденов, в его черных толстых усах показалась седина времени.

— Я убил этой гирей ростовщика на бульваре Сент-Дени, — сказал Гастон Леру, глядя на эти незабвенные усы с сединой. Величественный восторг наполнял его холодом. — Вчера, в седьмом часу вечера. Его имя — Давид. Он скупал драгоценности.

Бертó поглядел на него.

— А... это твоя работа, — сказал он задушевно. — Причина? Грабеж?

— Нет.

— Тогда что же?

— Давид нажил состояние на трупах. Он был подрядчиком по откапыванию трупов в Шампани. Потом он стал ростовщиком. Я дрался за Давида, я потерял за него свою руку...

— Прекрати свой бред. Ты — социалист?

— Нет.

— Ты принадлежишь к тайной организации?

— Нет.

— У тебя есть связи с большевиками?

— Нет.

— У тебя есть знакомые русские?

Гастон Леру молчит.

— Я спрашиваю: у тебя есть знакомые русские?

— Нет, у меня нет знакомых русских, — отвечает Гастон Леру.

— Где ты живешь?

— Я не имею жилища.

— Тебя видели днем на площади Звезды. Тебя признал полицейский. Что ты делал на площади Звезды?

— Я был на могиле товарища.

— На могиле товарища? Но на площади Звезды, сколько я знаю, нет кладбища.

— Там есть могила неизвестного солдата.

— А... ты приходил к ней, как комбатант?

— Нет, я приходил на могилу товарища. Неизвестный солдат — мой товарищ, его имя Евсей Давидовский... вы наверно вспоминаете, как возле Краонна вам удалось добиться расстрела трех человек... среди них был Евсей Давидовский. Теперь он лежит под аркой на площади Звезды.

Лицо Бертó багровеет.

— Ты симулируешь сумасшедшего, — говорит он наконец. — Хорошо. Мы поместим тебя в сумасшедший дом. Но сначала ты ответишь за преступление. Твое имя?

— Гастон Шевалье.

— Откуда родом?

— Из Базеля.

— Профессия?

— Бывший позолотчик.

— Год рождения?

— Не помню.

— Под каким именем был в иностранном легионе?

— Под именем Гастона Шевалье.

— Когда потерял руку?

— В бою под Краонном в сентябре тысяча девятьсот пятнадцатого года.

— Боевые отличия имеешь?

— Не имею.

— Чем занимался последнее время?

— Продавал спички на улице.

— Нищенство запрещено во Франции.

— Людям запрещено называть себя нищими

— Я с тобой не веду толкованья священного писания. Стоять прямо, когда ты отвечаешь на вопросы!

— Я не могу стоять. Я устал.

Бертó встает и опирается руками о свой стол.

— Ты — преступник, — говорит он отдельно. — Ты — опасный преступник. Мы расправимся с тобой по закону. Мы узнаем твое настоящее имя. Мы узнаем, социалист ты или нет. А может быть, ты коммунист? Отвечай, каналья, ты — коммунист?

Лицо Бертó над столом белеет дав-

ней знакомой маской. Вокруг его шеи появляется воротник с петлицами. Голубое кепи вырастает на его голове. В ушах у Гастона Леру от усталости звонят колокола. Это походит на воскресную мессу.

— Сержант Бертó, — говорит он, глядя на его петлицы. — Нас много, нас тысячи... у нас выела сердцевину война. У нас осталась одна ненависть.

Потом он видит ноги сержанта Бертó в свиных коричневых крагах. Его правый носок нетерпеливо постукивает. Сержант Бертó нажимает звонок.

— Поднимите его, — говорит он, минуту спустя. — Он симулирует обморок.

Мсье Нивуа надевает черный сюртук. В его петлице скромная тугая розетка Почетного Легиона.

— Уходят люди... — говорит он. — Мы присутствуем при закате старшего поколения Франции. Молодежь не бережет традиций. Потери, потери.

Потом он выходит из дома и едет торжественно на площадке автобуса к церкви Сент-Жак. Его траурный вид внушает уважение. Невдалеке от церкви Сент-Жак он сходит с автобуса. У церкви стоит катафалк. Его средневековые колеса поддерживают кузов, на котором высоко, как в люльке, будет покоиться гроб. Кучер в черной треуголке торжественно восседает на своем высоком сидении, откуда на спины траурных коней спадают вожжи. Вход в церковь завешан черным пологом. У входа, возле столика с книгой, в которой расписываются проходящие выразить соболезнование, стоит Бернар Давид, наследник погибшего. Ему двадцать семь лет, на нем визитка и полосатые брюки, его перхотные волосы разодраны пробором, на его мизинце блестит бриллиант. Мсье Нивуа расписывается в книге и долго и прочувственно жмет ему руку.

— Такая потеря! — говорит он.

— Мы были бы так обязаны вам, господин адвокат... — Бернар Давид прикладывает палец руки поочередно к обоим глазам, — покойный отец ценил ваше красноречие... мы были бы так обязаны вам за небольшое слово

над его могилой... вы смогли бы воссоздать образ отца, как никто. Кроме того, господин адвокат, мы будем после говорить с вами о введении нас в наследственные права.

— Само собой разумеется. Я скажу речь. Мсье Давид хотя не был моим клиентом, но мы встречались на аукционах... я ценил его страсть к коллекционерству.

Торжественное заупокойное служение продолжается долго. Книга у входа заполняется подписями. Певчие в кружевных кофточках шествуют мимо высоких подсвечников в глубине церкви. К выходу начинают нести венки. Провожающие с цилиндрами и котелками в руках стоят под зонтами на широкой лестнице церкви. Дождь встречает вынос мсье Давида. Его черный гроб водружается на катафалк. Кучер в треуголке расправляет вожжи. В каретах на таких же высоких колесах размещаются родственники и достойные гости, прочие рассаживаются позади, в крытый зелёный вагончик-линейку. Процессия движется к кладбищу Монпарнас.

— Покойный был артист, — говорит возвышенно мсье Нивуа. — Он будет лежать на артистическом кладбище, в этом поэтическом аррондисмане Парижа!

Прохожие снимают шляпы. Мсье Нивуа сидит в самой почетной карете, рядом с родственниками усопшего.

— Я не оставлю вас в беде, — говорит он Бернару Давиду, пожимая его локоть, — я помогу вам в наследственных делах... это хлопотливое и фискальное дело. Но можете поручить его мне. Я доведу его до конца. Как же будет теперь, мой друг, с продолжением дела покойного?

— Это — моя обязанность, — говорит Бернар Давид. — С завтрашнего дня бюро будет снова открыто. У отца были слабые глаза... я помогал ему. Кроме того, он был чувствителен, его трогали чужие слезы. Я боролся с этим. Дело — есть дело. Сентиментальность хороша в благотворительности, но не в коммерции.

Мсье Нивуа жмет опять его локоть.

— Вы далеко пойдете, мсье Давид. Ваш отец может быть счастлив. У него остался преемник.

Процессия наконец под'езжает к воротам кладбища Монпарнас. Полицейский отдает честь. Тяжелый черный гроб с серебряными кистями снимают с катафалка. Его несут по аллеям кладбища. Колокол одностонно оплакивает еще одного сына Франции. Могила приготовлена в лучшем месте, в отличном соседстве, — здесь лежит великий Кюкю, артист «Комедии», за ним — несколько писателей, несколько общественных деятелей. Гроб с телом Давида опускают в могилу. Мсье Нивуа выступает вперед. Его голова скорбно наклонена, его котелок прижат к груди. Капли дождя падают на его широкий лоб мыслителя и на рыжеватые волосы, зачесанные вокруг лысинок.

— Господа, — говорит он. — Сегодня мы опускаем в могилу не только нашего друга, безвременную смерть которого все мы оплакиваем. Мы опускаем в могилу одного из передовых людей Франции, человека с артистическим духом, человека определенного идейного облика. Мсье Давид не был политиком. Он не был и творцом в области чистого искусства. Но его объединяло с политической жизнью страны, с ее искусством великое национальное чувство. Да, он был патриотом в лучшем, возвышенном смысле этого слова. Слава сынам Франции, которые не поддались на лживые и легкомысленные речи, сомнительный гуманизм коих продиктован нашими врагами! Этот гуманизм требует снисхождения к мнимым страданиям народов, вероломство которых записано в книгу истории. Покойный Давид был в числе этих сынов Франции. Не часто приходилось мне вести с ним политические беседы. Но неизменно при встречах со мной он задавал мне этот вопрос: «Куда идет Франция?» Писатель оставляет книги, артист — память о своем искусстве. Человек в лучшем смысле этого слова оставляет дела. Дело Давида было делом служенья народу. Выходец из небогатой, но достойной семьи Прованса, он рано начал жить самостоятельным трудом, изучив трудное дело ювелира. Скромный в своей личной жизни, он быстро добивается успехов и сам открывает небольшое предприятие в Париже. Год за годом он отдает свою

жизнь для процветания этого дела. Его имя становится известным. Он собирает коллекции, он интересуется искусством, и вдруг в этот роковой вечер... — мсье Нивуа делает паузу, — В этот роковой вечер неизвестный преступник приходит к нему... Давид спокойно и доверчиво, как дитя, — какое чистое, открытое сердце! — впускает его к себе... и вот все кончено. Преступление совершилось. Мы присутствуем при его траурном финале. Давида нет среди нас. Но... — Тут голос мсье Нивуа крепнет. — Не будем предаваться отчаянию! Сохраним его образ в себе и обратим глаза к тому, кто, сдерживая рыдания, стоит сейчас у этой развальной могилы. Его сын, его преемник, продолжатель его начатого дела. Поможем ему советом и участием, подадим ему дружескую руку помощи, и это будет лучшим венком на могилу нашего незабвенного друга. — Мсье Нивуа берет горсть песка и бросает вниз, на крышку гроба. — Прощай, сын Франции! Прощай, дорогой друг и соратник. Нас остается мало. — Он вытирает глаза. — Наше поколение реддеет. Предоставим молодости делать по-новому жизнь. Я же закончу словами Бодлэра:

Ils marchent devant moi, ses yeux pleins de
lumière
Qu'un Ange très-savant a sans doute
aimantés!

Он закрывает рукою глаза. Сыплется песок. Потом летят комья. Земля Парижа принимает Давида в себя. Мсье Нивуа вытирает лысину, мокрую от дождя. Потом все начинают расходиться. Мсье Нивуа идет по дорожке рядом с антикваром с бульвара Распай. Уши антиквара заткнуты ватой, об его огромный зонт стучает дождь.

— Полчаса под дождем с непокрытой головой, — говорит антиквар. — Это верный насморк. Я восхищен вашей речью, господин адвокат. Как всегда кратко, сильно и выразительно. Быть может, зайдем выпить по рюмочке аперо?

Они выходят из ворот кладбища и заходят вскоре в кафе на углу. Над прилавком, обитым цинком, стоят цветные бутылки. Буфетчик с закаченными рукавами наливает им рюмки.

— Конечно вы правы, — говорит антиквар. — Он был патриот, Давид. Но, надо сказать, хорошей репутацией в нашем кругу он не пользовался. По совести, мы давно ожидали, что когонибудь он выведет из себя... он умел поиздеваться над людьми. Конечно это маленькие слабости, они есть у всякого. Это не умаляет других его достоинств. Но какво преступление? В Париже! На больших бульварах! — Они допивают аперо. — Жизнь становится опасной, дорогой адвокат. Цинизм проникает в массы. Цивилизация в опасности. Добрый день, мсье Нивуа!

Мсье Нивуа приподнимает котелок. Потом он смотрит на часы. Он опаздывает к завтраку. Он торопится домой. Колодец метро на улице Эдгар Кинне поглощает его через минуту.

Барабан выбивает дробь. Волонтеры стоят в каре. Над Шампанью холодное тревожное солнце октября. Маршал д'Эсперве обходит фронт. Золотые дубовые листья на его фуражке сияют. Он подтанцовывает на ходу, у него нафабрены усы героя. Его стэк пощелкивает по коричневым крагам, как кончик довольного хвоста. Волонтеры в каре провожают маршала глазами. Он приехал наводить порядок и мир. Звездочки его шпор воркуют. Барабан выбивает дробь. Телячья шкура лопнет сейчас от усердия барабанщика. Потом она расцветает буквами. Она становится рижим номером «Энтрисжан». Человек за окном барабанит по стеклу. Эфроим Цаткин с глазами еще опутанными сном бежит открывать дверь. Это вернулся Гастон Леру.

— Наконец-то... — говорит Эфроим Цаткин счастливо.

Человек пятится и закрывает за собой дверь. Его мокрая кепка надвинута на уши. Потом он хлопает себя по бокам, отряхивая дождь. Теперь Эфроим Цаткин видит его обветренное лицо и белые зубы гасконца. Это Шарль Эмиль, фрезеровщик. Он работает на автомобильном заводе неподалеку, возле улочки Удри.

— Ты один? — спрашивает Шарль Эмиль. — А где твой товарищ?

— Он пропал уже второй день, — отвечает Эфроим Цаткин.

Шарль Эмиль кладет на стол аршинную палку хлеба и сверток. Затем он округляет рот и дышит. Серый пар ровно и длинно выходит из его рта.

— Однако...— говорит он. — Не скажешь, что здесь сильно натоплено. И — нельзя лежать, Цаткин... надо двигаться, надо бороться!

Эфроим Цаткин лежит, натянув одеяло до подбородка.

— Есть такие деревья, у которых древесина похожа на вату, — отвечает он минуту спустя. — Мы не годимся даже на топку.

Шарль Эмиль свистит. Потом он выдвигает ногой табуретку и садится рядом с постелью.

— От войны остались не одни только поваленные деревья, Цаткин... от войны уцелел динамит. Вчера на автомобильном заводе уволили еще пятьдесят человек. — Он достает из кармана складной нож и разворачивает сверток. — Это отличная колбаса... настоящая мортаделла, — добавляет он, думая о другом.

Он раскладывает на коленях бумагу и нарезает хлеба и колбасы. Эфроим Цаткин жует на остатках своих зубов. Золотую пластинку унес с собой Гастон Леру.

— Кого уволили с завода, Эмиль? — спрашивает он, тяжелея от счастья нащущения.

— В первую очередь всех иностранцев... потом нас.

Эфроим Цаткин приподнимается на локте.

— Ты без работы, Эмиль?

— Да. Сегодня я без работы... но это — сегодня. Кто может сказать, что будет завтра. Так где же все-таки твой товарищ?

— Он пропал — мой товарищ, — отвечает безучастно Эфроим Цаткин.

Он перестает есть и снова ложится. Старый еврей с молитвенным ящичком на лбу смотрит мимо и не обещаяще. Шарль Эмиль надевает опять свою кепку.

— Теперь я иду. Сегодня наш комитет устраивает митинг в Бюлле... мы еще не сдаемся Цаткин.

Пар, осаждавший дверь, врывается в комнату. Башмаки фрезеровщика хлюпают по лужам двора. На столе лежит

хлеб и недоеденный кусок колбасы. Эфроим Цаткин натягивает снова ревматической рукой одеяло до подбородка. Потом он закрывает глаза.

В двенадцать часов двери завода возле улочки Удри распахиваются. Из харчевен на авеню Гобелин, на бульваре Сент-Марсель пахнет мясом и маргарином. Рабочие в кепках спешат под дождем. В духоте за общими столами сидят тесно люди. Кислое вино ополаскивает жир маргарина. Расплывшееся меню, написанное чернильным карандашом, висит под дождем у входа. Шарль Эмиль проходит знакомой улицей. Воротник его пиджака поднят, его руки засунуты в карманы брюк. На углу улицы Жанны д'Арк он заходит в пивную. Толстая женщина стоит за стойкой под полкой с бутылками. Ее руки с закаченными руками лежат перед ней на стойке, широкие, как две ляжки. В углу за единственным столиком сидят два человека. Перед ними пустые кружки. Рука женщины лениво отделается от цинковой стойки и наливает новую кружку пива. Шарль Эмиль придвигает стул. Он оглядывает знакомые лица. Одно из них выперло скулами, мягкие светлые волосы блондина спутаны на лбу. Это Курт Фосс, тоже фрезеровщик с автомобильного завода возле улочки Удри. Его большое лицо измято и озабочено.

— Если я приму участие в митинге, — отвечает он, — меня завтра же вышлют из Франции. У меня нет прав во Франции.

— У тебя их не больше и дома, — отвечает Шарль Эмиль. — Хорошо. Ты можешь молчать. Мы скажем за всех. Если председатель не даст говорить...

— Он даст говорить, председатель, — говорит Пеллетье, лакировщик. Его черные брови продолжают складками щек. Два передних золотых зуба недобро блестят в туберкулезном провале его рта. — Он даст говорить — председатель, — говорит он. — Сегодня в Бюлле не танцулька, а митинг... мы хотим говорить! — Потом он ударяет кулаком по столу. — Безработный еще не вычеркнут из списка живых.

Толстые руки хозяйки лежат перед ней на стойке. Жирная чолка щупаль-

цами простерлась на ее низком лбу. Женщина подпирает собой полку с бутылками, как кариатида. Шарль Эмиль смотрит мечтательно мимо.

— Содержатели пивных и консержки имеют друзей в полиции, — говорит он. — Не забегай вперед, Пеллетье. Мы скажем что нужно на митинге.

Ресторанчики на бульваре пустеют. На столах остаются жирные пятна и лужицы от пролитого вина. За опустевшими столами доедают обед служители и судомойки. Двери завода возле улочки Удри снова распахиваются. Грузовики, сцепленные с платформами, везут через город длинные шасси без кузовов. На углу Пеллетье отстает. Шарль Эмиль идет вместе с немцем. Он поглядывает по временам на его измятое лицо.

— Не надо унывать, Фосс, — говорит он затем, — безработных становится столько же, сколько работающих. Мы поделим мир пополам.

— Я хочу работать, — говорит Фосс упрямо. — Я должен работать. Четыреста человек уволены за шесть недель... четыреста человек — подумать только!

Затем они расстаются тоже до встречи в Бюлле.

Шарль Эмиль приходит на площадь Обсерватории в девятом часу. Электрическая вывеска кафе «Ограда сирени» висит в дождевой сине. Деревья Люксембургского сада поредели как после побоища. Осень опустошила их. Круглые лампы Бюлле сияют как обычно, приглашая в танцульку. Под деревьями площади, под арками ворот и у входа на вокзал Порт-Рьяль стоят полицейские. Их дождевые накидки блестят от дождя. Темные подьезды и арки ворот одушевляются ими. Велосипеды полицейских прислонены к стенам и к деревьям. В танцулке Бюлле, в ее огромном зале, где по вечерам под цветными лампочками колышутся пары, стоят сейчас скамейки. Столики по бокам нагромождены один на другой. На скамейках и позади в табачном дыму люди. Это — рабочие автомобильных фабрик. Двое полицейских с плащами, перекинутыми через плечо, скучают у входа. На эстраде человек говорит речь. Его брюшко выкачено. Он держит па-

лец в вырезе вязаного красного жилета. Другой рукой он потрясает, как трибун.

— Оставим наши мелкие заботы, — восклицает он. — Мировой кризис начинает угрожать Франции. Мы примем меры, это естественно... мы не допустим, чтобы на наши автомобили не нашлось покупателей! Мы сократим производство вдвое, если этого требуют интересы страны.

Сзади из толпы в табачном дыму свистят. «А что будут делать безработные?», «Кто будет кормить безработных?», «Жирные свиньи!». — Колокольчик в руке председателя жидко звенит. Два полицейских, стоявших у входа, отделяются от дверей. Курт Фосс, надувшись, свистит в два пальца. Потом он видит, как на трибуну взбирается Шарль Эмиль. Шарль Эмиль оттесняет человека в красном жилете. Он зовет к толпе:

— Нам нужна солидарность рабочих Парижа! Мы не хотим быть снова пушечным мясом...

Толпа, задымленная табачным дымом, вопит: «Браво, Шарль! Правильно!». Курт Фосс, багровый от восхищения, хлопает в ладоши. Потом он прикладывает руки ко рту и кричит сквозь рупор ладоней:

— Рабочие Парижа имеют уши!

Толпа налезает вперед к эстраде. Человек в котелке, стоявший сбоку, напирает на Курта Фосса. Он говорит на ходу: — Пардон... пардон! — Председатель на эстраде с колокольчиком в руке перегибается через стол: «Я не давал вам слова... освободите трибуну!» Курт Фосс вопит в свой рупор: «Мы сами берем себе слово... скажи им, Шарль!» — Человек в котелке становится рядом с ним, плечо к плечу. У него бритое лицо, пучки черных волос торчат из его ноздрей. Он слушает речи. Оратор в красном вязаном жилете потрясает кулаком. Его классические жесты трибуна опрокинуты свистками и выкриками.

— Вы недостойны называться сыновьями Франции! — кричит он, багровый от ярости.

— Долой! — отвечает торжествующе Шарль Эмиль.

«Долой!» — кричат из зала. Щеки чело-

века начинают сливаться с жилетом. Он судорожно наливает воду из графина.

— Кто этот brave малый? — говорит человек с пучками волос из ноздрей. — Он здорово говорит, этот малый! — Он аплодирует Шарлю Эмилю. — Эти предприниматели, — говорит он затем, оглядывая соседей, — они готовы выбросить на улицу две трети рабочих...

Митинг кончается в двенадцать часов. Над площадью Обсерватории сыплет дождь. С деревьев Люксембургского сада срывает вороха листьев. Пedaли полицейских велосипедов приходят в движение. Велосипедисты едут медленно вдоль тротуара, сопровождая толпу. Со станции Порт-Рояль, внизу, под улицей, отходит последний поезд. Дым поднимается снизу и заносит толпу. Шарль Эмиль переходит площадь. Он минует темное здание обсерватории и идет по направлению к бульвару Сент-Жак. По трамвайным рельсам движутся к Центральному рынку вагончики городского поезда. Человек в котелке останавливается на углу возле почтового бюро и щелкает зажигалкой. Синеватые искры сыплются.

— Пардон, мсье, — говорит человек, приподнимая котелок. — Нет ли у вас огня?

Шарль Эмиль лезет в карман и достает спички. Человек закуривает сигарету.

— Да, жизнь изменяется на наших глазах, — говорит он затем себе самому. Он следует рядом, кутая подбородок в шарф. — До войны в Париже царили беззаботность и смех. Кто теперь смеется в наше время! Вы были правы, предприниматели обнаглели... они по-прежнему считают рабочих за пушечное мясо.

Шарль Эмиль идет молча. Он переходит улицу. Человек продолжает путь по другой стороне. Рабочие с сиреневыми спящими огнями сварочных горелок чинят рельсы. Камни мостовой разворочены. Шарль Эмиль сворачивает на бульвар Араго. Человек в котелке идет дальше. В ротондах уличных уборных шумит вода. Шарль Эмиль доходит до психиатрической клиники с ее

обширным сумрачным садом. Желтые окна клиники светятся безумием. Сад шумит. Он ускоряет шаг, обходя бесконечный забор. Наконец владения клиники кончаются. На углу стоит полицейский. Человек в котелке, тот же самый, который просил закурить, щелкает карабинчиком зажигалки. Зажигалка роняет синие бесплодные искры.

— Эти зажигалки! — говорит человек. — Пардон, мсье... нет ли у вас огня?

— Вы уже просили у меня огня, — отвечает Шарль Эмиль раздраженно.

Он достает спички. Человек закуривает.

— Вы очень любезны, мсье, — говорит он, возвращая спички.

Шарль Эмиль прячет спички в карман и идет дальше. Человек в котелке начинает его раздражать. Он идет быстро и не оглядываясь. Наконец на углу улицы Сент-Ив и улицы Артистов он заходит в кафе. Курт Фосс уже здесь. — Он дожидается его за столиком.

— Где ты пропал? — говорит он. — Я думал, уж не случилось ли чего... мы здорово расшевелили каналы.

Гарсон наливает из кофейника бокал горячего кофе. Шарль Эмиль принимается пить. Его озябшее лицо краснеет от пара. Внезапно он давится глотком и быстро отставляет бокал. Человек в котелке подходит к стойке. Пучки волос торчат из его ноздрей. Буфетчик наливает ему рюмку вермута.

— Этот человек... — говорит Шарль Эмиль. — Уйдем незаметно отсюда...

Он оставляет на блюдечке пятьдесят сантимов. Они выжидают минуту и осторожно пробираются к выходу. Человек стоит к ним спиной и пьет вермут.

— Он шел за мной от самой обсерватории, — говорит Шарль Эмиль возбужденно. — Он дважды просил у меня закурить!..

Они быстро проваливаются в темноту улочки Сент-Ив. Впереди гостеприимный простор парка Монсури.

— Их слишком много развелось, этой дряни, — говорит Курт Фосс на ходу, — я тоже видел его на митинге...

Дождь идет косо и призрачно. От него намокают ресницы. На углу авеню парка Монсури, спиной к ним, стоит

полицейский. Дождь стекает по его мокрому плащу. Рядом с полицейским стоит человек в котелке. Зажигалка в его руке высекает синеватую искру.

— Это опять он! — говорит Шарль Эмиль испуганно.

Он хочет повернуть назад.

— Пардон, мсье... — произносит человек в котелке. — Моя зажигалка не действует попрежнему. На этот раз вам обоим придется последовать за мной.

Он улыбается неживыми зубами, отворачивает борт пиджака и показывает значок. Полицейский медленно поворачивается. Под прямым козырьком его каскетки величественный нос и толстые непоклонные усы. Его плащ распаивается. Полицейский делает движение плечом, освобождая руку. Потом он обходит их и сопровождает не спеша по другой стороне тротуара...

За столом в полицейском бюро сидит человек. Его блестящий стоячий воротничок обтянут лентой черного галстука. Гигантские руки с плоскими перламутровыми ногтями лежат на столе. Он поднимает глаза и смотрит на Курта Фосс, стоящего перед ним.

— Итак, — говорит он, — вы—иностранец? Отлично. Министерство иностранных дел позаботится о вас. Вы будете высланы за пределы Франции. — Он откидывается на спинку стула. — Франция гостеприимна, — продолжает он задумчиво. Он потирает одну о другую руки с их перламутровыми ногтями. — Франция — гостеприимна... но Франция не для иностранных преступников. Можете сообщить об этом вашим сообщникам. Довольно! — кричит он вдруг. — Не раскрывайте рта. Мы поступим так же со всеми, кто посмеет нарушать наш порядок. Введите второго!

Дождь переходит в ливень. Его принесло с океана. Над полицейским бюро горит тусклый фонарь. Такие фонари горят над моргами и над родильными домами. В парке Монсури ветер сотрясает деревья. Полицейский через двадцать минут возвращается на свой пост. Он снова становится на углу и стоит остроконечный под поднятым капюшоном и лакированным от дождя. Он охраняет Париж.

Гастон Леру не возвращается ни на другое утро, ни на третий день. Эфроим Цаткин обходит полицейские участки, морги, больницы. Гастон Леру исчез в Париже. На полу остались продавленный тюфяк и подушка, черная от сальных волос, под подушкой клепчатая книжка с карандашными записями Евсея Давидовского. Эфроим Цаткин заходит в морги и смотрит на черных, рыжих, безусых, бородатых людей, на женщин с обвислыми грудями и безобразными животами и на подростков, — раздавленных, отравившихся и утонувших. Он вглядывается подолгу в лица людей, обретшие первожденное правдоподобие. Потом он выходит из морга. Он обходит улицы, на которых бывал Гастон Леру. Он подходит к воротам казарм иностранного легиона. Сенегалец в горчично-желтой куртке стоит с ружьем у ворот. Ленивые белки его глаз воспалены. Легионер во дворе чистит лошадь. Над воротами надпись: «Прием в войска иностранного легиона». За воротами дремлют северное Марокко и желтое одиночество. Эфроим Цаткин проходит бульвары, скверы, вокзалы. Он забредает на улицы, на которых не был десятилетие. Париж поглощает людей с именами и славой. Гастон Леру заблудился в нем, как бродяга в лесу. Дождь идет над Парижем. Его улицы в водяном тумане. Эфроим Цаткин проходит по мокрым дорожкам сада Тюильри. Сад пустынен и полон луж. Гриппы и насморки несут осень, как кони. Над площадью Звезды дождь спадает просторно и косо. Верхушка арки едва просвечивает в тумане непогоды. Два автомобиля подезжают к мокрому цепям, ограждающим подступ к надгробию. Из автомобилей один за другим выходят пять человек. Один из них выносит венок. Он в человеческий рост. Его живые розы и лилии перевиты белыми лентами. Двое расправляют ленты и идут впереди, держа их концы на вытянутых руках. За ними следуют остальные. Синеватый огонь в бронзовом кратере могильной плиты колеблется от ветра. Венок раскидывает свои белые ленты вокруг надгробия. Котелки раскрывают зонты и направляются обратно к автомобилям. Еще

минуту спустя—опять пустынная площадь и дождь. Эфроим Цаткин переходит озеро на асфальте, его башмаки полны воды. С полей его мокрой шляпы стекают потоки. Он идет по каменным плитам, оберегающим покой воина Франции. Белые ленты венка в тучном изобилии лилий и роз. Эфроим Цаткин подходит к плите и прочитывает надпись на ленте. Это делегация города Шартра. Города спорят о чести. Кто из них породил это величественное дитя Франции? Который из них, из этих городов, неизвестный солдат смог бы назвать своей родиной? Эфроим Цаткин смотрит на бронзовую плиту с лаконичною надписью и видит местечко Красняны. В Краснянах люди рождались без надежд на величие. Они уходили в ~~землю~~ тускло как незажженные свечи, на их могилы не возлагали цветов. Газовое дыхание пламени колышется возле его ног.

— Ты счастливее нас, Давидовский,— говорит он наконец. — Мы потеряли свое имя при жизни.

Провинциальный патер под зонтом осматривает Париж. Он торопится к арке с гробницей. Его розовые губы полуоткрыты. Он глядит восхищенно сквозь золотые очки на великую гробницу солдата, потерявшего имя, чтобы восстать в безымянном величии своей посмертной судьбы. Патер приподнимает концы лент, он благоговейно читает надписи, он складывает зонт и становится у изголовья могилы. Его руки сжаты на груди, он шепчет молитву.

Над Елисейскими полями низкое, опутанное дождем небо. Тусклые лужи синеют в саду Тюильри. Пальцы в разодранных башмаках стынут. Внезапно крикливые знакомые звуки военной музыки раздрают непогоду и дождь. Вдоль Елисейских полей идут солдаты. Военный оркестр с трубами и флейтами шагает впереди. Это два взвода пехоты. Человек на коне едет перед ними. Под его подбородком черный ремешок каски. У него горбатый нос римлянина и каменные скулы завоевателя. Его лошадь грызет никелированный трензель, окрашенный желтоватую пенью. Солдаты в голубых шинелях парадно отбивают шаг. Эфроим Цаткин

подходит к решетке. Он стоит у решетки и заглядывает под каски солдат. Их лица вытянуты в один ряд, придавленные серыми куполами. Который из них станет новым неизвестным солдатом? Музыка сваливается вниз и замолкает, стучат башмаки, десятки солдатских башмаков. Потом все стихает. Эфроим Цаткин отрывается от видения. Он проходит до конца сад Тюильри. Он обходит больницы, полицейские участки и морги. Он заходит в шаритэ, в больницу Дюбуа у ворот Сент-Дени и в госпитали на Госпитальном бульваре... Гастон Леру заблудился в Париже.

В седьмом часу вечера Эфроим Цаткин подходит к галлерее Ренара на улице Бонапарта. Загородный пейзаж Утрилло с женщинами, переходящими улицу, освещен рефлектором в окне магазина.

— Мсье Ренар уехал из Парижа, — говорит Розали. — Изложите вашу просьбу в письменном виде.

Эфроим Цаткин смотрит на кукольные полукруги ее бровей. Они похожи на брови Люси.

— Я не могу изложить свою просьбу в письменном виде... мои пальцы не удержат пера.

Розали пожимает плечами:

— Я сожалею, мсье...

Она закрывает за ним стеклянную дверь и задергивает занавеску. Эфроим Цаткин идет вдоль дома. Его плечу нужна опора. На углу на приступочке сидит слепой гармонист в синих очках. Толстая женщина с рупором в руке продает ноты уличных песенок.

Холодная стена дома пахнет сыростью. Потом она теплеет. Она превращается в щеку. Эфроим Цаткин снимает шляпу. Он прислоняет к стене свою утомленную голову. Стена поет голосом Люси. Гастон Леру идет по улице. На верхушке его сальных волос знакомая мятая кепка.

— Я тебя ищу, Цаткин, — говорит он. — Дневник неизвестного солдата покупает у нас Америка. Она дает нам деньги и кругосветный билет до Полинезии.

Ноябрь. 1930.

Висбаден.

От Палестины до Биробиджана

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

1

Страна под'яремых вый,
Запекшаяся Палестина...
На ржавинах черной крови
Вновь кровь стынет;

Опять воспаленный пожар
Над кровлей убогой вздымлен,
И мучат и нудят бежать
Наместники филистимлян.

Эх, беспризорный народ!
Где твоя корвь не пылала,
Тобой забавлялся Нерон;
Ты выл под пятой Пилата;

Горел на ауто-да-фе
В нищих испанских гетто;
Тебя подавали в кафе
С лимоном, цитатой из Гете.

В программах погромной резни
Все правительства спелись:
Во Франции Дрейфус возник,
В царской России — Бейлис.

Но в луже квасной демагогии
Что тебе делать? Что?
Глаза безнадежной мечтой
Выплакивать в синагоге?

И, рыданья глуша в бороде,
Пойдешь себе с хриплым лаем:
«Мусью Канторович, адые:
Л-шоно хобо б-Эрушолаим!»¹⁾

2

И вдруг — понимаете? — вдруг...
Держава тончайшего стиля
«Евреи, говорит, я вам друг!
Берите — вот Палестина!»

¹⁾ «Желаю через год встретиться в Иерусалиме» (традиционная формула).

Что. Тут. Было... Ну-ну.
Из Одессы, из Крыма, из Ниццы
Влетели в свою страну
Радостные сионисты.

Там грунт как порох сухой.
Но, пессимизм, где ты?
Студенты под бурной сохой
Погребали университеты;

Банкиры из разных стран
Ввозили свои капиталы,
Грозя до последних ран
Аравии, Персии, Италии.

А лорды Бальфур и Джордж
Посмеивались под сурдинку:
«Это — сухой корж,
Но с золотой сардинкой».

И думали Бальфур и Джордж,
Испытанные ветчинники:
«Этот сухой корж
С пороховою начинкой».

И пока сионисты хором
Пели в банкетной гостиной,
Надела английскую форму
Еврейская Палестина.

И понял Бриан и Гувер:
На этой елейной базе
Вылит бронзовый буфер
Меж Ближним Востоком и Азией.

А сквозь голубеющий флаг,
Что радостно подняли сырые,
Метил британский кулак
В зубы французской Сирии.

И в ярости неизбежной,
Забыв о кратком братанье,
Ударилась бивни о бивни
Франция и Британия.

Но все с соблюдением чина,
С улыбочкою наружной:
Проходят попрежнему чинно
Дипломатические ужины...

На аравийский клык
Ответив клыком Палестины,
Мир в Европе велик
Под крестом зубочистки и клистира.

Премьер от имени «Льва»¹⁾
Учит премьера гольфу, —
А там под саблей голова
Летит в обмен на голову...

Бренча французским золотом,
Летят арабские шейхи,
Но не горюет посол о том,
Подставив еврейские шейки.

И как везде и всюду
(А здесь обидней вдвойне),
Богач тривиально считает ссуду,
Бедняк банально мрет на войне.

И стали евреи бежать
Из чуждой им Палестины
От лондонского грабежа
Назад в свои палестины.

И молятся год и другой
И нового ждут Бар-Кохбы,
Дабы разящий грох бы
Нанес огненосной рукой.

«Пошли его, господи-боже,
Пойдем на любой уговор!»
Напрасно. Нет никого...
О, кто же поможет, кто же?

3

В двенадцать часов по ночам
Везжает инструктор Озета.
Сапожникам и портачам
Он вслух читает газеты.

И ходит взад и вперед
Озетовский барабанщик,
Сзывает нищий народ,
Всех страждущих и скорбящих.

На славном коне вороном
Он едет от фланга до фланга,
И вот адъютантом при нем
Военный портной — Янкель,

Налетчик — Майорчик Блат,
Игрушечный мастер Цацкий,
И с севера, с юга летят,
С востока и запада мчатся.

Тут Голта, Жмеринка, Льгов,
«Крымчаки», литваки, «осетины»
Идут из-под русских снегов,
С горячих песков Палестины —
В 12 часов по утру,
В 12 часов по ночам...

Забывшая кугель и фарш,
Еврейская голь зашагала —
Тут Шолом-Алейхема шарж,
Кривой примитив Шагала.

И вышли за братом брат,
Покинув могилы косые,
Люмпен-кустариат,
Мельчайшая буржуазия.

И он воедино слил
В революционный клич их —
Ротшильда фунта маслин
С банкиром коробки спичек.

Скрипичную бросив печаль,
Пасхального сфевра слезы,
Идут они в Биробиджан,
«Ура, Советы!» — их лозунг.

И вот под веселый кагал
Черепица ложится по кровлям,
Поросенок уже проскакал
С типично библейским профилем.

И вот из нервной струны,
Дребезжавшей в жалобах поздних,
Растет троежильный хозяин страны —
Комполка, тракторист, колхозник.

Так что ж это — глупый сон
Под Иродом и Николаем?
Он здесь, этот старый Сион,
Новый Эрушолаим!

Пробуй себе купорос,
Сей каучук или просо.
Есть ли еврейский вопрос?
Нет такого вопроса.

Забуты погром и разбой,
Горят как дрова ярма,
Окольцевала собой
Границы Красная армия.

¹⁾ Английский герб.

Где ж ты, казачий висок?
Сунься-ка, пули отведай!
Республика наша на все
Дает прямые ответы.

Сегодня нам суждено
Разогнать грозою ненастье,
Громя и топя на дно
Фирмы и династии;

Сегодня нам суждено
Исправлять вековые злодейства —
Впадай же, еврей с женой,
В сентиментальное детство —

Спасаясь от всех врагов,
История твоя пробежала
Соленую, рыдающей рекой
От Палестины до Биробиджана.

1930.

На боевых путях

Воспоминания

А. АРОСЕВ

(Окончание¹)

3. Комета Галлея

Вечером с маленьким пароходом от Неаполя под'ехали мы к скали-стому острову. Налево у скал, над морем липли белые итальянские домишки, называющиеся виллами. Налево, озаренные заревом розового неаполитанского заката, догорали, уходили в сумерки высокие скалы. Мы пошли направо к домам. Потом мы узнали, что эта часть Капри называется Пиккола Марина, т.е. малая набережная. Есть, на противоположной стороне, откуда видно безграничное морское пространство, Гранда Марина. Большинство живущих на Капри поселяется там. Мы впопыхах поселились на Пиккола Марина. Домик в две комнаты и маленькая кухня, похожая на каменный чуланчик, и балкон, выходящий на море прямо против дымящегося Везувия и Неаполитанского залива. И что особенно прелестно — совсем невысоко над морем. Соленный морской воздух в наших комнатах был такой же крепкий, как воздух на самом берегу.

Как было бы хорошо, если бы человеку не надо было каждый день обедать. Этот «проклятый вопрос» встал перед нами на другой же день. К счастью нашему, он встал перед нами не в своем оголенном материальном виде, как потом это случилось со мной, а скорей с «организационной» стороны: где же нам кормиться.

На острове жило несколько наших товарищей эмигрантов, от них мы узнали, что есть на высокой горе недалеко от селения, называемого «Ана-Капри», ресторан, содержит его будто бы бывший пират. Но там обедать для нас было дороговато. Да и были мы еще такие домашние люди, что нам как-то неаппетитно елось в чужом месте, в ресторане. Кто-то из эмигрантов нам сказал, что на одной вилле, на склоне горы, около неугасимой лампы в честь святого Георгия живет студентка неаполитанской консерватории Вера, она тоже эмигрантка, хотя ей всего только девятнадцать лет, как раз столько, сколько и мне.

Одним ранним ярко солнечным утром мы разыскали виллу, где жила Вера. Представились ей. То, что мы назывались большевиками, к нашему удивлению, не произвело на нее большого впечатления. Впрочем она тут же рассказала нам, что она сама пострадала за то, что была членом революционной ученической организации в Одессе. Но она об этом рассказывала так весело, словно про шалость. Теперь она эмигрировала, т.е. вернее ей разрешили выехать за границу, и она посвятила себя совершенствованию в музыке. Тут же она сыграла нам что-то. Прекрасны были ее пальцы. Этой красоты их мы не заметили, когда здоровались с ней. А теперь эти пальцы, эти звуки — все вместе такое красивое, волнистое, зыбучее, манящее, тающее, небывалое, волнуемое, зовущее, терзающее, вызываю-

¹) См. «Новый мир» кн.кн. 1 и 2 с. г.

щее сразу и восторг, и сомнения, и жажду нового, и неясную, отдаленную, как смерть, грусть. И вдруг от этой красоты, от соединенного созерцания рук и слушания Моцарта (она его и только его в музыке любила) я и мой друг, мы поняли, мы потом это друг другу сказали, что вся она, эта девушка, красива.

Кончилось тем, что Вера согласилась нам готовить обеды с условием, чтобы мы сами закупали ей провизию. Прекрасно. С тех пор на маленьком каприйском базаре в узких улочках нас можно было видеть каждый день покупающими «карне пер броде» (мясо для супа). Я заметил, что с нами на базаре встречается каждый день какой-то высокий, полный человек осанистого вида. Он ни на нас, ни на кого другого не смотрел, держал руки назад, и в руках у него была палка. По манере ходить, курить я определил в нем нашего соотечественника, по национальности еврея. Иногда вместе с ним был худой и хрупкий человек с печальными глазами, одетый в дымчатый костюм, который сидел на нем так, что видно было, что человек этот за собой ухаживает, любит быть одетым с иголочки.

Да, это — наши соотечественники, мы случайно слышали, как они по-русски разговаривали.

Горького не было на Капри, он уезжал в это время на Давос хоронить умершего уральского рабочего-большевика Вилонова Михаила. Мы ждали с нетерпением возвращения Алексея Максимовича.

Когда узнали, что он вернулся, отправились к нему, собственно отправился я один, мой спутник по застенчивости своей в последний момент отказался от посещения Горького. А у меня к Горькому было литературное дело. Это дело преодолело мои сомнения и волнения.

Вошел я в дом, где жил Горький, где еще оставались некоторые слушатели партийной школы (в это время «школьники» уже начали раз'езжаться).

Встретила меня Мария Федоровна и, не говоря ничего иного, спросила:

— Вы большевик или меньшевик?

— Большевик.

— Из каких краев?

Ответил.

— А Вавилонова знали?

— Слышал.

— Проходите.

Она провела меня в небольшую приемную и оттуда в столовую. Когда мы проходили приемной, из боковой двери высунулось худое христовское лицо того самого человека, которого мы встретили однажды на базаре в обществе высокого завсегдадая базара.

— Что не прислали? — спросило лицо, не глядя на меня и только ласково улыбаясь грустными глазами Марии Федоровне.

— Я же вам говорила, что так скоро не пришлют, — ответила быстро и ясно Мария Федоровна и тут же быстро ко мне, словно боясь, чтобы лицо не скрылось опять:

— Вы не знакомы: Иван Бунин.

Туман восторга и волнения вошел в мое сердце. Я пожал тонкую, гладкую руку одного из самых любимейших моих писателей.

Бунин вышел весь из боковой двери, и все еще почти не глядя на меня, только привычно-приветливо, как делают воспитанные люди, улыбнувшись мне, пересек нам путь и скрылся в другую дверь.

В столовой у окон сидело несколько барышень и молодых дам, которые кушали апельсины и болтали с юношей, одетым во все белое. Меня усадили за стол, перезнакомили. Я оглянулся на своего соседа: оказалось, рядом со мной тот самый высокий, никогда не сутулящийся человек, которого я так часто встречаю на базаре. Он громким голосом стал говорить что-то. Я не слышал, что он говорит, потому что Мария Федоровна, подавая мне чашку чая, приклонилась к моему уху и сказала, что Алексей Максимович сейчас выйдет, что он занимается физикой, и раньше чем не кончит урока, он ни при каких случаях не выходит. Гости, сидевшие за столом (их было порядочно, большинство мужчины), слушали высокого моего соседа. Я не успел вникнуть в суть того, что громыхал мой сосед, как отворилась дверь, что была против меня, и в ярко-желтой куртке вошел высокий человек, несколько согбенный, с подбородком чуть-чуть вперед и как бы пла-

чущими глазами. Созерцательная печаль его лица особенно выражена была в складках около глаз и на скулах. Будто лицо прошло сквозь строй страданий и вот осталось навеки поцарапанным. Глаза глубоко провалились и смотрели, будто издали они защищены были много испытанным лицом, и там, в глубине, сохраняли свободу своего созерцания, свободу смеяться, презирать и больше всего любить, любить. Голова его была наголо выбрита, как голова татарина. Особенно татарскими были складки на шее под затылком.

Я уже не чувствовал, как моя беспутная рука очутилась в доброй, чуть загрубелой, но ласковой руке Горького. Он сел за столom против меня. И тут же перебил высокого моего соседа:

— А вы, Юшкевич, все продолжаете защищать Бальмонта?

Мой сосед—оказывается Семен Юшкевич—расставленной пятерней правой руки коснулся своего лба и сказал:

— Он волнует меня. Понимаете, волнует как читателя. Предположим, что я не поэт, но вот здесь, под коробкой (он все время держал растопыренные пальцы у своего высокого лба), я чувствую, что-то шевелится, когда я читаю этого волшебного Бальмонта.

Горький отхлебнул чай, поставил локоть на стол и, показывая слушателям свои длинные костистые пальцы, обратился к Юшкевичу:

— Знаете, вас чем берет Бальмонт. Он пошатался где-то там в диких странах, обогатился парой-другой зулусских слов и вот преподносит их русскому читателю, ну а тот не бывал среди зулусов и восторгается непонятными звукосочетаниями. Чепуха.

Юшкевич встал и грозно отвечал Горькому. А тот улыбался и давал еще более резкую аттестацию творчеству Бальмонта. Юшкевич начал апеллировать к гостям.

Мария Федоровна посадила меня к молодежи, так что, к своему великому сожалению, я не мог следить за перипетиями спора.

Когда я прощался с Горьким, он пригласил меня прийти к нему отдельно поговорить о моем литературном деле.

Дня через два на свободе, в его рабочей комнате, мы беседовали с Горь-

ким о многих превосходных вещах. Тогда он прочитал первую мою почти детскую вещь. Я просил его критики и совета. Он и то, и другое дал мне. Он усиленно советовал мне читать в особенности тех авторов, которые, по его словам, владеют «добротным русским языком», таковы Аксаков, Лесков, Златовратский. Ну и конечно Лев Толстой. Относительно последнего следует только принять во внимание, что он иногда нарочно небрежит языком. О Толстом говорил Горький с любовью, пониманием. «Толстой, — говорил Горький, — по натуре своей, по мироощущению—чистый язычник, эпикуреец, влюбленный в жизнь, а по мировоззрению—христианин. Творит художественные вещи, как язычник, как эллин, а философия пишет, как нищий, нарочито яродивый. В нем постоянная борьба здорового мироощущения с вымороченным мирозерцанием». Я, любитель до бесконечности Гоголя, сказал про эту свою привязанность. Горький шумно возмутился: «Вот уж мертвый человек, — говорил он, — нездоровый человек, онанист, риторик, лгун. Подумайте, пишет: «Редкая птица летит до середины Днепра...» Это же очковтирательство нашему читателю, птицы океан без отдыха перемахивают, а у него до середины Днепра не могут долететь. Удивительный болтун».

Этакая характеристика гениального Гоголя совершенно потрясла меня. Но я не взял на себя смелости спорить.

Зато какие золотые советы дал мне Горький по части писания. Никогда не забуду, как он характеризовал русского читателя. «Читатель наш, — говорил Алексей Максимович, — ленив и от лени придиричив. Он возьмет вашу вещь, будет читать и все время будет выискивать, к чему бы придаться, какую бы найти заковыку и в особенности будет требовать, чтобы всякое событие или положение в литературной вещи было мотивировано. Читатель любит, чтобы ему постоянно раз'яснял писатель, почему, почему происходит или получается то-то и то». Много другого, хорошего, полезного и красивого говорил Алексей Максимович. Именно красивого. Как иначе можно оценить его замечание по поводу того, что не должно писать на-

пример таких вещей: «в голове его вертелись мысли», ибо мы не знаем, где вместилище мысли. «Предрассудок, что мы думаем головой, — говорил Горький, — никто не знает, чем мы думаем, может быть, коленкой».

Забрав подмышку мою первую тетрадь с повестью о любви, я весь в восторге, полный мыслей, уходил от Горького. И море бесконечное, синее казалось мне ярче и казалось, что дышит, и небо было выше и будто бы слегка колыхалось от теплого ветерка, и ветерок самый был сладок, как поцелуй. Тогда, когда я шел, я перебирал в памяти не то, что только-что сейчас записал выше, а другое: рассуждение Горького о женщине. Ее надо уметь показать в художественной вещи, ее надо показать значительной, ибо женщина играет колоссальную роль в жизни человека. Женщина, способная дать прекраснейшее наслаждение в жизни, и именно поэтому способна, того не сознавая сама, повернуть жизнь человека порою в самую неожиданную сторону. И Горький учил ценить женщину как источник такого наслаждения, которое само является источником многообразной силы.

Мне хотелось отчего-то восторженно плакать. Я прижался к скале у моря, подставил лицо солнцу и старался смотреть на него прямо, не мигая.

Вечером у Веры я рассказывал ей и моему приятелю, что я слышал от Горького. Не сказал только о его рассуждениях про женщину.

Вера вдруг что-то вспомнила. Не дослушав меня, встала.

— Да, знаете что, мои друзья, — сказала мне, — ведь сегодня можно очень хорошо наблюдать комету Галлея.

И мы отправились, как настала ночь, на вершину горы Монте Саляро. Там было много народу и особенно много девушек в голубом невестинном наряде. Это справляли свой обряд помолвленных девушки. Они пели хором, ходили в роде нашего хоровода, шуршали платьями длинными, как феи, как весталки. Вокруг них тихой поступью нестройной толпой ходили итальянские парни. На восточной части неба появились странные светлоголубые пучки лучей, как палцы гигантской руки, захо-

тевшие схватить землю. Рука подымалась из спокойного, пахучего многими ароматами моря. Голубой пучок становился гуще, подымался выше, занимал уже полнеба. Ярче, голубее, голубее — и вот диск, большой, спокойный, зеленато-голубой диск, как глаз вселенского контроля.

Вера стояла посреди нас. Она держала нас под руки, и мне захотелось крепче прижаться к ней. Интересно, заметит ли это комета Галлея. Комета, пролетавшая над нами и, как казалось нам, с маленького острова пролетавшая хвостом вперед, распространила голубую метлу свою по всему небу.

Затихли девичьи хороводы, умолкли голоса женихов, у шеи своей я ощущал затаенное дыхание Веры. Комета легла, приближаясь к западу и на ходу тихо переворачиваясь так, чтобы скрыться не хвостом вперед, а своим теперь совсем зеленым ядром. Ядро ее стало уменьшаться, уменьшаться. Хвост уже...

До того было необыкновенно видеть такое живое существо на небе, что терялось чувство времени, пространства и отношение мое к окружающему. Чтобы не утратить окончательно чувства реальности, я стал думать, что это не небо, а декорация.

Вдруг Вера сказала:

— Мне страшно.

— И мне, — ответил мой приятель. — А тебе? — спросил он меня.

— Нас трое, и если вам обоим страшно, то мне не должно быть...

— Нет, нет, я пошутила, нет, вернее не поняла себя: мне не страшно, мне прекрасно. Вы понимаете: мне прекрасно. У нас в обычной жизни не существует такого выражения.

— Здесь необычное, — сказал я.

— У вавилонян была культура ночи, культ луны, — почему-то заметил Черный.

Комета Галлея склонила голову к горизонту и, хитро, по-змеиному изогнув свой пушистый хвост, хвост жар-птицы, тихо стала утпать в том же море, откуда она показалась нам. Некоторые, стоявшие с нами на горе, начали махать ей платками и шляпами. Мы трое послали ей долгий поцелуй руками.

По утрам что-то сильно дымился кратер Везувия. Везувий находился против

нашего балкона. Высокая, худая, седая, вся в морщинах. хозяйка нашей виллы беспокойным взглядом посматривала в сторону Соренто и Везувия. В ее зеленых глазах искрилась тревога.

По утрам дымился Везувий.

А ночи были яркие, лунные.

В одну такую ночь мы, трое, сидели у скалы, над морским обрывом, а напротив нас из моря возвышались три каменные острия, как два гранитных великана. Каменные великаны эти назывались Фаралионами, т.-е. Близнецами.

Мы, трое, молчали. Вера одинаково горячо держала под руку и меня, и моего приятеля. В ее теплой руке, покоившейся у моего ребра, я чувствовал что-то материнское. И мне захотелось никогда не расставаться с этой рукой, с этой Верой (и с этой верой). И оттого, что мы молчали, и оттого, что море, залитое лунным мертвым светом было недвижно, как остекляевшее, и оттого, что перед нами стояли скалистые великаны, нам вдруг показалось все это похожим на остановку жизни, — временная мертвая точка. И всем нам не хотелось молчать, и никто ничего не смел сказать. С мертвой точки сдвинула нас Вера:

— Вы чувствуете, какая душная ночь и как сладко,пряно пахнут розы?

— Чувствую, — ответил я.

— Не замечаю, — ответил мой приятель и закурил.

И все опять стало обыкновенным, как мгновение тому назад, как всегда.

Проводили мы Веру до дому, как всегда. Прощаясь с ней, я попросил позволения зайти к ней завтра рано утром, часов в восемь. Она удивилась, по-доброму рассмеялась и согласилась.

— Что тебе, дураку, от нее надо? — весело спросил Черный.

— Что. Вот ты и есть дурак, что не понимаешь, почему я ее хочу видеть в необыкновенный час. Может быть, я ее, я ее...

— Ну что «ее», «ее». Говори прямо: влюбился?

— Да.

— Вот балда. — Приятель всплеснул руками и с сожалением посмотрел на меня. — Пойдем лучше купаться, освежишься. Вода ночью ай-ай приятная.

Тут уж я вошел в раж, наговорил много обидных слов приятелю. И в заключение:

— Да знаешь ли ты, что она сама меня любит.

Мой приятель посмотрел на меня по-серьезнее, пристальнее.

— Врешь.

С этим словом мы молча начали укладываться спать.

Едва я проспал часа два, — часы мои показывали половину пятого, — как обе двери нашей комнаты распахнулись и по полу растекалась ворвавшаяся морская волна (мы жили на первом этаже и близко к морю). В темноте я видел, как в набежавшей морской воде золотятся искры. Это фосфоресцируют мелкие морские животные. От них волна морская кажется фонтаном золота, блестящими елочными нитками так называемой канители, бриллиантовыми брызгами. Босой, по мокрому полу я вышел на балкон. По морю неслись теплый шторм. Он вздымал целые горы пенных волн, над которыми летели к небу фонтаны брызг. Ревело море и по-звериному набрасывалось на наш остров, и захлестывало наш балкон, и даже врвалось в комнаты. От рева волн, от хлопанья двери пробудился и приятель мой. Мы забыли разговору и оскорбления, прижались друг к другу, слушали песни Средиземного моря и любовались фосфоресценцией чудных морских животных, дающих позолоту морской лазури. К утру буря ослабла, и уже не такими горами коробилась широкая водная лазурь.

В семь часов я пришел к Вере с тем, чтобы объяснить ей в любви. Но в самую последнюю минуту вместо слов, хороших чудных слов, которые снились мне сегодня всю ночь, которые родились в сознании моем от воя бури, от рева волн, от косматых морских гребней, несшихся на наш остров, на наш домик, как орды гуннов, изрыгаемые Азией, катились к стенам изнеженного Рима, вместо этих слов с уст моих сорвался поистине какой-то дурацкий лепет, за которым в моем сознании все время отпечатывался укор самому себе: «Ага, доклады о материалистическом понимании истории видно легче составлять,

чем найти хоть одно подходящее слово о самом простом, что есть на свете, о самом великом, чудном и железно-необходимом». С болью и сокрушением я слушал самого себя и думал, что если бы тут свидетелем случился Горький, то он бы помог мне. Он бы растолковал этой Вере, которая улыбалась и равнодушно слушала меня, что женщина в человеческой жизни значит много, а в моей жизни революционера — в особенности. Но к несчастью тут Горького не было. Я был один-на-один с опасностью фиаско.

Объяснение мое кончилось тем, что я пошел на базар покупать продукты для сегодняшнего обеда согласно нашего договора с Верой.

И опять в нашей жизни все покатилося по-обыкновенному, как по маслу. Утром мы ходили с приятелем на базар, днем слушали ее музыку и ходили втроем купаться или осматривать достопримечательности острова.

Ездили на лодке в голубой грот, нашли потаенный ход, которого до нас никто не знал, в грот «Мервейеза» (превосходный), были в желтом гроте, в старинной тюрьме, в подземельях которой озеро, где топили людей, приговоренных к смерти другими людьми. Видели в тюрьме часть стены, в которой был замурован какой-то средневековый анархист, одиночки, где можно было только лечь и где несчастные лежали прикованными к полу. Видели площадку Тиберия, императора римского, который любил с этой площадки сбрасывать в море девушек. Теперь на этом месте поставлена позолоченная мадонна. Пробрались мы тайком (туда обычно никого не пускают) и на виллу Круппа. Говорят, что он там занимался тем же, чем и Тиберий. Лазая по скалам, по чужим каменным заборам, по виноградникам, по часовням, руинам, башням, мы в сопровождении еще такого же любителя побродить очутились, сами того не зная, в каком-то чудном парке на вершине одной из каприйских высот. В незнакомом, прекрасном, безлюдном парке мы долго гуляли, нашли чудную беседку с лонгшезами. Грелись там на солнце. Руки мыли в прекрасных вазах из розового мрамора, кубарем валялись на густо-и ярко-зеленых газонах и, усладившись

всем этим, стали спускаться к морю по тропинке, усаженной розами. На одном повороте такой тропинки мы остановились как вкопанные, — перед нами два женских существа: старая, повидимому, мать и с ней барышня лет семнадцати с ясноголубыми глазами, как видно, дочь. Они испугались нас, мы испугались их. Они, т.-е. старая дама, спросила, как мы сюда попали. Мы сказали, что забрели гуляючи (разговор шел по-итальянски).

— Как же можно зайти сюда гуляючи, когда парк огорожен высоким каменным забором.

— Совершенно верно, мадам, но прежде чем добраться до вашего парка, мы преодолели по крайней мере заборов и всевозможных ограждений слоев двенадцать. Какая ограда из них является запрещенной, мы не знаем. Мы полагали, что это — развалины старинного замка.

Дама гордо выпрямилась:

— Это вилла и парк Сан-Микело. Она принадлежит английскому лорду... Всякий, кто будет обнаружен незаконно проникшим на эту территорию, подлежит задержанию. Сейчас я вызову сторожей, которые отправят вас в руки муниципальной гвардии. Следуйте за мной.

Мы по-рыцарски поклонились даме, которая нас приняла несомненно за воров и приготовились следовать за ней, как вдруг ее дочь что-то сказала ей тихо по-английски. Дама приостановилась, опять гордо взвела на нас свои стекляшки-глаза, отуманенные запоздалой старостью, и спросила:

— Вы какой национальности?

— Русские, — с готовностью ответили мы.

Вздых облегчения вырвался у обеих женщин. И дама:

— Ну тогда ничего, тогда просто проходите прямо к выходу: вниз направо и больше сюда не являйтесь.

Дама не спеша приподняла руку и, монументально уставив палец в ту сторону, куда надлежало нам идти, проводила нас снисходительным взглядом, как детей или душевнобольных чудаков.

— Вот стыдобушка - то, — толковали мы друг с другом, — мы даже не стоим того, чтобы нас отправить в полицию.

Несчастья всегда идут сериями. Так уж устроен мир, хотя и есть предрассудок, что в нашем мире нет чудес.

Вскоре рано утром опять распахиваются двери нашей комнаты со стороны балкона. На этот раз их уже отворяет не морская волна, а самый обыкновенный человек в сером, светлом костюме с соломенной шляпой в руках. Человек приветливо нам улыбается и рекомендует: он представитель лиги защиты нравственности. Мы с недоумением перелазываемся с приятелем: что бы это значило по отношению к нам? Человек, защищающий нравственность, спрашивает с искусственным стеснением в голосе:

— Скажите, проживающая на вилле... Вера такая-то не родственница ли кому-нибудь из вас.

— Нет, — отвечаем мы.

— Не сестра? не невеста?

— Нет, нет.

— Может быть, все-таки хоть двоюродная сестра?

— Клянемся, что нет.

Нравственный отер пот с лица и, не попросив позволения, шел.

— Видите ли, мы все-таки будем считать, что она сестра кого-нибудь из вас. Дело в том, что наши каприйские девушки и дамы страшно смущены, даже шокированы тем, что вы с этой девушкой все втроем да втроем. Это, это... наводит на плохие, ненормальные предположения. Если мадемуазель Вера вам обоим посторонняя, то вы не гуляйте втроем, а так: вечером например один, днем другой. А если вам уж непременно нужно зараз вместе, то разрешите считать, что она кого-нибудь из вас сестра. Иначе мы должны будем апеллировать к Горькому, потребовать, чтобы вы оставили наш остров, и вообще будет скандал.

Делать нечего: мы записали Веру в сестры моему приятелю и продолжали везде и всегда гулять вместе.

Наконец пришел каприйской жизни конец. Выехали мы на пароходе в Неаполь, и Вера с нами, чтобы проводить и побывать с нами на Везувии.

Мы почти целый день провели у незатянувшегося земного пупка. Из него сочилась как сукровица мелкими струями лава, камни, куски металла выбра-

сывались из преисподней, дым выбивался из всех боков огромного клочущего оврага. Нутряным, солнечным, земным теплом, а может быть, адом веяло из пасти Везувия. Мы обошли эту пасть по губам ее кругом. Гида, который был с нами, мы при посредстве одной лиры попросили оставить нас в покое и стали спускаться с Везувия сами. Попали в глубокий и мелкий пепел, словно черный песок. Ноги тонули и безудержно катились вниз. Так вынесло нас быстрее к незнакомой итальянской деревушке, где никогда не бывают обычные туристы. Итальянцы взяли с нас за это штраф.

Вечером простились мы с Верой, расцеловались. Она отъехала опять на чудесный остров Капри, а мы еще остались на неделю в Неаполе.

В день отъезда официант отеля, где мы остановились, сказал нам:

— Вы ничего не слышали ночью?

— Как-будто мышь скреблась, — ответил я.

— Нет, не то: ночью было землетрясение в Неаполе вследствие, как пишут газеты, сползания почвы с Везувия.

Перед официантом мы изумились.

А как он ушел, Черный сострил:

— Слышал: сползание почвы. Это несомненно от наших ног, уж больно здорово мы сбежали тогда...

— Отчего бы ни было, все равно позорно нам было проспать такое явление.

Мы не видали следов землетрясения в Неаполе, оно было незначительным.

Венецианский вечер лучше неаполитанского. Он сырее, нежнее. Мы с приятелем ехали на пароходе с острова Лидо, где мы купались и удивляли иностранцев способом плавать «по сажени», как плавают у нас на Волге.

Венецианский вечер был так тих, что тишина его была слышна как легкое касание струн арфы.

— Сознайся, друг, — сказал я, — тогда, на Капри, ты был равнодушен к ней.

Друг мой понял, что про Веру спрашиваю.

Вместо ответа он показал мне ее письмо к нему. В Верином письме были все как раз те прекрасные слова, которые

снились мне, которые я предназначал ей и не мог выговорить. Теперь я прочел их в ее письме. И слова эти были от нее к моему другу Черному.

Я отвернулся. Мне хотелось быть грустным, но я был только тих. Черный ударил меня по плечу.

— Брось дурака валять: тебе показалось, что ты полюбил. А мне казаться не могло, потому что, если хочешь знать, я люблю Веру.

— Ах ты... ты...

— Погоди, погоди, я люблю Веру, да только не эту, другую, потом узнаешь.

Мы подплыли к площади Св. Марка, когда там уже вспыхивала иллюминация: в Венецию, кроме нас, приехал также король Эммануил.

По темным улицам сказочного города мы долго гуляли. Нас встречали, догоняли, обгоняли женщины в длинных шалях с бахромами внизу. Женщины проходили мимо нас тихо, походки их мы не слышали, а лишь шуршанье юбок. Мы не видели их лиц, мы только чувствовали блеск их глаз.

Как же мне было досадно, что не мне, а Черному Вера написала такое письмо.

4. Вера и Ваня

Когда я из Петербурга переселился в Москву, то мне никак нельзя было продолжать жить в качестве глухонемого. Тем более, что я поселился в квартире одного учителя, а его дочка, предобрая девушка с премилым лицом, влюбилась в меня. Нет, в таком случае никак нельзя оставаться глухонемым.

Поэтому я долго не давал своего паспорта в прописку и вел себя как хорошо говорящий и прекрасно слышащий человек. Тем временем я просил моих родных прислать мне с места родины мой самый обыкновенный паспорт, на настоящее мое имя. Требовать такой паспорт было рискованно, ибо я числился ссыльным, но мать моя решила действовать наудачу. Ей действительно удалось получить такой паспорт. Я получил его и опять-таки наудачу взял и прописался по нему в Москве. Меня великолепно прописали. И я стал жить, пробиваясь уроками.

Из Парижа у меня была связь к московским большевикам. Но все эти «связи» оказались сидящими в тюрьме. То был разгул азефовщины. Одна знакомая партийка мне говорила, что не может смотреть на себя в зеркало: ей все кажется, что она смотрит на предателя или на нее из зеркала смотрит провокатор. Я старался утешить ее, развеять мнительность. В конце концов она попала в лечебницу душевнобольных.

Однажды вечером за пианино сидела сестра моего милого приятеля Калоши, который так же, как и Дядя, продолжал оставаться в ссылке, выжидая конца ее. А конец должен был быть уже скоро, в этом году. Я часто бывал в семье т. Серого. Сестра его играла мне: «Время пролетело, слава изжита, Вече онемело, сила отнята. Город воли дикой, город буйных сил, Новгород Великий тихо опочил». Я пел. Потом она еще играла, и я еще пел. А в промежутках мы много говорили с ней о другом моем приятеле Черном.

Так же часто, как я, в семью Серого приходил некий «Ваня», студент Высшего технического института и бывший член нашего ученического кружка. Ваня все приносил ноты, все молчал, все пил чай, все потел, все морщил лоб, все имел искательное выражение в глазах и все чем-то был недоволен. До очевидности было ясно, что Ваню не особенно тут хотят принимать, а Ваня все принимался и принимался.

В тот вечер, когда я пел про Новгород Великий, Вера — так звали сестру Серого — объявила мне, что едет за границу для практики во французском языке. Я ей не советовал ехать, она так была молода, так хрупка, так впечатлительна. Она все же уехала.

Так как я старательно искал связи с комитетом и отдельно с рабочими, то естественно за мной гонялись шпики, и я не мог каждый день ночевать у себя на Покровке за Разгуляем. Время от времени Ваня устраивал меня в общежитии Высшего технического училища, где жил и сам.

Как-то после отъезда Веры я пришел к Ване. Он был пьян до последней степени. Он лежал, плевал в потолок, мутно смотрел на меня, бессвязно хлопал губами. Кое-как я понимал, что говорил он:

— Ты думаешь, куда уехала Вера. Почему ты, сволочь, ее не удержал? Моя вся надежда была на тебя. А теперь вот видишь я в синяках, вчера в участке схлестнулся с таким же пьяницей, как я сам. Пьяница, сукин кот, говорил, что на свете любви не бывает. За это я его бил. А он меня бил за то, что я думал, что любовь бывает. Не вышибить же ему, ни тебе, никому из меня любви. А она, Вера-то, Вера-то, знаешь ли ты, куриная твоя башка, к кому она уехала?

— На практику французского языка, — попытался я резонировать с пьяным.

Ваня от моих слов привскочил с кровати, схватил подсвечник и, налившись кровью, кричал:

— Я тебе кочан разобью, если ты мне будешь это вранье повторять. Почему вы все врете, и мать ее, и ты, и все на свете. Милый мой (он вдруг залился слезами, обнял меня и долго не мог ничего выговорить), милый мой, почему все лгут, милый мой, почему не дает любви тот, кого ты любишь, ведь это тоже неправда. Я Веру люблю. А она уехала к этому лоботрясу, задотрясу Черному. Она к нему уехала, к нему, к нему. Не смей говорить, возражать, а то циркулем тебя зарежу. Молчи (он зажал мне рот своей горячей, трепещущей рукой). Ни звука. Я наверно сегодня повешусь. Писать мне некогда. Ты напиши ей, что я ее, Веру, понимаю, Веру люблю. Да ты наверное не понимаешь этого слова. Ты знаешь, что на каждой букве его фонтаны крови. Люблю Веру.

Ваня долго и крепко сжимал меня, будто я был Вера. Я ночевал у него и утешал весь следующий день.

Ваня решил отсрочить вешаться. Из письма Черного я узнал, что Вера действительно поехала к нему и что Черный женится. Я написал Черному сердечное пожелание счастья.

Но этому письму не суждено было дойти до Черного: в ту же ночь, как я закончил письмо, — это было в моей комнате, — меня арестовали. Дочь моего квартирного хозяина, когда уводили меня, провожала до калитки и облива-

лась такими же горячими слезами, как Ваня.

Когда привели меня в полицейский участок, я нашел там многих товарищей по партии. Все были веселы. И я был весел наружно, а про себя думал:

«Ваня проливал безутешные слезы о Vere, уехавшей к Черному, я никак не мог справиться с тоской, ревностью и влюбленностью к той другой Vere, которую встретил на Капри под кометой Галлея и которая написала письмо Черному о своей глубокой, красивой девичьей привязанности к этому баловню и счастливцу. Настя, дочь моего квартирного хозяина, собирала горячие слезы в платок, провожая меня в тюрьму. Вот нас шесть человек: Вера московская, Ваня, Черный, Вера каприйская, Настя и я, неужели же из нас счастлив один только Черный. Неужели он всасывает в себя чужое счастье. Я спрошу у него когда-нибудь, он скажет мне правду, он мой хороший друг».

От наплыва разных прекрасных и грустных чувств я писал стихи:

Была весна, сверкало солнце,
Плескалось море день и ночь,
Цветы в садах сняли всюду,
Тоска и грусть бежали прочь...
... но вдруг осень, слякоть,
настали серые деньки,
Цветы далеко, море—тоже,
Надежд потускли огоньки.
И все ж чуть-чуть они мерцали...
... напоминали,
Что есть радость,
Что есть далеко милый друг.

Так я называл Черного.

И пришел день, когда я спросил его как друга, питался ли он счастьем, которое уготовано не ему одному. Он ответил мне и—увы!—доказал, что и он был по отношению к какой-то еще девушке в положении несчастного Вани. И Черный проливал слезы оттого, что был одинок. Вот отчего и он ответил мне стихами: «Разных Вер на свете много, многих я из них встречал, Веры ж чистой я нигде не замечал...» Он играл словами, он Веру писал то с большой, то с маленькой буквы.

Мы, политики, не долго сидели в участке. Нас отправили в ссылку и ввергли в мир такой уголовщины, русской уголовщины, которой я раньше не знал

никогда, а теперь, узнавши, никогда не забуду. Вот несколько штрихов из жизни этого замечательного мира.

5. «Чалошники»

Из полицейского участка под конвоем мы пришли в «Бутырки». Это — центральная пересыльная тюрьма.

Камера большая, сводчатая, нары вдоль стен и посредине, но мест для всех нехватает, нас очень много: 102 человека. Я вошел сюда со струею оборванцев, у которых тело, несмотря на позднюю осень, — стоял ноябрь, — было едва прикрыто красными, синими и полосатыми лоскутьями, представлявшими оторванные части рубах, штанов, пиджаков и т. п.

— Эге, наши чалошники!

Раздалось из угла камеры навстречу нам не то радостное, не то насмешливое приветствие. Оборванцев «чалошниками» называют потому, что они каждую осень нарочно «зачаливаются» в тюрьму с тем, чтобы итти этапом на родину и таким способом получить арестантский «полняк», т. е. теплые бушлаты, армяки, двадцатикопеечные штаны, лапти и портянки. «Полняк» же нужен для того, чтобы его на родине пронести зиму и потом опять полуголыми, подпрыгивая от мороза, потащиться тихим шагом к Москве в свою родную Хитровку.

В самом далеком и светлом углу камеры, около окна, сидит уголовная знать; это московские «ширмачи» и «громзики», т. е. карманные воры и специалисты по взломам. Это — «публика чистая». Некоторые из них даже шикарно одеты. Вот например сидит на нарах неподвижно, уставив свой взор вперед, бледный и белокурый поляк в шикарных студенческих диагональных брюках, шелковых тонких носках, на шее «крахмале» и большой франтовской галстук, заколотый булавкой с крупным голубым камнем. Белые усы поляка тщательно поставлены вверх, в лице его ни кровинки: все оно испитое и с особым тюремным отпечатком, какой бывает только у людей, годами просидевших в тюрьмах.

Рядом с ним «Сашка Красный» — это здоровый, коренастый и действительно красный парень лет 24. Так и кажется,

что его мясистые щеки лопнут. И всегда он улыбается своими наглыми зелеными глазами. Одет очень просто, как москательный приказчик или сын уездного купчика. Когда говорит, то молодежато прикрывает, ударяя себя толстой рукой в широкую грудь:

— Эхе, ххе! Меня-то они не скоро возьмут, — и подмигивал на запертую дверь камеры.

Он очень любил рассказывать о своих похождениях, но эту любовь он всегда тщательно скрывал и делал вид, будто рассказывает нехотя, вынужденно. Однако все всегда его слушали с удовольствием.

Сашка видимо был главарем не только среди оборванцев, но и среди франтов с их изящными подвязочками и чулочками. Он был вообще главарь камеры. Ходил он почти целый день вдоль и поперек, как зверь в клетке, нахлобучив фуражку на самые глаза и уши, отчего еще больше делался похожим на уездного купчика.

— Эй, дядя, ты не из Симбирска ли? — обратился однажды Сашка к одному худому, смуглому босяку.

— Из Симбирска, из Симбирска, — замотал тот головой, упрямо глядя исподлобья, — да я и тебя знаю.

Сашка посмотрел пристально на него и подошел поближе.

— Как тебя, не Орлом ли звать?

— Орлом, Орлом, — опять замотал босяк головой. Он и вправду выглядел орлом: острый нос, волосы, торчащие назад, как перья, глаза карие, большие, очень умные и хищные. Но в этих глазах тогда иногда просачивала глубокая, затаенная грусть, и временами казалось, что он смотрит на всех издали, издали и задумчиво.

— Эй! Да ты, брат, вместе со мной был взят в Симбирске в участок! Помнишь? Года четыре тому назад? — говорил Сашка, подсаживаясь к нему на нары.

— Да, да, — твердил нервно Орел каким-то далеким, внутренним голосом.

— Нас еще избивали там. А тебе кажется ухо отрубили.

— Да, да, отрублено, — и он ударил себя рукой по тому месту, где было ухо и где теперь был только шрам с маленькой дырочкой.

Сашка не спрашивал Орла, как из хороших воров он спустился до босяка и какова его жизнь теперь. Они просто привалились друг к другу и разговаривали вполголоса о своих общих знакомых и общих давнишних делах.

А вечером, когда стали ложиться спать, Сашка привалился ко мне и говорил:

— Это, брат, наша общая участь (при этом он указал на безухого Орла). Я знаю, что умру под забором, если не успею пустить себе ножа в бок. Помру безухим или безногим, или безносым. Грудь у меня сейчас эвона какая: эххе, кхе (он молодецки крикнул, ударив по широкой груди)! А вот стены эти да каблуки надзирателей изведут, растопчут ее. Из-за них пойду на тот свет, буду гнить, как Орел... Но зато, брат, поживу, в-вот как поживу! Вдосталь! А там — к чертям.

На другой день среди воров произошла ссора из-за денег. В углу камеры играли в карты два петербургских взламывателя замков и московский карманщик. В переводе на уголовный язык это значит: два «громщика» и «ширмач».

Когда кончилась игра, стали считать деньги.

— Мало. Давай еще пять рублей, — послышался голос москвича, скуластого, курносого и бледного парня.

Арестантам денег не полагается иметь при себе, — можно их иметь на свое имя лишь в конторе тюрьмы, — но арестанты их всегда имеют зашитыми в штаны, куртки или шапки. Что касается карт, то быстрые энергичные руки воров приготавливают не одну колоду чудных карт из обрывков желтой бумаги или из тряпок.

— Как пять? За что? — спрашивал петербургский рецидивист, рябой, румяный и кудрявый, с тщательно расчесанным пробормом посредине головы от самой шеи до лба. Рецидивист как-то глупо и трусливо смотрел на москвича. Впрочем он не мог смотреть на человека безостановочно и метался всегда своими пугливыми глазами в разные стороны.

— Как «за что»?! — вскочил москвич на ноги на нары так, чтобы его видели все и чтобы этот скандал сде-

лался общим достоянием всей камеры. И действительно тотчас же около споривших собрались любопытные с праздными, ленивыми и хитрыми лицами.

— За что? — повторил едва слышно петербургский вор с большой тоской в голосе.

— Да ведь ты мне должен! — ревел москвич.

— Как!? Ведь я тебе еще в прошлую субботу в трактире весь долг отдал.

— Врешь. Ничего я не получал, — настаивал на своей наглой лжи московский вор с явным намерением «содрать».

— Да ведь с нами тогда еще Петушок был, — и все лицо петербуржца покраснело от бессильной злобы.

— Какой там Петушок! Отдавай! Вот и все.

— Ну ладно, на место придем, отдам, а сейчас, истинный бог — нет!

— Отдай! — москвич замахнулся.

— Да у меня же нет сейчас!

— В морду дам! — При этом только москвич в первый раз во время скандала взглянул на Сашку, который, нахлобучив шапку на уши, издали наблюдал сцену. Сашка понял, что москвич своим взглядом спрашивает его, можно ли вправду произвести расправу над петербуржцем. Сашка знал, какой вес имеет его санкция. Поэтому он одно мгновение колебался, а потом надвинул козырек своей фуражки еще больше на лоб, сделал при этом едва заметный утвердительный кивок, что означало можно.

— Нет... нет у меня. — Едва успел пробормотать эти слова испуганный петербуржец, как в воздухе прозвенела ужасная затрешина по лицу, и рецидивист свалился. Москвич замахнулся еще раз, но дело повернулось совсем иначе: без единого слова, как послушная кляча под ударами кнута, так же послушно пострадавший вор развязал почти спокойно, но торопливо, чтобы не получить второй пощечины, одну штиблету на ногу, достал оттуда золотой пятирублевый и отдал его как ни в чем не бывало москвичу.

Все понемногу разошлись по своим углам без лишних слов и ругательств, как-будто после удачного должного и справедливого дела.

Сашка по обыкновению стал прохаживаться вдоль камеры и рассказывать о своих подвигах москвичу. Воры тоже группами гуторили о разных необыкновенных случаях в своей жизни. Побитый рецидивист все еще лежал на боку, и правая щека его все еще ныла от удара. А в самом грязном и темном углу камеры, сидя на нарах и подпирая спинами стену, босяки легонько басили песню: «Шумел, горел пожар московский...»

Так прожили мы в Бутырской тюрьме еще несколько дней, а потом, скончавшие по рукам, в сопровождении конвоя, поздно ночью при освещении факелов отправились на Савеловский вокзал и поехали с товарным поездом в другую тюрьму, в ярославскую.

На другой день, в 12 часов ночи, приехав с арестантским поездом из Москвы, я оказался втолкнутом в камеру ярославской тюрьмы. Сквозь мажорный дым был едва заметен тусклый свет маленькой закоптелой лампы, привешенной к потолку. Стены камеры, в продолжение многих, многих лет вытертые спинами арестантов, теперь были грязно-красного цвета, с отвалившейся местами штукатуркой, с подтеками сырости (будто эти стены вспотели, принимая и выпуская из своих недр на протяжении целых годов сотни разных людей), наконец с бесчисленным множеством пятен раздавленных пальцами клопов. Нар не было вовсе, а на полу лежали скрюченные ноги, уткнутые во что-то головы и закинутые руки людей; вперемежку с этим торчали арестантские мешки и чайники. Камера была так мала, а народу в ней было так много (92 человека), что приходилось спать сильно сжигшись и упершись головою в одно человеческое тело, а ногами в другое... Днем на этом же полу обедали из красных деревянных чашек, усевшись ноги калачиком вокруг каждой чашки по 10—11 человек; на этот же пол плевали и сморкались; тут же затапывали окурки и тут же валялись «пайки» черного хлеба.

В одной стене было три маленьких окна, расположенных под самым потолком; из них только у одного была фор-

точка, открытая «для воздуха» весь день и всю ночь, вследствие чего через нее постоянно, словно белый дым, струился холодный воздух. Камера наша была подвальной, и только верхний конец окна был на уровне поверхности тюремного двора. Поэтому нам была видна тонкая полоска неба, камни мощеного двора, толстые подошвы на сапогах расхаживающего часового. Всем нам было жарко и душно. Из-за этой духоты все арестанты по очереди, а большей частью вперевод, старались подойти к форточке, чтобы наглотаться холодного воздуха. И это в то время, когда на дворе стоял суровый туманный ноябрь. Прогулок для нас как для пересыльных совсем не полагалось, хотя сидеть здесь надо было целую неделю до отправки со следующей партией этапа.

На утро вся уголовная братия почувствовала, что у нее не было руководителя, главаря. Так же заправила, как Сашка Красный или Москвич-драчун, покинули нас на пути из Москвы сюда, кто в Александровске, кто в Ростове, так как они шли «по выбору места» под надзор полиции и выбирали пункты ближайšie к Москве, дабы уже часа через 2-3 по освобождении катить на поезде обратно в Москву.

Правда, здесь с нами был один старый вор-взломщик, очень высокий, очень худой, с очень большим выдающимся носом и с высоким, узким лбом. Но он был о себе такого высокого мнения, что не хотел даже снизойти до того, чтобы управлять камерой. Он больше все сидел в углу, привалившись к стене в горделивой позе, и демоническим взглядом из-под нависшего острого лба лениво созерцал серую толпу арестантов. Обращение со всеми у него было в высшей степени презрительное, начинавшееся обыкновенно со слов: «Эй, вы, дурачье» или: «Ну, ты, сивалдай». Однако если кто-нибудь говорил ему какое-либо непонятное слово или выражение, или длинно выраженную, запутанную мысль, — словом что-нибудь такое, что он заведомо не понимает, — то этот гордец сейчас же проникался сознанием, что имеет перед собой достойного для себя собеседника. Тогда этот странный человек становился раз-

говорчивым; но говорил он неприятно, отрывисто, упоминая совсем не к месту имена Шопенгауэра и Штирнера. В уста этих философов он вкладывал такие изречения, о которых тем вероятно никогда и не снилось.

Однажды кто-то его спросил, откуда он знает таких мыслителей. Вор прищурил глаза, смерил с головы до ног вопрошающего и ответил: — Я вообще с этим делом знаком... Я сам ворую не первый год, я анархист и практик.

Сказал и отплюнулся в сторону, будто сел что-нибудь кислое.

Он видимо был ненормален или, как выразился про него один простодушный мужичок, попавший первый раз в этап: «Этот маленько тово... с простынькой!»

Кроме этого, «с простынькой», остальные уголовные арестанты были люди серенькие и незначительные. Поэтому босая команда, беспорядочная и бесшабашная, почувствовала себя сразу вольготней. Из босяков выделялся один бойкий мужик, худой, с длинными ногами и очень вертлявой косматой головой. Не в пример другим его товарищам, бойким на язык, он обладал неутомимой страстью к самому беззастенчивому вранью. Он целые дни рассказывал о своих похождениях. Слушатели обычно весело хохотали, хотя все знали, что он врет, потому что всегда находился такой бывалый босяк, который тут же и уличал его во лжи. Но тюремные нравы таковы, что в рассказах о похождениях данного лица вранье допускалось и даже поощрялось, если было ловко наврано. Всякие прикрасы, всякая ложь, придуманная к месту, окружает жизнь на воле более светлым, более прекрасным ореолом, подчеркивая то, что в прошлом каждый попавший сюда жил так хорошо и обделывал такие значительные дела, что из-за них пожалуй не грех и посидеть. Однако совершенно иначе обстояло дело с так называемыми «сказками». Обычай рассказывать сказки по вечерам сложился в тюрьмах, должно быть, с незапамятных времен. Сказка для тюрьмы — это своего рода литературные вечера, театры, концерты — вообще все те удовольствия, которые культурный человек в нормальной обстановке может себе доставить после

своего трудового дня. Тюремные сказки ничем не отличаются от простых народных сказок, где много всяких чудес, а иногда и нравоучительных примеров. Если и есть отличие, то очень небольшое, так например, где добрая старая нянюшка сказала бы: «Но бог помог бедному Ванечке» — там уголовный скажет: «Наш Ванька сейчас ум в голову, раз-раз и смекнул». Всякий босяк, прошедший не один десяток русских тюрем, знает почти все эти сказки наизусть; на воле он даже и не вспомнит о них, а вот за каменными стенами острога он, как малое дитя, готов слушать одну и ту же сказку каждый раз со свежим наслаждением и увлечением и как малое дитя он сердится и негодует против всякого малейшего изменения сути или формы известной ему сказки. Поэтому-то тюремная сказка, сложившись раз в определенных выражениях и словах, передается из уст в уста более или менее неизменной, не допуская грубых извращений, перевертываний или привираний.

Вот на этом-то и не везло ретивому рассказчику с вертлявой головой, потому что в самых интересных местах он старался что-нибудь вставить от себя. В таких случаях слушатели начинали с ним перебранку, и дело часто кончалось большой и серьезной руганью. А раз даже какой-то бывший булочник, коренастый парень с нависшим лбом, возмущившись «пиитическими вольностями» рассказчика, засучил рукава на своих толстых, жилистых руках и стал со злобой бить «сказочника». Бил ужасно, потому что тот не сопротивлялся почти, а из окружающих не только никто не встал на защиту его, но еще все шумно одобряли булочника и старались окружить обоих дерущихся плотной стеной, чтобы надзиратель не увидел в волчок происходившего и чтобы булочник мог расправляться без стеснения. И он расправлялся поистине жестоко: скрутив длинное тело избиваемого под себя, он месил его ногами и руками, как месят тесто. И булочник, и его жертва не издавали ни одного звука, только потели, сопели и рвали друг на друге грязные рубашки, так что скоро оба оказались полуголыми. Чем дальше шла драка, тем одобрения толпы все больше и боль-

ше затихали, а лица окружающих становились серьезнее. Наконец наступила мертвая тишина, на фоне которой слышались лишь кряхтенья, вздохи и глухие удары коленок, локтей и головы об пол. Несчастный избиваемый не выдержал и вдруг вскрикнул что было духу, а потом жалобно и как-то странно завывал. В тот же миг, словно по команде, окружавшие разбежались по местам, а сам булочник, быстро закутанный кем-то в арестантский халат, лежал уже в самом дальнем углу, высунув из-под халата только свое бледное лицо. Посреди камеры остались лишь растерзанный рассказчик да двое хохлов крестьян, высоких бородатых мужиков в огромных сапогах «гармошкой» и широких штанах на выпуск. Они впервые шли этапом в ссылку по приговору сельского общества. Все, что происходило в камере, им было мало понятно, поэтому они держались очень осторожно и например в продолжение всей драки не желали даже смотреть на происходившее, дабы не попасть как-нибудь в ответ, и мирно покоились, сидя на корточках, возле своих мешков. А как только раздался крик избиваемого, так они невольно вскочили и бросились в самый центр. Как раз в это же самое время вспугнутый надзиратель открыл дверь и показался на пороге в грозной позе судьи-карателя.

— Кто тебя, чего воешь? — обратился он к избитому, но тот вместо ответа кряхтя пополз к своему месту.

— Вы что тут самоуправничаєте?! — гаркнул вдруг надзиратель, указывая на хохлов. — Карцера у меня не видали еще, что ли?! Ишь лбы какие на одного навалились! Мерзавцы!

В камере нашей было два сифилитика, оба идиота. Один чернородый и черноглазый мужичок лет 35; одета на нем была одна штанина, — другая совсем оторвалась, — арестантская куртка и тоже только с одним рукавом, все тело его было в больших гноящихся язвах, а голова шелушилась. Глаза его были почти неподвижными, и казалось, будто направление двух зрачков перекрещивается между собой; поэтому в глаза ему было страшновато смотреть; от взгляда его делалось как-то неловко.

В веселые минуты вся камера заставляла его плясать.

— Ну-ка, Федя, спляши, спляши.

И Федя начинал медленно поводить своими черными глазами, потом притопывал своей босой ногой. И когда он притопывал, то все его гнилое, желтое, грязное тело так и дрожало, как-будто оно было только слегка прикреплено к костям. В этом и заключалась «пляска».

Потом начинали его спрашивать:

— Сколько лет тебе?

— Тридцать, — отвечал каким-то жидким размягченным голосом Федя. При этом ответе раздавался хохот.

— А детей сколько у тебя?

— Тридцать пять, — хохот усиливался...

Другой сифилитик был молодой человек, по званию почетный потомственный гражданин. Он был страшно худ, потому что ничего почти не ел, свою «пайку» черного хлеба обменивал на табак, который курил без меры; был страшно грязен, потому что очень давно не умывался, был сторблен от общей слабости и оттого, что почти целые дни и ночи лежал, скрючившись, рядом с Федей (впрочем вытянуться никому не хватало места). Но по лицу можно было узнать, что он был и был бы красавцем: почти правильный, немного с горбинкой нос, высокий лоб, красивый овал головы, глаза... но глаз его почти не было видно, во-первых, потому, что они всегда были повернуты какой-то сонной пеленой, а во-вторых, так как он был весь замазан в'евшейся в него грязью, то цвет его глаз сливался с цветом лица, а лицо с цветом темно-серого, грязного пальто, — он был в своей одежде, а не в арестантской. Вся же фигура в общем грязно-серая сливалась с такой же серой стеной. И когда он проходил по камере, то казалось, что не живой человек идет, а только отражение от идущего человека, отражение, которое неслышно и медленно движется по стене. Его помешательство выражалось в том, что он любил по утрам вертеть в воздухе свой кисет и рассуждать с ним полушопотом и как-то странно хихикать. Стоило кому-нибудь громко ввязаться в его разговор с кисетом, как большой поспешно совал его в карман, поворачивался вниз лицом и утыкал

свою голову между полом и карнизом стены. Через некоторое время он опять начал игру с кисетом. Этому юноше было 19 лет. Он шел судиться за кражу.

6. Идеалисты и практики

Через неделю нас хотели было уже отправить дальше на Вологду. Но когда мы приготовились к «походу», т.-е. были выстроены в узком и сумрачном коридоре тюрьмы скованные по рукам, то вдруг пришло известие, что лед на Волге тронулся, — а нам было надо как раз переезжать ее. Лед тронулся видимо потому, что началась временная оттепель.

Снова загремели цепи. Нас расковали и повели в камеры. Предстояло значит еще сидеть неделю.

На другой день к нам из Москвы прибыло много новых, так что население камеры удвоилось. Тут же у камеры образовался некоторый центр, некоторые главенство. Это была компания четырех «ротских» (т.-е. числящихся в арестантских ротах), из которых двое шли на суд, а двое на «высылку» в Архангельскую губернию. Самым видным из ротных был пензенский мужик, двадцати пяти лет, очень здоровый и крепкий, с большой беловатой бородой «лопатою», с открытым русским, румяным лицом и с отчаянными ясными зелеными глазами. Он отбыл 5 лет арестантских рот, был 4 раза порот. Один раз бегал из тюрьмы. Про этот побег он любил рассказывать и особенно о том, как его в родной деревне ловили его же однодеревенцы. Было это так: бежав из тюрьмы, он направился прежде всего к себе домой и уже жил второй день у своей жены, когда внезапно об этом соседи узнали и устроили на него облаву, окружив избу. Но беглец, во-время прыгнув через окно и свалив одного-двух мужиков, загораживавших ему путь, пустился в лес. Крестьяне и стражники побежали за ним. В лесу они его преследовали по пятам, не давая ни минуты отдыха ни себе, ни ему. Лесок был небольшой, и беглец то-и-дело выныривал на опушку леса, но потом снова скрывался в чаще деревьев, ломая под ногами кусты и царапая вет-

ками лицо. Силы покидали его, а крепкий мужицкий ум работал тем временем неослабно над тем, как бы вырваться хотя бы хитростью. Ведь еще предки его славяне говорили: «где сила не берет, там полукавить надо». И вот умный пензенский мужик решил полукавить: быстрым внезапным движением он повернулся к своим гонителям и, выхватив из своего кармана большой тупой складной нож, наполовину развернутый, направил его на догоняющих как револьвер и крикнул своим крепким зычным голосом:

— Эй, сволочи, расстреляю всех, живьем я себя не отдам!

Мужики и стражники на миг закачались на месте, словно от внезапного встречного ветра, а потом опрометью бросились врассыпную, кто куда. А беглец исчез в лесу. Но недолго пожил он на вольной воле: через день его поймали в ближайшем уездном городе, в какой-то чайной, где он подрался с одним торговцем во время спора о достоинствах различных пород лошадей.

Так пензенский молодец был возвращен в тюрьму, где отсидел до конца срок своих арестантских рот, теперь шел «держат надзор», — как принято говорить в тюрьмах, — в Архангельскую губернию. Первоначально же он был осужден за ограбление со взломом большого склада красного товара, который он вывез на телеге.

Второй ротский был новгородский крестьянин, но уже поживший в городах. В наружности ничего особенного: весь рыжий, борода клинышком, усы торчком, очень глубокие, голубые, задумчивые глаза, над которыми беспрестанно нервно дрыгали веки. Если же разговорится с кем-либо по душам о своем житье, то всматривается в собеседника пристально, сосредоточенно и, медленно-тяжело выкладывая слова, будто таща их с самого дна души, говорит: «Скажите, укажите мне другой выход из нужды, и я брошу воровать. Сынишка у меня во-от этакий маленький и тоже рыжий, такой же красноперый, как я». И при этих словах в его тяжелом взгляде блистал ярко — быть может, на самом кончике чуть видной навернувшейся слезы — какой-то светлый и вместе с тем грустный луч, а

веки все больше и больше краснели от подступавших невидных слез.

Вообще он умел любить людей.

Однажды в дверях камеры, которую зачем-то открыл надзиратель, этот новгородец увидел случайно своего старого друга по воле, Ерему, молодого черноусого арестанта.

— Ерема, ты? — радостно вырвалось из уст новгородского крестьянина.

— Владимир! Ты! — вскричал Ерема, и голос его вздрогнул. — Я здесь в поварах, — продолжал он, — не надо ли чаю, табаку, хле...

Он не договорил, потому что Владимир его обнял, и они, обнявшись крепко, еще крепче поцеловались.

— Ничего не надо, — говорил растроганный Владимир, не зная, что говорить и что спрашивать, — табачку разве... Сколько тебе по суду дали?

— Четыре года влепили, да я подал кассацию. А ты?

— Еремушка, слу...

Владимир не успел закончить, как дверь между ними захлопнулась и разделила друзей.

Потом долго, до самой поздней ночи, в кругу своих ротских Владимир оживленно все рассказывал о своем Ереме.

В противоположность новгородцу пензенский отчаянный мужик — тот, что любил рассказывать о своем побеге — не обнаруживал никаких тонких переживаний. С одинаковым смаком, сложив свои мясистые руки на грудь по-наполеоновски, рассказывал он про то, как он где-то ел хорошую «разварную стерлядку», и о том, как с одного взмаха чуть не убил трех «сивалдаев» — так называл он крестьян, и про то, как у него выдирали мясо кусками при порке. Поэтому нет ничего удивительного, что этот ухарь в короткое время завладел всей камерой.

Если случалось например, что у кого-нибудь украли «пайку» черного хлеба, то пострадавший шел жаловаться к пензенскому. Тогда тот становился посреди камеры и горланил, показывая ряд своих белых крепких зубов:

— Эй, вы, шпана, ну, сказывай, который из вас взял. Отдай сам кто взял, а если найдем, то мы те сделаем что надо!

В таких случаях хлеб находился обык-

новенно подброшенным где-нибудь. Тем дело и кончалось. Но бывали случаи, когда укравший не отдавал, тогда пензенский в сопровождении других трех ротских производил обыск, нападая почти сразу на укравшего, словно собака по нюху. И тут пощады не было: этой же самой пайкой хлеба он разбивал «преступнику» лицо до крови, а потом утешал своими баранками того, у кого была кража.

Что касается двух других ротских, то один из них был кривоногий, зеленолицый вор специально золотых и драгоценных вещей, с вечным застывшим выражением испуга в больших глупых глазах. А другой, которого звали «Ведьмой», вполне оправдывал свое прозвище: худой, сгорбленный, смуглый, с орлиным носом и бойкими бесовскими черными глазами. Растительности на лице его почти никакой не было. Раньше он работал как подмастерье в одной из петербургских парикмахерских. Воровскую карьеру свою начал с того, что стал обрезать у дам от меховых муфточек лисьи хвосты. А потом этот мелкий промысел надоел, и он разграбил ночью большой магазин на Невском.

Все эти ротские большую часть времени играли в карты, сделанные из лоскутьев от штанов.

Однажды ввели к нам в камеру молодого парня с маленькими, белевскими, топорщившимися вверх усами и с приветливыми голубыми глазами. Это — новобранец, его отправляли на призыв к военной службе. Незнавший никогда раньше ничего хорошенько о тюрьме, стыдящийся и боящийся ее, он захватил с собою на всякий случай очень много багажа: одеяла, шерстяные и холодные чулки, варежки, несколько пар штанов, две пары галош, два картузика и т. д. Он был сын довольно состоятельного москательного торговца. Придя в камеру, он лег на все свое добро и сделал вид, будто заснул, а сам между тем одним глазом присматривался.

«Ротские» сразу смекнули, что это не свой брат, и поэтому от него можно будет поживиться кое-чем, к тому же ведь и есть чем. Поэтому они сразу сделали вид, что им нет никакого дела ни до него самого, ни до его багажа.

По нравам уголовных, ободрать не своего, не вора, считалось достоинством, особенно, если награбленное шло в коллективное пользование или делилось поровну. Впрочем иначе и не могло быть в тюрьме: всякая индивидуалистическая кража раскрывалась и каралась потом строго.

Минут через двадцать по своем приходе в камеру молодой новобранец, парень видимо очень общительный, не выдержал и разговорился. Сначала подошел он к булочнику, потом к тем хохлам, которые за булочника в камере отсидели и, наконец, завидя, что ротские играют в карты, подсел к ним. Тут он к своему удивлению увидел, что, сдавая, тасуя вместо карт какие-то грязные клочки, люди проигрывают, выигрывают и при этом рассчитываются налицо звонкой монетой, как-будто у себя дома на воле. Сильно озадачило это тюремного новичка. Расспрашивать он стеснялся и стал додумываться до объяснения себе таких странностей сам.

К утру второго дня он не только додумался до этого, но еще и сделал для себя практические выводы, а именно: деньги у него отобрали в конторе тюрьмы и возвратят только тогда, когда он прибудет на место, а между тем в дороге деньги нужны, поэтому почему бы ему и не распродать кое-что свое, которое лишнее. Так он и решил сделать.

— Не купите ли одеяльце на ватке, простеганное,— обратился новобранец к Ведьме, отлично понимая, что именно у этой компании были наличные деньги.

— Покажи, — равнодушно и лениво отозвался Ведьма, не повертывая головы от карт и сдавая их. Новобранец развернул сшитое из разных лоскутов одеяло. Ведьма схватил его в свои опытные проворные руки, перевернул, посмотрел, пощупал.

— Дай-ка, я посмотрю,— потянулось к Ведьме испуганное зеленое лицо другого ротского. Одеяло перескочило из одних быстрых рук в другие, потом еще в чьи-то третьи, и пошло куда-то по рукам. Арестанты незаметно обступали густым кольцом продавца.

— Еще что продаешь? — спрашивал Ведьма.

— Чулочки, галоши, полуботинки,

фуражечку, — угодливо отвечал новобранец, показывая называемые им вещи.

Вещи эти брались, смотрелись, щупались, передавались из рук в руки.

Торговались, торговались, а толпа вокруг торговца начала так же незаметно редеть, как и накапливалась. Но вместе с тем, как таяла толпа, таяли и вынутые на показ вещи, т.-е. они попросту все — и одеяло, и галоши, и перчатки, и фуражка — куда-то сразу и незаметно исчезли. Новобранец за этим не мог уследить, потому что под самым носом его стоял Ведьма и торговался о цене какого-то пустяшного синего пояска с молитвой, теребя его в руках перед глазами продавца.

— А где же одеяло? Фуражка? — спрашивал затуманившийся вдруг коммерсант в удивлении и испуге.

В ответ ему в его ушах прогремел раскатистый звонкий смех многих голосов.

Новобранец понял сразу все, и лицо его как-то сразу странно с'ежилось от горькой обиды и непоправимого огорчения...

Новичок заявил об ограблении своему надзирателю. Надзиратель посмеялся добродушно и весело. Тогда новобранец обратился на вечерней поверке к старшему надзирателю в присутствии младшего помощника начальника тюрьмы. Старший, низенький, пузатый старик с большой белой бородой веером, сухо и строго заметил ему:

— Во-первых, ты не должен выходить из строя, — при этом старший легонько пхнул его кулаком в тот ряд арестантов, из которого новичок невольно немножко выступил, когда начал говорить, — во-вторых, на поверке надо стоять смирно и не разговаривать.

Тогда новобранец решил записаться на прием к фельдшеру (это бывает раз в неделю) и попросить его, не может ли он походатайствовать перед начальством о розыске украденных вещей. Конечно до этого новичок додумался не сам, а по наущению побитого босняка с вертлявой головой.

От фельдшера новичок вернулся со слезами на глазах, потому что, услышав его просьбу, фельдшер выругал его оскорбительным крепким матерным словом.

5

Руку платком обмотай и в венценос-
ный шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний
Смело, до хруста, ее погрузи.
Добудем розу без ножниц.
Но смотри, чтобы он не осыпался
сразу —
Розовый мусор — муслин — лепесток
соломоновый —
И для шербета негодный дичок,
Не дающий ни масла, ни запаха.

7

Не развалины — нет, — но порубка мо-
гучего циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звери-
ного и басенного христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях,
как товар из языческой разграбленной
лавки,
Виноградины с голубинное яйцо, завит-
ки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыль-
ями, еще не оскверненные Византией.

9

О порфирные цока граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.
А за нею с узелками сыра,
Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и бога,
Каждому воздавши половину...

11

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну прищурясь
Ча дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных,
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

6

Оружия камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружию зовущая —
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно ле-
тящая —
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раз-
даривающая —
Армения, Армения!

8

Холодно розе в снегу:
на Севане снег в три аршина...
Вытащил горный рыбак расписные
лазурные сани,
Сыгтых форелей усатые морды
несут полицейскую службу
на известковом дне.
А в Эривани и в Эчмиадзине
весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить,
чтоб таял снег во рту.
Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

10

Какая роскошь в нищенском селенье,
Волосая музыка воды!
Что это? пряжа? звук? предупре-
ждение?
Чур-чур меня! далеко ль до беды!
И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как-будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.

12

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем би-
рюзовым,
Над книгой звонких глин, над книж-
ною землей,
Над гнойной книгою, над глиной до-
рогой,
Которой мучимся как музыкой и сло-
вом.

Ноябрь 1930.

Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение¹)

13

Николай Хрисанфович, — со стоном говорил Уманский, — уж простите меня, буду лежать... Знакомьтесь, пейте, курите... Володя, голубчик, принеси, — на кухне, в тазу во льду — бутылочка... Ох, боже мой, боже мой, какая мука... Чудное довоенное Имперьяль, трипль сек... Граф де-Мерси, громадный аристократ, предлагает продать родовой погреб... Сомневаюсь только, как бы остальное вино не оказалось много хуже, чем он дал на пробу... Меня обмануть ничего не стоит... Я доверчивый...

Сморщенное лицо Семена Семеновича изобразило томную муку. Денисов сказал, что заехал исключительно от беспокойства — справиться о его здоровье. Уманский собачьей улыбкой выразил, что поверил. У баронессы Шмитгоф горели щеки, — в эту минуту ей, непринужденно болтающей с двумя такими дежными воротилами, позавидовали бы многие женщины. Держалась она несколько по-старомодному (довоенному), подражая кошечке (шифоное, с узким до пупка вырезом черное платье, нитка жемчуга), встрепанные волосы, тонкий носик, близорукие глазки... (Денисов сразу определил: над девушкой нужно еще работать, но в общем, для домашнего обихода — мила).

Забравшись кошечкой в большое кресло, она болтала о тайне «больших домов» (знаменитые портные), готовив-

ших осенний переворот в модах. Президент палаты Дюшанель приподнял покрывало тайны: в интервью он сказал: «Передайте женщинам Парижа, что вихрь осенней листвы закроет весь траур»...

— Как вы это понимаете, Николай Хрисанфович? «Эхо бульваров» объясняет, что цвет осенней листвы — это тона от багрового до нежножелтого — мертвый лист осины... И конечно — шифон... Кстати, Дюшанель вчера в Люксембургском саду, гуляя, упал в бассейн, где дети пускали кораблики. Газеты это скрывают. Все уверены, что Дюшанель будет президентом после Пуанкаре. Пуанкаре скучен, он всем надоел со своей войной...

Уманский с наслаждением слушал эту болтовню из журнальных заметок и газетных сенсаций. Было очень кстати то обстоятельство, что акула Денисов, приехавший повидимому что-то заглотив, застал у него в будуаре за бутылкой шампанского настоящую светскую женщину...

— Не волнуйтесь, дорогая, — повторял он, когда баронесса коротенькими глоточками пригубляла бокал, — у вас будут платья от лучших домов... Ах, Николай Хрисанфович, какое счастье помогать людям! — И он валился на круглую подушечку, сквозь щелки глаз наблюдал за непроницаемым лицом Николая Хрисанфовича. «Эге, — подумал, — не мешает ли ему Лисовский?»

Володя Лисовский налил в бокалы и сел в тень. Сейчас же с этой стороны у

¹) См. «Новый мир» кн. кн. 1 и 2 с. г.

Денисова напряглось ухо. Он медленно взял папироску и закурил ее с того конца...

«Так и есть» — подумал Уманский, — он знает что-то важное».

— Ну, как русские дела, Николай Хрисанфович?

— Неважно... Неопределенно... (Денисов удобнее положил ногу на ногу).

— А вот Володя Лисовский меня обнадеживает: самое позднее к ноябрю Деникин в Москве... Что рассказывают! В России — ни обуви, ни белья, ни одеял, ни консервов... Мы здесь зачерствели, чьем шампанское... Боже мой, боже мой... Я, кажется, отправлю в дар москвичам целый эшелон обуви и байковых одеял... (У Денисова прикрылся глаз)... Я так решил, оставьте меня... (Скинул ноги с дивана). В чем счастье наконец, Николай Хрисанфович? Отправлю в подарок пароход с бельем и консервами... Пусть только они возьмут Москву... Володя, можете сказать об этом Бурцеву. Ей-богу отправлю... Простите, баронесса, мы — все про свою боль... Ах, надоела политика...

Баронесса с живостью:

— Французы в панике, когда в общество попадает хотя бы один русский: Москва, большевики, большевики, Москва... Так прогоните наконец ваших большевиков, вы становитесь смешны с вашей вечной политикой: Москва, большевики...

Кружевным платочком она потрогала носик. Денисов сказал:

— Вы слышали, застрелился Манус... (Семен Семенович подскочил, впился расширенными глазами):

— Застрелился Манус?

— Да, ужасно... В Марселе... Два парохода с военными стоками, — сколько стоила погрузка! В порту отказались грузить для Деникина, пришлось добиться от правительства публикации, что пароходы идут в Аргентину... А цены падают, Манус все ждет... Когда разница дошла до трех миллионов франков, выстрелил себе в рот...

— В рот! Манус, Манус, дорогой друг...

Уманский притиснул ладони к глазам. Володя Лисовский встал, чтобы сбросить пепел с папиросы:

— Курьезный факт, — с усмешкой

проговорил он и спокойно-ледяными глазами остановился на лице Денисова, — американцы в Булони сожгли склад мотоциклов... (Денисов сейчас же быстрым взглядом ответил: «играете на меня, понял и благодарю»). Двести тысяч новых военных машин...

Уманский, оторвав руки от лица:

— Сожгли мотоциклы?

— Благодарная Франция предложила американцам чуть ли не по пятьдесят франков за мотоцикл. Дороже стоит погрузка и фрахт, а везти их назад в Америку, — сбивать там цены... Шикарно: поставили кругом пулеметы, облили склад керосином и, не моргнув глазом, сожгли товару на десять миллионов долларов!.. А теперь французы будут платить на месте по пятьсот долларов за машину...

— Слушайте! — Уманский сорвался с дивана... (Баронесса испуганно открыла ротик). — Разве нет Деникина и Колчака? Русские армии разуты, раздеты, безоружны — тиф, голод... (Денисов пожал плечами). Я имею три миллиона превосходных одеял, восемьсот тысяч пар башмаков для пехоты, миллион комплектов белья, пять тысяч тонн австралийской солонины... Я могу повести в бой полмиллионную армию... Я не хочу зарабатывать на святом деле, дайте мне только вернуть мои деньги...

Денисов безнадежно покивал пузырящемся бокалу:

— Семен Семенович, вы забываете, что американцы привезли в Европу военного снаряжения на два миллиона солдат с расчетом на пять лет войны. Англичане на такой же срок заготовили продовольствия... Кому сейчас нужны эта солонина, бобы, консервированные пудинги, бязевое белье для покойников, пудовые башмаки... В окопы сейчас никого не загоните... А сколько можно продать Колчаку и Деникину? Пссст! Капля в море... Положение с военными стоками катастрофическое...

Уманский, забыв зубную боль, бегал по ковру. Топнул лакированной туфелькой:

— А все-таки буду ждать! Я окажусь прав, а не паникеры. Факт!

— Ну, что ж, — Денисов подвигался в кресле, будто собираясь встать. — В игре совет не дают. (С нетерпели-

вой складкой между бровями взглянул на Лисовского).

Тот ответил:

— На-днях забегал к Стахеевым... Сидят три московские купчихи, где-то раздобыли арбуз, едят, ругательски ругают французов и евреев, собираются ехать в Россию, при чем Россию тоже ругают на чем свет... Все вещи — в чемоданах, — собираются быть в Москве к началу сезона в Художественном театре... Я им говорю: что же вы так собрались-то?.. «А нам, говорят, из Лондона написали, что на-днях будет война четырнадцати держав с большевиками»... Я и поверил, — шапку, трость, и — в редакцию... (Денисов громко засмеялся. Уманский белобрысо моргал). Там сдуру-то рассказываю сенсацию... Бурцев, как был, — в соломенной шапочке, пальто набито корректурами, — рванулся писать передовицу: «Осиновый кол вам, большевики»... Кричит из кабинета: «Лисовский, сведения из достоверного источника?»... Отвечаю: ага... «Лисовский, вы не можете достать денег, съездить в Лондон, — добейтесь аудиенции у Черчилля». А я как раз читаю «Таймс», — в Лондоне всеобщая забастовка... Жалко старика, вы, говорю, Владимир Львович, на всякий случай передовицу покажите военной цензуре...

Лисовский положил в рот соленую миндалину, похрустев, вернулся в тень. Денисов сказал:

— Нет, нет, раньше чем через десяток лет Европу на войну не поднять... А выйдет самое скверное: Ллойд-Джордж добьется мирной конференции на Принцевых островах. Большевики, видимо, склонны мириться, Деникина и Колчака англичане уломают... (Допил вино). Ну, вот, Семен Семенович, рад был видеть вас, поправляйтесь... (Взял надушенную руку баронессы, прижался колющими усами). Дорогая женщина, я любовался вами на премьере «Ки Ки»...

— Вы меня заметили? Я была с графом де-Мерси... Мы с ним еще во время войны чудно кутили в Петрограде... Правда, он очарователен?.. Но он разорен... Он маниакально любит Россию и русских...

— Вспоминаю, у него нето в Баку нето в Грозном — нефтяные земли...

— Представьте—продал все в прошлом году буквально за гроши какому-то проходимцу...

— Я слышал, Александру Леванту,

— Граф в отчаянии. Он хочет, чтобы будущий император вернул ему все... Николай Хрисанфович, вы умны, скажите, кто будет у нас императором: Кирилл, Борис или Дмитрий Павлович?

— Я демократ, моя дорогая баронесса.

— Как вам не стыдно! Я вся за Дмитрия Павловича, — молод, упоительно красив... Но замешан в убийстве Распутина... (Расширив глаза, шопотом)... При английском дворе течение против Дмитрия Павловича... Владимировичи должны получить от матери знаменитые изумруды, — у них будет на что держать двор... У Бориса больше прав, но он слишком скомпрометирован с женщинами... Остается Кирилл.

— Кирилл, Кирилл, о чем говорить, — нетерпеливо повторил Уманский. Баронесса вздохнула:

— В пять у меня всегда чай, Николай Хрисанфович.

Денисов простился. Уманский торопливо пошел за ним в холл. Там оба, сразу постарев лицами, взглянули в глаза друг другу до самой глубины. У Семена Семеновича дрогнули губы. Денисов проговорил холодно:

— Можно еще кое-что спасти...

Тогда Уманский распахнул золоченую дверь в маленький зелено-голубой кабинет с мягким светом потолочного полусфера. На столе, покрытом стеклом, где стояли телефоны, и на голубом ковре кучками валялись изорванные в клочки бумаги. Денисов вошел. Разговаривали стоя.

Уманский:

— Есть предложение?

Денисов:

— Один приезжий...

— Откуда?

— Это безразлично. Большие деньги. Оптимист. Порет горячку, готов на ажиотаж. Я могу говорить за него. Покупаю весь ваш товар. Я подписываю, я плачу.

Уманский снова пронзительным взглядом измерил глубину человеческой совести.

Но там было непроницаемо. Опустил голову. Отвисли губы:

— Сколько я потеряю?

— Шестьдесят пять процентов.

— Невозможно! — Уманский заломил руки. — Тринадцать миллионов! — Сразу сел, уронил руки на стекло...

Денисов:

— Семен Семенович, я знаю все сроки ваших платежей...

Уманский — бешеным шопотом:

— Деньги завтра, чорт вас возьми...

— Все деньги завтра до часу дня.

— Согласен.

Денисов сухо, важно поклонился, пошел к двери. (Уманский остался за стеклянным столом, глядя, как Люцифер, в тьму мироздания). В холле к Денисову подошел Лисовский:

— Нам по дороге, Николай Хрисанфович?

— Я вас подвезу. А баронесса?

— Нельзя же лишать беднягу сразу всего, Николай Хрисанфович...

Денисов запрокинул бородатое лицо, раскрыл рот и беззвучным коротким хохотом выдал из себя уже не нужное теперь, сдержанное волнение.

14

Русская газета «Общее дело», издаваемая В. Л. Бурцевым, печаталась на плоских машинах. В узкой улочке (в старом квартале Парижа), в почерневшем от копоти здании, за пыльными сетками на окнах помещалась типография. Паутина на низком потолке, газовые рожки и громоздкие машины, капающие грязным маслом на кирпичный пол, пережили не менее трех революций. Сейчас эта фабрика мысли занималась более или менее сомнительными делами. Рабочие нанимались сюда на короткие сроки и лишь в крайних обстоятельствах. Их выпачканные свинцом, запавшие лица и ленивые движения оживали только под суровым взглядом метранжажа — могучего толстяка с угрожающими усами. Он держал впроголодь свой «свинцовый батальон», набираемый в трущобах и кабаках. Типография работала кое-как, но владеец ее, Мишель Ришар, журналист, театральный критик и редактор-издатель газетки «Эхо бульваров», неплохо зарабатывал отделом хроник и смеси, беря с известных лиц

и за то, что печатал, и за то, что не печатал. Клиентами его были кокетки, жаждающие общественного скандала, дома терпимости (хроника происшествий), маленькие актрисы и немало членов палаты депутатов, — эти платили (завтраками или дорогими объявлениями, или маленькими политическими сенсациями) за молчание, так как Мишель Ришар знал все касающееся мира любовных шалостей и ночных развлечений.

Над типографией направо помещались редакция «Эхо бульваров», анархический листок «Фонарь» и анонимное издательство «Курочки Парижа»... Слева, в трех пустынных комнатах, — знаменитый орган борьбы с большевизмом — «Общее дело».

Голые и непротертые окна, на полу — пожелтевшие связки газет, несколько камышевых стульев, гвозди в стенах и листочки рукописных объявлений, приколотые булавками к буро-красной штукатурке, два-три стола, где какой-нибудь посетитель, дожидаясь чего-нибудь, зева от бурой скуки до выворота скул... На двери в крайнюю комнату — надпись: «Я занят»... Там сидел Бурцев.

Он сидел спиной к двери. Входящим была видна маленькая, быстро пишущая фигурка, с раздвинутыми продранными локтями и седые вихры из-под соломенной шляпы (канотье), надвинутой на лоб. Обойдя стол, посетитель мог видеть горбатый, внушительный нос, испачканный чернилами, табачно-седую растительность и художавое, возбужденное лицо Владимира Львовича. Он писал. Обычно он один заполнял всю газету. На столе — вороха рукописей, газет, окурки и пыль. В глубине комнаты на полу — пачки тех же газет, на которых Владимир Львович спал. Из бережливости он жил здесь же, при редакции, мирясь с отсутствием водопроводной раковины и нужного места...

Сотрудникам, кроме Лисовского, он отказывался платить хотя бы одно су, — в дни уплаты гонорара впадал в тихое бешенство:

— Куда вы деваете деньги, Лисовский, куда вы расшвыриваете деньги? Каждую неделю вы отнимаете часть души от «Общего дела». Не сердитесь,

но я спрашиваю: чем отличается ваша беспринципность от шайки разбойников, именуемых большевиками... Там набивают карманы золотом и бриллиантами и дурачат несчастный русский народ, дурачат весь свет, чтобы впоследствии ловчее воспользоваться результатами беспримерного в истории грабежа... (Он думал и выражался фразами из своих передовиц; пронзительные с точками зрачков светлые глаза ощупывали, казалось, все тайные извилины души Лисовского)... Вы, призванный сорвать маску с преступления большевиков, завтракаете по ресторанам, крикливо одеваетесь, и я вижу, — должны это признать, — вы, ближайший соратник общего дела, вы — циник...

После этого Бурцев вытаскивал из-за рваной подкладки пиджака сто пятьдесят франков и, удрученный, передавал их Лисовскому. Деньги на издание «Общего дела» доставались ему не легко: французы не придавали серьезного значения газете, так как в экономической программе Бурцева не было ничего вещественного, кроме позорных столбов, осиновых кольев и проклятий, а телеграммы от собственных корреспондентов, сочиняемые в соседней комнате Лисовским (большевицкие ужасы, социализация женщин, кража народными комиссарами серебряных и золотых предметов и тому подобное), казались более живописными, чем деловитыми. Для Деникина Владимир Львович был слишком красен. В колачковских кругах вообще собирались повесить Бурцева вместе с многими другими «либералами» после взятия Москвы. Деньги перепали лишь от князя Львова.

Лисовский советовал повернуть руль «Общего дела» от парламентаризма покруче вправо, — созвучно с эпохой...

— Владимир Львович, играйте на генерала на белой лошади. Нюхайте эпоху. Больше нельзя долбить, будто большевики сорвали вам святую бескровную революцию... И слава богу, что сорвали, — осиновый ей кол...

— Замолчите, — шопотом говорил Бурцев...

— Осознать настоящего хозяина — вот лозунг... А то, что это такое — болтаться в нейтральной зоне! Владимир Львович, вы верный слуга буржуа-

зии, и дай бог ей здоровья и процветания...

Бурцев:

— Молчите, вы — циник, диалектик, большевик...

— Хотите, махну четыре фельетона под ряд, — как я думаю, во всем блеске... Редакция переезжает на Елисейские поля, вывеска во весь фасад... В приемной — жизнь, а не гвозди в стенах... Депутаты, дельцы, концессионеры, генералы... Шикарные кокотки...

— Я вас больше не слушаю, — Бурцев хватал чумазными сухонькими пальчиками перо, и нос его нависал над торпливыми неразборчивыми строками, над чернильными кляксами.

15

«...у которых отмерло чувство элементарной порядочности, люди, в присутствии которых боишься за целостность носового платка! И мы с полным правом бросаем им в лицо: проклятие вам, большевики!...»

Бурцев осторожно положил перо на стеклянную подставочку, потер похолодевшие от волнения пальцы. Перед ним, усмехаясь, как всегда, стоял Лисовский. Бурцев сказал:

— Я кончил передовицу... Едва ли кто-нибудь писал столь ужасные слова. Они упадут громом на их голову. Если у них остался хотя бы намек на совесть, они не переживут позора...

Лисовский, дернув ноздрей:

— Я завтракал только-что с Денисовым. Николай Хрисанфович делает интересное предложение... Знаете, что он сказал? Для какого дьявола Бурцев издает газету по-русски...

Бурцев, угрожающе подняв палец:

— Слушайте, от вас несет вином...

— Мы пили великолепное бургундское в Кафе де-Пари, будьте покойны... Он сказал: Бурцев в конце концов пишет для одних большевиков, — чтобы им стало стыдно и они бросили революцию... Подождите сердиться... В Доброармии вам ни на маковое зерно не верят, сколько ни распинаятесь... Какова аграрная программа «Общего дела»? — и нашим и вашим. А Доброармии нужно немного, но крепко: землю помещикам, мужиков — шомполами...

— Безумие! — закричал Бурцев, хватая перо.—Я никогда не дам большевикам этого козыря! (Вонзил перо в промокашку). Скорее пойду за Черновым, хотя в настоящих условиях это тоже безумие!

— Ну, так вот, Денисов именно это и ценит: у Бурцева хороший революционный стаж, французский рабочий если кому-нибудь поверит — только Бурцеву... Рабочие питаются ядом Шарля Раппорта в «Юманите»... Анатоль Франс объявил себя большевиком, Раппорт торчит у него каждый день на Вилла Саид... Пусть читают «Общее дело», и на это можно дать деньги... Пусть Бурцев для собственного утешения издаст пятьсот экземпляров по-русски, — все остальное на французском языке... Бурцев — марксист, революционер, неподкупный... (Владимир Львович, сам этого не ожидая, самодовольно усмехнулся)... Пусть он рассказывает рабочим, как их водит за нос шайка бандитов... Бурцев—это марка... Слушайте, с сегодняшнего вечера я займусь рабочими окраинами. Вы отводите мне весь нижний подвал под зарисовки. Нельзя сразу долбить читателя по башке вашими передовицами,—я его заинтересую: серия очерков—«С фонарем по Парижу»... Пусть это будет немного желто... Плевать, все же лучше ваших осинового кольев. Нас будут читать. Денисов прав,—французская пресса за спиной тридцати тысяч полицейских не понимает всей опасности рабочего брожения... «Общему делу», может быть, суждено спасти Европу...

— Происхождение денисовских миллионов? Лисовский, я хочу знать — это истые деньги?

Лисовский, пожав плечами:

— Я сам был свидетелем, как Денизэв, рискуя всем состоянием, выцарапал одного спекулянта три парохода военных сток для Доброармии...

Бурцев насупился и так сидел некоторое время, шляпа сползла на лаза:

— Хорошо, я его приму... Но — здесь, у меня... Пусть эти шикарные господа увидят, — мы не торгуем идеями...

В понедельник Александр Левант вызвал к телефону Веру Юрьевну и потребовал спешно привести дом и сад в наилучший порядок, — если нужно — взять садовника, особенно позаботиться о кухне и погребе. Будут солидные гости. Налымову он сказал, что вылетает на два дня в Лондон и просил за это время подготовить почву для свидания с Чермоевым и Монташевым. «Напоминаю, — от этого шага зависит все будущее, вы сможете возродиться...» Василий Алексеевич почистился, повязал галстук бабочкой, надел несколько набок новую шляпу, помахивая тросточкой отправился в Париж.

Но у калитки его ждала Вера Юрьевна. Рука ее была холодная и вялая (он только прикоснулся носом и отпустил), рука ее, как неживая, ударила о беду. Василий Алексеевич отвернулся. Меловая старая дорога уходила под гору, — каменные изгороди поросли ежевикой, на листве уже осенний отсвет. Синеватый, жаркий день. Внизу старенькие домики, полосатые парусины, графитовые крыши Севра. Извилина реки, сады, золотистые полосы. Далекие свистки поездов на волнистой равнине. Все это — по ту сторону жизни. Как цветная картинка на экране зажженной свечи (из далекого, далекого, — спальня матери и — мир по ту сторону экрана)...

— Вы вернетесь? — спросила Вера Юрьевна.

Не оборачиваясь, ответил через зубы:

— Куда же к чорту денусь...

— Вы в счастливом настроении едете в Париж...

— В превосходнейшем.

Она — тихо, с упрямством:

— Не вернетесь, я уж чувствую...

Лучше не возвращаться. Я конечно буду вас искать в Париже. Так и знайте.

Осторожно она потянула полу его пиджака и что-то положила в карман. Он покачал головой, в кармане нащупал пачку денег и, вытащив, осторожно положил на траву. Взглянул на Веру Юрьевну, — губы ее дрожали, в глазах было такое, что он ужасно испугался, почти как смерти. Он совсем было примирился, приспособился, выдумал осо-

бую философию — простейшего организма, амфибии, похищающей в рюмочку среди оглушительно мчащихся минут. Философия, подкрепленная убийством пятнадцати миллионов душ и условностью моральных предпосылок. И — вдруг — назад, к человеку, в жаркую женскую тьму! Испугался потому, что не мог уже просто, приподняв шапочку, пойти вниз по меловой дороге к вокзалу и на полпути засвистать какой-нибудь «О ревуар, Пари»... При всем этом потемневшие глаза Веры Юрьевны каким-то дьявольским путем сошлись с далеким, далеким цветным экраном перед свечой, с безвозвратно утонувшей в пьяных слезах, в слезах сновидений любовью к маленькому себе.

— У меня пять франков, Вера Юрьевна, хватит на поезд, метро и папирсы... Постараюсь быть к обеду... Видите — какая нелепость... (Взял ее за руку, потом осторожно — за другую...) Может быть, это глупее всего, что было со мной, но — вернусь, ей богу, ей богу...

У нее забилось горло. Вырвала руки. Он неожиданно всхлипнул (почти так же, как тогда у Фукьеса, за столом, нюхая розу), перекинул через плечо тросточку, пошел к вокзалу.

17

Чермоева он застал дома. Тапа завтракал в кругу родственников, — за столом было человек шестнадцать. Как глава рода, он ел важно и молча. Рядом сидели две красивые татарки в парижских туалетах, сильно надушенные, с розовой кожей, хрупкие, длинноглазые. Татарки и Тапа пили вино. Остальные расположились по родству и знатности: почтенные люди с крашеными в красное бородами, горбоносые смуглые усачи, старухи с косицами, в черных платках. Чермоев вывез в Париж весь цвет многочисленного рода — с нефтяных приисков, из Баку и из горных аулов. Понятно, что нужны были большие деньги с достоинством содержать семью в этом сумасшедшем городе, где у татар дико загорались глаза при виде роскоши в магазинах, смуглые усачи желали носить шелковые носки и лакированные ботинки, почтенные старики бродили, как голодные шакалы, по цен-

тральным бульварам, поворачивая крашенные бороды за каждой толстозадой девчонкой. Тапе приходилось трудно.

Он подумал, что Нальмов пришел просить денег. Другого бы просто велел прогнать из прихожей. Но Нальмов был из придворной знати, — прогонишь — ославит гордого Тапу. Скомкав салфетку, он вышел к Василию Алексеевичу, по-кунацки обнял: «Доставил радость, спасибо, пойдем кушать» и посадил его между красивыми татарками, пахнувшими головкружительными духами «сумерки». Русоволосую звали Анисханум, медноволосую — Тамараханум. Обе — троюродные сестры Тапы. У обеих высокие, подведенные, как ниточки, брови; тонкие руки, обремененные кольцами, подвижны и откровенны. У Анис — приподнятый нос и пухлые губы, Тамара — вертящая и худая, красивее сестры. Они, видимо, вполне освоились с парижской жизнью, — шурша коленями по шелку, потягивая ликеры и куря из золотых мундштучков, говорили, что Париж невыносимо скучен в июле, можно рассеяться только в «Прекатлан» (в Булонском лесу), где танцуют на паркетном полу под открытым небом при свете луны. Но мужчин нет, нет и нет. Французы куда-то делись, — говорят, все от двадцати пяти лет до сорока убиты, остались подростки, но эти поголовно занимаются гомосексуализмом. Иностранцы все сейчас в Довилле... Вот где шикарно! (У обеих руки рассыпались брызгами колец над столом). В казино игра, — банк в три миллиона ничто... В Довилль рекой текут доллары и фунты... Счастливая Франция!..

Тапа встал, сложил ладони, как книгу, пошепчав, провел ими по лицу. Завтрак кончился. Родственники неслышно исчезли. Татарки продолжали болтать, но он взял их за плечи, потрепал и поцеловал обеих в волосы. (Анис с нежной улыбкой опустила ресницы, Тамара строптиво сморщила носик). Захватив золотые портсигарчики и сумочки, они вышли.

— Чудные женщины, — сказал Тапа, запирая дверь, — одна вдова, у другой, Тамары, муж пропал без вести в горах... Молоды, красивы, что с ними делать, ума не приложу... (Он придвинул

стул к Налымову и по-азиатски стал глядеть на него).

— Тапа, я к тебе по делу. Ты не знаешь такого — Александра Леванта? (Тапа мотнул тяжелой головой.) Я у него — поверенным в делах... Ты наверно слышал — я одно время опустился... (Тапа кивнул.) Да, было такое настроение... России нет, армия погибла, государь убит... Все, чему присягал, — гнилой труп...

— В белые армии не веришь?

— Белые, красные, зеленые, — пусть их там делают остатки... Старого не вернуть. А в России будут хозяйничать англичане... Я тут при чем? Да, так вот... семеновский мундир растоптал в грязи, — думал — трагедия, и трагедии тоже не вышло... И конца не вышло... Взаялся за ум... Словом, я к тебе с предложением от моего патрона, Александра Леванта. Он хочет с тобой встретиться.

— Можно.

— Нефтяные земли ты никому еще не продал? (Тапа усмехнулся.) Отлично. Назначим день и час. Я хотел бы привлечь Монташева к этому свиданию.

— Ты думаешь — Кавказ будет английский? Деникин отдаст Кавказ англичанам?

— Об этом спросишь Леванта, он все знает... Левант предложил — в пятницу завтракать в Кафе де Пари, а пить кофе — поедем к нам на дачу...

Нефтяной магнат, расточитель миллионов, липнувших к нему еще в большем количестве безо всякого, казалось, с его стороны усилия, человек с неожиданными фантазиями, лошадиник, рослый красавец Леон Монташев находился в крайне жалком состоянии. Он занимал три соединенных номера в одном из самых дорогих отелей, «Карлстон» на Елисейских полях, и только это обстоятельство еще поддерживало его кредит в мелких учетных конторах, ресторанах, у портных и в английском магазине.

Но окружение кредиторов медленно, непреклонно смыкалось. Душило его ночными кошмарами. Он утратил ценнейший дар жизни — беспечность. Особенно по утрам, в постели (просыпался от тревожного сердцебиения), гнал и не мог отогнать мрачные мысли, в бес-

силии, в бешенстве курил, курил, ворочался, бил кулаками по тюфяку.

Это была расплата за легкомыслие. Он вспоминал, как в Москве (в двенадцатом году) неожиданный скачок биржи подарил ему восемь миллионов. Он испытал острое удовольствие, видя растерянность прижимистых Рябушинских, меценатов (возрождающих в Москве век Медичи и Борджиа) Носовых, Лосевых, Высоцких, Гиришманов, именитых Морозовых, Щукиных... Восемь миллионов — бездельнику, моту, армянскому шашлычнику! Чтобы продлить удовольствие Леон Монташев закатил ужин на сто персон. Ресторатор Оливье сам выехал в Париж за свежайшими устрицами, лангустами, спаржей, артишоками, салатами, рыбой для марсельского супа. Повар из Тифлиса привез карачайских барашков, форелей, цоцхали и пряностей. Из Уралья доставили саженных осетров, из Астрахани — мерную стерлядь. Трактир Тестова поставил растегаи и (в пять утра) блины. Трактир Бубнова на Варварке — знаменитые суточные щи и гречневую кашу, — для опохмеленья на рассвете.

Идея была: предложить три национальных кухни, — кавказскую, французскую и московскую. Обстановка ужина — древнеримская, — по описанию пира императора Каракаллы. Столы — полукругом, мягкие сиденья, обитые красным шелком, с потолка над всем залом свешивался ковер из живых роз, левкоев и пармских фиалок. На столах — выдолбленные глыбы льда со свежей икрой, могучие осетры на серебряных цоколях, старое венецианское стекло тоньше папиросной бумаги. В канделябрах — церковные, обвитые золотом свечи, свет их дробился в хрустальных аквариумах с драгоценными японскими рыбками (тоже — закуска под похмелье). Вазы с южноамериканскими двойными апельсинами, фрукты с Цейлона. Под салфетками каждого курьера — ценные подарки: дамам броши, мужчинам — портсигары. Три национальных оркестра музыки. За окнами на дворе — полотняный экран, где показали премьерой фильма из Берлина и Парижа... Гостей удивили сразу же первой горячей закуской: были предложены жареные пивки, напитанные гу-

синой кровью. Ужин обошелся в двести тысяч.

Теперь хотя бы половину этих денег! Был уже третий час пополудни, когда Налымов вошел к нему в номер. Высокие портьеры на окнах опущены, ночной абажурчик освещал сквозь табачный дым у кровати остатки завтрака, и на раскиданных подушках крупного мужчину в полосатой пижаме, с бледным, измятым лицом и черными жокейклубскими усами. По скаковой традиции Леон Монташев пил шампанское с коньяком (изобретение покойного английского короля Эдуарда VII)...

— Я болен, я измучен. Нервы, перебои, — приподнимаясь на локте, сказал он Налымову, — придвигайте кресло. Хотите вина? Они мне, чорт возьми, все еще подают, хотя у лакея рожа такая, — хочется залепить плюху. Василий Алексеевич, когда же домой? Я больше не могу... Вы представляете, я, я, я — без денег... Хохотать хочется. Пропал вкус даже к лошадям... О женщинах и не говорю... Я боюсь пройти мимо портье!..

— Вы непрочь, Леон, поговорить с одним крупным человеком о продаже нефтяных земель в Баку?

— Продать мои земли? Вы с ума сошли! Лучше я полгода здесь проваляюсь, но уж дождусь, когда вырежут большевиков... Ах, негодяи, ах, бандиты! От Москвы до Ялты повесить на телеграфных столбах... Спать не могу, — думаю, как бы я сидел, а товарищу запустили бы спички под ногти. И вот — перебои сердца. Товарищи укорачивают мне жизнь!.. Какое право? Вы вдумайтесь! Распоряжаются моими землями, моими домами, моими капиталами, моим здоровьем... (Он вскочил, с яростью подтянул штаны пижамы и заходил об одной туфле.) О чем думают эти болваны англичае, я вас спрашиваю? О французиках, этих жирных кроликах, и говорить не стоит, — лавочки, трусы, хамы... Я решил написать английскому королю, — вот какой я есть, Монташев. Ваше величество, вы первый джентльмен в мире, — меня ограбили, меня убивают медленной пыткой, прошу защиты... Мои лошади бегали в Англии в тринадцатом году, он меня знает... А что, этот человек, с которым вы хо-

тите, чтобы я говорил, — жулик наверно?

— Он, насколько я понимаю, агент крупной компании. Моя роль довольно маленькая, — знакомить...

— Довели — помещик, аристократ, гвардейский офицер... Хочется проснуться! Василий Алексеевич, давайте пить коктейль... (Позвонил). В номер дают сколько угодно, а пойдя я через улицу к Фукьецу — сейчас же посылают мальчишку проследить: ага, я у Фукьеца пью... И вечером — счет... (Он поджал губы, черные усы взерошились, выкатил бараньи глаза). Тридцать восемь тысяч франков счет... А?.. Когда же с этим типом предполагаете встретиться? Интересно...

18

Налымов вернулся на дачу, как и обещал, в сумерки. У Веры Юрьевны просияло лицо, когда он медленно затворял за собой калитку. Из окон столовой лился приветливый свет. Сейчас же сели обедать.

Вечер был теплый, влажный, из темного окна влетала зеленая мошкара, ночные бабочки крутились под шелковым абажуром. Казалось, за столом сидела дружная, ни в чем не виноватая семья, а не четыре тени из невозвратной жизни с тихими улыбками постукивали вилками и ножами, учтиво передавали друг другу блюда. Во всем этом было извращение настолько очевидное, что Лили вдруг резко засмеялась:

— Семейка...

Мадам Мари уронила руку на край тарелки:

— Все-таки, это чорт знает что...

Она заплакала. Расширенные зрачки Веры Юрьевны остановились на Василии Алексеевиче, будто в нем было спасение. Он потянулся за бутылкой, но налил — не выпил, сказал с усмешкой:

— На примере нашего ужина, дорогие женщины, вполне приличного, с умеренным количеством напитков, мы видим — увьи! — всю несостоятельность так называемого мещанского благополучия... Мадам Лили выразилась, что мы — семейка... Потерпевшая кораблекрушение, и весьма серьезное... Если мы считаем себя невинно потерпевшими, невинными ни в чем, то это — ошибочка, мои птички...

Лили перебила со злобой:

— Виновна! Еще в Константинополе хотела утопиться... Ни жить, ни умереть, — вот в чем виновна...

Мари — сквозь слезы:

— Дурацкую философию несете... В чем я виновна? Отняли все бриллианты, меха, на триста тысяч... Я бы здесь ферму купила... Княгиня Мышецкая разводит кроликов и цыплят, чудно живет...

Пришел, видимо, час, когда стало нужно излить горечь... Женщины начали жаловаться. Что они сделали, — за что также не в меру грехов возмездие? Жили, как все живут. Ну, были легкомысленны (во время войны), ну, мотали деньги... Вот и вся вина... Керенским восхищались, работали в госпиталях, устраивали даже базары в пользу революционеров... Так нет, — оказались виновны, что мы хорошо одеты, мы — красивые, в ванне моемся... В судомойки, что ли, было итти? Судомойки только там и царствуют... А когда у вас вывозят дорогую мебель, в квартиру вселяют солдатню и матросню, — революцией, что ли, прикажете восхищаться?.. Хоть и вернемся когда-нибудь — как на пожарище: ни кусочка, ни клочочка не осталось... (Опять — слезы). Оскорбляют, выкидывают на улицу, обирают до нитки всех счастливых, всех нарядных, всех богатых... И при этом кричат, что вы же виноваты! Стыдно вам, Василий Алексеевич!

— За что, за что, за что? — стуча кулаком, повторяла Вера...

Женщины бежали от апокалиптического ужаса через фронт к своим милым, хорошим «рыцарям духа», подставлявшим грудь под большевистские пули во имя восстановления красивой жизни. Но белый рай — с белым хлебом, магазинами, ресторанами и стражниками — оказался не так-то уж благополучен. И женщины заматались по полуразрушенным городам, грязным, переполненным гостиницам, угарным кабакам, где песенки Вертинского прерывались револьверными выстрелами и треском разбиваемых о головы бутылок... Знакомые, милые, изящные люди занимались спекуляцией и грабежом, во время эвакуаций сталкивали дам с вагонных площадок... «Рыцари духа» мечтали о шопполах и веревках, и в мутных глазах убийц не найти было

приюта для любви измученной женщины... Снова и снова — теплушки с сыпнотифозными, трупный запах на загроможденных и разбитых вокзалах. Грязные кровати, разделяемые чорт знает с кем за бутылку вина, за денкинские кредитки... И так, — все ниже, на дно человеческого водоворота...

Когда они вырвались из этого одичалого царства крови, сыпняка, сифилиса и разбоя на лазурные берега Константинополя, — выбора не оказалось: тротуар, ночной фонарь и вдали пуговицы полицейского мундира...

— Да, да, Лилька верно сказала, — в том и виноваты, что не утопились во время! (Со щеками, распухшими от слез, с ненавидящими глазами мадам Мари каждую фразу сопровождала шопотом непристойных проклятий на разных языках).

Так они спорили и плакали до полуночи. Фатьма-ханум несколько раз появлялась встревоженной тенью в дверной щели, покада Лили не запустила в старуху бутылкой с красным вином. Нинет Барбош тряслась от страха в своей каморке под крышей.

Самое бесполезное, что можно было придумать, — и этому немало дивились французские консьержки, — сидеть у стола под газовым рожком и ночь напролет бродить по психологическим дебрям... Происходило чрезвычайно любопытное явление, подобное тому, как взять резиновый шар, наполненный воздухом, и поместить его в безвоздушное пространство, — он начнет раздуваться, пока не лопнет. Русских беженцев распирала сложность собственной личности. Для ее ничем не стесняемого расцвета Россия была удобнейшим местом, — тысячи слуг обхаживали рост и космическую значительность Я. Неожиданно поставленное вне закона, оно с угрозами и жалобами помчалось по фронтам. Оно докатилось до Парижа, где попало в разреженную атмосферу, так как здесь никому не было нужно. Иной из беженцев помирился бы даже с имущественными потерями, но никак не с тем, что из жизни может быть вышвырнуто Я. Если нет меня, то что же есть? Если Я страдаю, значит нужно изменить общественный строй, чтобы Я не страдал. Я — русский, я люблю мою родину, то-

есть люблю себя в том окружении вещей и людей, каким я был в России. Если этого нет или этого мне не вернут, то такая Россия мне не нужна.

Приблизительно на подобные темы рассуждали по ночам многие из русских беженцев, перепуганных революцией настолько, что сомневались даже в победе Деникина или Колчака. Не столько даже большевики, — страшен был выпущенный на волю народ. Будущее — мрачно и неопределенно...

У Веры, Мари и Лили будущее отягчалось еще и тем, что в Константинополе, затем во Франции они были зарегистрированы как профессионально занимающиеся проституцией. Эту услугу (утверждала Вера) оказал им Александр Левант. У него хранилась из марсельской префектуры какая-то гнусная бумажонка, он каждый раз угрожал ею, когда женщины начинали строптивиться...

Жалобы были излиты, слова все сказаны. Мари и Лили ушли спать. Вера Юрьевна придвинула стул к Василию Алексеичу, положила голову на стол, на руки.

— Помимо всех художеств, за мной числится еще мокрое дело в Константинополе... Рассказать?

— Зачем, птичка моя? (Налымов заложил пальцы в жилетные карманы, щурился блаженно). И без того все ясно. Одним мокрым делом больше. Какой вздор, какой вздор! Происхождение совести? Меня это занимало в прошлую зиму. Я даже ходил в публичную библиотеку... Семь миллионов спрессованных мыслей на книжных полках. И все — о совести... Я много смеялся про себя. Я чудно грелся у калориферов, — был ян-

варь, и я очень зяб. Я так и не стал читать книг. Мировая совесть, закованная в телячью кожу, почует в публичной библиотеке, ею питаются книжные клещи... Когда мой зад начинал согреваться на калорифере, я размышлял о том, что все условно... Птичка моя, вы жили в хорошем обществе, оно разбежалось. Ваше милое гнездышко поделили фабричные... Деньги запиханы в мужицкие онучи. Вас нет, вы только — грустный рассказ о человеке. Кому нужна ваша совесть? Самой себе?.. Так, так, — вы заботитесь о чистоплотности... Старый, добрый буржуазный мир, где нам было так уютно жить, махнул рукой на чистоплотность, — не отмыть, не отскоблить грязи войны и Версальского мира... Видите, иногда я читаю газеты... Я даже пытался читать московские газеты: у большевиков бешеный темперамент. Читал, но испугался... Они требуют, значит — за ними сила. Они неприлично ругаются, значит — ничего не боятся. Несомненно, они в конце концов разобьют вдребезги добрый старый мир... Но для таких энергичных движений я слишком ленив... Итак, да здравствует мрак души, если у тебя, птичка моя, — мрак. Беспечность, если ты наконец поумнеешь... Да здравствует кривой турецкий нож, если тебе хочется воткнуть его в сонную артерию пьяному негодяю...

Вера Юрьевна вскочила. Зрачки — во весь глаз. Спросила одними пересохшими губами:

— Откуда вы это знаете?

— Это довольно частый прием константинопольских проституток. Садись, любовь моя, выпей винца. Поговорим о чем-нибудь невинном.

(Продолжение следует)

Торопливые рассказы

С. ЛЕВМАН

Котлы

В четвертом часу вечера он приплелся к себе в отдел с заседания райисполкома, волоча папку, как подвертывающуюся ногу. Обрывки собственного доклада металась в памяти, словно потревоженные осы. Тяжесть будней — тысяча тонн будней — вдавливала плечи. То-и-дело оглядываясь, словно боясь, что кто-нибудь подглядывает, он отрывочно мечтал о том, что скоро пойдет домой и ляжет отдохнуть. Но в пятом часу Революция распахнула дверь и низвергла на него щуплое тельце товарища Баума.

— Товарищ Огоньков, — сказала Революция пискливым и невыразительным голосом товарища Баума, — я бью тревогу.

— Бейте, — согласился Огоньков, — только торопитесь, мне некогда.

— У нас нет котлов, мы заказали их в прошлом году, и они должны были быть изготовлены к июню. Но вот уже декабрь прошел... У нас нет котлов.

— Что же у вас есть, товарищ Баум?

— Корпуса, машины...

— А голова на плечах у вас есть, товарищ Баум?

— Я протестую.

— Идите вы к чертовой матери и прихватите с собой ваши протесты. О чем вы думали до декабря?

— Мы ждали.

Огоньков тяжело опустил веки. В писке растерянного человека звучали для него иные голоса. Он почувствовал, что Революция дружески и безапелляционно хлопает его по плечу, и

понял, что ему придется взять себя в руки и действовать.

— Ладно, — сказал он, — я поеду и постараюсь вырвать пару котлов. Но если мне не удастся, вы пойдете под суд, драгоценный товарищ.

И неожиданно для себя он очутился в жестком купе московского поезда, в жестком потому, что мягких мест на этот поезд уже не было. Положив портфель под голову, он соображал и вспоминал. Позевывая шершавой пастью, строились перед ним котлы, десятки котлов. В годы гражданской войны, когда фабрики глохли и стыли, он сам приказал рубить котлы на лемехи, потому что этого требовала Революция. А теперь вертись и ловчись, пока удастся выцарапать парочку посудин.

В ВСНХ любезно подтвердили, что котлы для чулочной фабрики действительно были заказаны, но...

Он решил взять приступом этот гигантский цех, именуемый для краткости Высший совет народного хозяйства. Хлестнув память, как ленивого пса, он приказал ей исследовать тропинки и лазейки, но она приплелась обратно, высунув язык, и улеглась у его ног, тяжело дыша от стыда и недоумения. Тогда он нахлобучил шапку и, стуча дверями, пошел к Динамо.

— Нам нужны котлы, — вежливо и ядовито сказал он, — мы заказали их полтора года назад, но с тем же успехом мы могли заказать их на луне.

— Заказ не выполнен? — спросило Динамо.

— Котлы-то готовы, но их уже перераспределили. Их угнали на Донбасс,

как угоняют у мужика лошадь. Вы вникли?

— О, да, Донбасс...

— Хорошо, я знаю, что такое Донбасс, и не собираюсь тягаться. Но как же нам быть? Конечно чулочная фабрика для вас нуль, но для нашей республики — это европейское мощное предприятие на 6.000 рабочих. Это — первый настоящий шаг к индустриализации.

— Придется обождать. Впрочем потолкуйте с Рычагом.

Рычаг встретил его приветливо, как знакомого в трамвае, когда знаешь, что скоро выходить.

— Так грустно, — вздохнул он, — что не могу вам помочь. Я могу пустить в движение дюжину маленьких рычажков, но зачем тешить себя избыточными мечтами?

— Я не уеду без котлов, будь они трижды прокляты.

— Конечно, куда вам ехать без них? Но беда в том, что ваши котлы, дождавшись вас, уже уехали на шахты. Уголь — вы сами понимаете. Впрочем...

— Ну?

— Потолкуйте с Передачей.

Огоньков снял кепку и вытер лицо. В коридорах звенело и дрожало: мелькали лопасти и шестерни, скользили ремни, фыркали краны, скрежетали валы.

— Могу вам только посоветовать, — участливо шепнула Передача, — забудьте о новых котлах, разыщите парочку старых и пускайте фабрику.

— Вот как!

— Наведайтесь в Ремаштрест, у них должны быть кое-какие запасы. Поспешите.

— Благодарю, чтоб вас!..

Осторожно шагая по грохочущим коридорам, словно боясь зацепиться и погибнуть, он покинул этот цех, который намеревался взять одним ударом. Вышел на снежную площадь и понял, что надо менять тактику. Прошли времена, когда бывший краском Матвей Огоньков мог что угодно вырвать в центре за прекрасные голубые глаза, боевые заслуги и крепкое матерное слово. Лобовая атака отбита, и нужно начать обходное движение.

В Ремаштресте беседовал с ним мягкий и скользкий человек, изготовленный из вазелина на патоке. Он вздыхал, сочувствовал, мял собственные руки, но как-то так вышло, что котлов нет — даже старых, даже нуждающихся в ремонте.

— А если я найду? — спросил Огоньков и стал внимательно изучать свои руки. — У вас еще чистки не было?

— Если найдете, берите... то-есть, доставьте нам распоряжение из ВСНХ, чтоб вам в первую очередь...

На третий день он все же разыскал два старых котла на текстильной фабрике в Орехове-Зуеве, но когда кинулся оформлять свою находку, то оказалось, что земля вертится слишком быстро. Кто-то успел открыть эти котлы двумя днями раньше его, и этот кто-то была нефть. Черная бакинская нефть стала ему поперек горла. Вазелиновый человек из Ремаштреста неожиданно отвердел и стал отвратительным на вкус, как стеарин.

— Нефть, вы понимаете? Экспорт, боевое задание...

— Я понимаю, но это мои котлы. Я их нашел.

— Ничего не могу сделать. Обратитесь к заведующему.

Огоньков пошел, стараясь не расплескать последние капли выдержки. И когда он шагал по коридору, ему и в голову не могло притти, что Революция случайно задержала на нем свой благосклонный взгляд.

— Можно видеть заведующего?

— Уехал на три дня в командировку.

— Я дождусь. Как его фамилия?

— Медведев, Павел Николаевич.

— Что? Медведев? Это который с Урала?

— Тот самый.. Переброшен к нам с Урала.

Огоньков тяжело сел и предложил секретарю папироску. Секретарю было девятнадцать лет, у него были крепкие, белые зубы, румянец во всю щеку, озабоченные глаза цвета весенней лужицы и неуместная коса до пояса. Неуверенными пальцами секретарь взял папироску.

— Вот что, товарищ, — задумчиво вымолвил Огоньков, — я посижу у вас минутку и уйду. Не смотрите на мои седые волосы, я сердцем молод, но меня загнали, как коня. Я в роде парового котла, изрубленного на лемехи. Когда же он вернется, товарищ Медведев?

— В четверг, самое позднее — в пятницу.

— Ждать я его не стану, товарищ, некогда мне, а оставлю записочку. Как только придет, передайте. Не забудьте?

— Что вы.

— Вам сколько лет, товарищ? Десять? Постарайтесь не забыть; а то я Пашке скажу... Виноват, Павлу Николаевичу. Скажите, срочная записочка от Матвея Огонькова.

— Хорошо, передам. Оставьте ваш адрес.

Он был потрясен удачей. Теперь дело в шляпе, раз оно зависит от Пашки Медведева. Всего каких-нибудь десять лет назад скакали они рядком по украинским степям, били Деникина, крушили махновщину. Где-то под Ново-Златополем захватили Медведева казаки, но Матвей с десятком бойцов отбил товарища. Вместе ловили басмачей в Туркестане, вместе подымали промышленность на Урале. Каждый день ввинчен в память, и даже давно сказанные слова висят в ней, как сосульки.

Вечером Огоньков пошел в театр, а в одиннадцатом часу вскочил в трамвай, чтобы не опоздать к поезду. Он перестал уже думать о котлах. К прилавку мозга подошли новые дела, ставшие в очередь: районная электростанция, фанерная фабрика. С вокзала, не заезжая домой, отправился на службу и только в первом часу удосужился позвонить жене, что приехал.

— Знаешь, кого я в Москве встретил? Пашку Медведева. Большая шишка. Я-то его не видел, письмо ему оставил.

И когда тщедушный товарищ Баум протянул ему невесомую руку, он смешливо и по-мальчишески толкнул его в кресло.

— Везет вам, товарищ Баум, в господу бога владыку небес. Случайно на-

летел на своего парня, а то сидеть бы вам у моря и ждать погоды.

— Новые? — зажегся Баум.

— В господу бога... Новые! Вы очумели, драгоценный товарищ? Новые вы прохлопали, как последняя шляпа, скажите за старые котлы спасибо. Ланкаширские котлы — сойдет, годика на три хватит. Вот получу официальный ответ и езжайте за ними.

Ветер унес товарища Баума. Ветер задувал откуда-то с севера, со стороны Новгорода, ветер гудел из лесов, где валились деревья и тракторы волокли бревна, твердые, как гранит. Ветер кружил над торфяными болотами, над бетоном новой электростанции, над Матвеем Огоньковым, которому некогда было оглянуться и вспомнить о Москве, о котлах, о Пашке Медведеве.

В пятницу девушка с глазами цвета весенних лужиц передала заведующему сложенную вчетверо записку. Пробежав глазами карандашный бред, заведующий оставил на столе раскрытую папку и подошел к окну. Застигнутые врасплох, табунились трамваи, площадь не пускала их, и люди, жестикулируя на подножках прицепных вагонов, вдохновенно митинговали. Утробно рыча, подобные медведям, сквозь людские гущи ломались авто. Шли школьники по-двое в ряд. Очередь у молочной прильнула к стене. Ветер, расставив широченные руки, шел с севера. В глаза вливалось обыденное. Но где-то за обыденным, за пределами стремительного московского дня, всгавали перед глазами гремящие дни, храп коней и скороговорка пулеметов.

Заведующий вернулся к столу и, рассеянно кусая усы, взялся за телефонную трубку. Девушке с косой до пояса казалось, что он улыбается. Но разговор был серьезный и даже жестковатый: нефть, котлы, чулочная фабрика. Заведующий был непреклонен.

— Напишите отношение, — задумчиво сказал он румяному секретарю, — что котлы для чулочной фабрики могут быть получены немедленно. Адресуйте тов. Огонькову.

— У меня есть адрес.

— Прекрасно. Составьте и дайте мне на подпись... Как он выглядел?

— Седой и усталый. Все справлялся, сколько мне лет. Он рассказывал; как вы вместе били Деникина и скакали за басмачами. Вы давно не выдalisь с ним, Павел Николаевич?

Заведующий все еще смотрел сквозь нее и как-будто прислушивался к топоту далеких копыт.

— Здесь вышла ошибка, — подвел он какую-то черту, — он принял меня за другого. Я бился не с Деникиным, а с поляками. Но это несущественно.

Путь письма

Уполномоченный райисполкома скис. Сорок шесть задыхающихся лет обрушились на его затылок. Он сидел, сутулый и большой, затягиваясь трубкой. Тачанка неслась легко и плавно и лишь изредка подскакивала, словно собираясь встать на дыбы. В степи было темно, прохладно, просторно. Небо выстлано тучей, и на черном половеке тучи звезды шурились лениво и сонно.

— Стар я на такую жизнь, — говорил уполномоченный, — выдыхаюсь быстро. Когда молод был, плевал я на мещанство, на хороший обед и теплую кровать. Куда меня только черти носили — в Лондоне был, в Чикаго был, в шахте работал, портняжил, дороги строил. В гражданскую войну с коня не слазил, спал на ходу, жрал дым с картошкой. А теперь, брат, выходит не тот фасон.

Возница внезапно натянул вожжи и зачарованно свистнул. На дорогу выскочил заяц, повел ушами в бледном и неверном свете и канул в небытие. Вздыхая о винтовке, паренек дал знать коню, что надо двигаться дальше.

— Не тот фасон, — продолжал уполномоченный, — пороку нехватает. Пятую неделю мотаюсь по сельсовету, хлеб заготовляю, провожу генеральную линию, довожу до двора. Конечно все это необходимо. Для нас, районных работников, это первая задача. Но между прочим я уже не помню, когда в последний раз выпался. Ты не спишь, товарищ?

— Нет, я думаю, — безучастно отозвался Алексей, — продажай нить, старичок, я слушаю.

— Смейся, чорт с тобой. Тебе хо-

рошо, у тебя зубы еще здоровы да и приехал ты к нам на месяц-другой. Я не ною, я по-товарищески говорю. Через полгода можешь меня выкрутить, как стиранную рубашку. Кстати, рубашка на мне грязная, весь я грязный, помыться негде и некогда.

Алексей вспомнил комнатуху, где живет уполномоченный, и запах неприятности, осевший в ней вместе с пылью. Он знал, что райские работники живут плохо, квартир для них не хватает, семьи их сидят в городах и не могут выехать. Пришпоривая себя и других, ребята потеряли счет дням и ночам, и короткие сны их полны обозами, мешками и частоколом процентов.

— Я не жалею, я хочу, чтоб вы тоже знали — в бывшем округе... Жена с детьми сидит в Запорожье на тюках, ждет телеграммы, а куда я ее позову? Она у меня баба крепкая, ко всему привыкла, но нельзя же жить на тюках... Ты женат, товарищ?

— Женат.

— А дети есть?

— Нету.

— Не удосужился?

Алексей не отвечал. Ему тяжело было выслушивать ночные жалобы уполномоченного. Этого высокого, крупного человека с трубкой он видел на работе, на стройке, в борьбе за хлеб. Он не ограничивался митингами и собраниями, а выезжал в степь на молотбу, сам орудовал вилами у скирд, и, взгромоздясь на мажару, показывал, как можно накладывать сразу с двух сторон. Ночью он уходил за несколько километров, чтобы проверить, как работают тракторы, а на заре сколачивал ударные бригады. И Алексею было обидно, что парень вдруг скис и захныкал.

Покачиваясь в полудремоте, он увидел жену Варю, ее округлившийся живот и худые ноги. Больше двух недель уже не было от нее писем — либо не пишет, либо застревают в пути. Путь письма мерцал перед глазами бисерной нитью. Накинув на плечи клетчатый платок, Варя осторожно переходит улицу и вдавливает голубой конверт в ящик. Равнодушный человек с сумкой на боку вспарывает брюхо ящику и

уходит, щелкнув затвором сумки. А спустя три дня старый Чуренко подкатит ночью на паре казенных лошадей к полустанку, где поезд стоит всего две минуты, и подхватит на лету кипы писем, посылок и прочей поживы.

— Приехали, — устало сказал уполномоченный, — как хочешь, товарищ, а я прямо спать пошел.

Алексея потянуло в райпартком. Перевалило за полночь, на селе было привычно тихо, даже собаки спали, не веря в неожиданные происшествия. Уполномоченный неторопливо и деловито стучался в дверь белого домика где-то в конце улицы, и каждый стук был отчетлив и полнозвучен. Жалость к этому крупному и усталому человеку кольнула Алексея, когда он распахнул дверь в партийный комитет.

Товарищ Бабаева, секретарь, оживленно беседовала с двумя парнями, лица которых были неуловимо знакомы Алексею. Две керосиновые лампы шипели на столе и в ровном свете их руки Бабаевой казались желтыми и неживыми.

— Садись, Алексей, — торопливо бросила она, протягивая ему руку, — вот кстати скажи свое мнение.

— Поздно засиживаешься, Бабаева, — тяжело уселся Алексей, — завтра с утра выезжаем по району, пошла бы спать.

Она стала излагать предмет беседы, вернее спора, но он невнимательно слушал, следя за ее желтыми пальцами. За два месяца она сильно сдала. Алексею вспомнилось, что в округе ему что-то говорили о лихорадке работы, сжигающей эту костлявую сорокалетнюю женщину.

— Так нельзя, товарищ Бабаева, — сказал один из парней, — я от работы не отказываюсь, но в милицию не хочу. Я откомандирован сюда на кооперативную работу.

— А если районный комитет считает, что в милиции ты нужнее?

— Кооперацию я знаю, работал... Нельзя так швыряться...

— Письма для меня не было, Бабаева? — неожиданно для себя спросил Алексей и почувствовал себя так, словно всплыл на поверхность.

— Есть, есть, — тепло и дружески улыбнулась она и полезла в порт-

фель, — третий день с собой та-скаю.

Алексей вскрыл конверт и удивился: писала не Варя, а Аннушка Спасова, председатель горсовета. За несколько дней до своего отъезда он встретил ее в парткоме и долго говорил о хлебозаготовках, районировании, городском хозяйстве. Потом они зашли к Алексею домой, и Варя поила их чаем с вареньем.

Аннушка писала о городских новостях, о приезде секретаря ЦК, о строительстве металлургического завода, о товарищах.

«Никитич заболел, — писала она, — чувствует себя совсем шляповато, температура высокая, жалуется на сердце. Ведь ты знаешь, какое у него сердце. Боюсь я за него, Олешенька, очень боюсь...»

— Какие новости? — спросила Бабаева, когда ребята ушли. — Жена пишет?

— Нет, Спасова. Помнишь, с швейной фабрики? Ее теперь в горсовет выдвинули, дельная баба. Пишет, что Никитич хворает и даже плох...

— Скрипит старик, — почти шопотом отозвалась Бабаева, — сердце у него шалит...

Алексей взглянул на нее и мучительно почувствовал, как она устала.

— Пошла бы ты отдохнуть, Бабаева...

— Ничего, — встряхнулась она, — успею... Что в районе?

Он стал рассказывать о том, что видел в сельсоветах и колхозах, о работе уполномоченных, о настроениях и разговорах. И сам удивился, прислушавшись к собственным словам: они стучали бодро и подробно, щелкали, как пинг-понг. Это были слова о людях.

— Представьте себе, какая уйма настоящих людей. Мы так забываем себе голову вещами и лозунгами, что перестаем ощущать теплоту человечества, нашего, молодого, рабочего человечества. Парни, несущие колхоз впереди себя как знамя: не так важно, что на нем написано, как важен цвет, красный огонь революции. Старик-середняк, входящий в колхоз с двумя лошадьми и коровой и публично кающийся в грехе: продал полгода назад телку, и деньги потратил на больную жену, а ведь должен был сберечь телку для колхоза.

— Нашел, о чем думать. Октябрь на носу, у нас заготовка только на 60 процентов, а ты о теплоте...

— Устала ты, Бабаева. А все же смотри шире.

— Да уж смотрю... Чего еще.

Тогда он заговорил об уполномоченном, с которым расстался недавно, о человеке, спящем на полу, потому что нет кровати. Вскользь упомянул о семье, застрявшей в городе на тюках.

— Надо найти ему квартиру, он уже немолод. И не гонять его по месяцам...

— Половина первого, — бездумно ответила она, — ты где ночуешь? Так что же с Никитичем?

— Кто его знает, расклеился.

Вертя в руках письмо, он вдруг заметил на последней странице несколько карандашных строк, ускользнувших от него при чтении. Придвинул лампу и разгладил листок. Слов было мало: «Приезжай, если можешь. Никитич просит».

Растерянно протянул он Бабаевой листок, словно не доверяя себе. Все стало ясно: и скрытый смысл обычных слов, и причина появления этого неожиданного конверта.

— Неладно с Никитичем, — сказала Бабаева, и голос ее был сдержан и чеканен, словно все вопросы были уже ею решены. — В ночь поедешь?

— Как я могу? — грубо отбивался он. — Завтра обещаю быть на слете.

— Да ведь Никитич... Езжай, мы как-нибудь обойдемся.

И снова — степная ночь, звезды и вздохи тачанки. Алексей не спал: он думал о Никитиче, о старом товарище, учителе и старшем брате десятков и сотен ребят, мускулы которых поют сейчас в просторах великой страны. Алексей видел его месяца два назад, на заседании парткома, и он выглядел хорошо. Что же с ним приключилось? Спасибо Спасовой, что написала.

На полустанке пришлось долго дожидаться поезда. В вагоне было холодно и темно, люди нелюдимо жались в углы и пытались уснуть. Алексей стоял у окна и ловил утро, встававшее в рыхлом тумане. Он решил поехать к Никитичу на квартиру, а оттуда заглянуть домой, к Варе. Извозчик запрошил пять рублей и поехал за два с пол-

тиной, жалуясь на дороговизну. Улицы просыпались, пылали подводы и дворники, женщины торопливо шли на рынок, парень в белом переднике выгружал хлеб с грузовика.

— Веселее, дядя, — сказал Алексей, — не задерживай.

Он почти бежал по лестнице Дома советов. Он знал наперед, что увидит: старомодное черное пальто в передней, морщинистое лицо домработницы Ульяновны и сквозь полуоткрытую дверь — широкую кровать, бледное, заросшее лицо Никитича и стакан холодного, крепкого чаю на стуле у кровати. Задыхаясь, он позвонил. Ключ повернулся в замке, и в дверях возник Никитич.

— Алексей? Вот так чудеса. Откуда такой встрепанный? Небось, прямо с вокзала. Чаем напою... Ладно. А я думал, что тебе не вырваться. Пора-то горячая...

— Как дела, старик?

Алексей, не снимая пальто, сел у стола и молча смотрел на друга. Никитич, тихоноко посмеиваясь, словно рассыпая сахар, хлопотал по комнате.

— Что на селе? Туговато, а? Бабаева молодец, она осечки не даст. Ты что так упарился, дома-то был?

Алексей протянул ему письмо и встал, словно готовясь к схватке. Он хотел что-то сказать, но глотка не слушалась, не слушались и пыльные сапоги, приросшие к полу. Никитич взял письмо с недоумением и стал читать, тревожно поглядывая на стоявшего перед ним человека.

— Так, так... — тихо сказал он, опуская веки. — Я тут не при чем, Алеша. Это Спасова. Сын у тебя родился, вот что. Я думал, ты знаешь...

Собрание

В клубе комсомольцы устроили доклад странного человека, повергшего в смущение все местечко.

У человека было узкое и непривлекательное лицо, на котором недоверие выступало подобно плесени. С утра ходил он по местечку и беседовал с кем попало, задавал евреям неожиданные и даже оскорбительные вопросы. По слухам, что прятались за каждой дверью и сшибались лбами в переулках, выхо-

дило, что узколицый человек — окружное начальство, приехавшее ревизовать местный совет и кооперацию. Вот почему в помещении бывшей синагоги, отведенной под клуб, уже к семи часам былолюдно и шумно.

Арье-Лейб Зускин был готов к бою. Вся жизнь он чувствовал себя на фронте, везде мерещились ему засады, и он всегда был наготове ответить ударом на удар. Не его вина, что он терпел одно поражение за другим: тут действовали какие-то особые законы, коварные и непонятные. Арье-Лейб не помнил, чтоб кто-нибудь особенно пострадал от его воинственности, но зато сам он состоял из одних кровоподтеков, синяков и шишек. Судьба была его, изощряясь в разнообразных выдумках. В детстве его стегали розгами отец и ребе, в юности колотили деревенские парни, а когда он женился и заделался портным, господь бог втравил его в единоборство с нищетой, конкуренцией и хроническим кашлем. Но если трудно было одолеть болезнь и вечную нехватку денег, то во много раз труднее было отбиться от войны, революции и прочих чудовищ. Люди перестали думать об одежде, — с этим не поборешься. Возможно, что и шить не из чего стало, — Арье-Лейб не блуждает по миру с закрытыми глазами, — да ведь портному от этого не легче. Но последний удар из-за угла был для него особенно чувствителен: созданная с таким трудом портняжная артель третью неделю сидит без дела, ибо не из чего работать. На чью же голову обрушить ответный удар? Арье-Лейб решил, что наголо бритый череп странного человека, тайно злоумышляющего против местечка, вполне подходит для этого.

Пришли женщины в черных платках и заняли первые ряды скамеек, примостив ребятишек у ног. Молодежь уселась подальше и усердно принялась за семечки, не обращая внимания на надуленных отцов. Комсомольцы — их было всего трое — улыбались загадочно.

В свете двух настольных керосиновых ламп лицо докладчика казалось еще более острым и неприветливым. Из бокового кармана пиджака извлек он

кипу бумаг и осторожно положил ее на стол, словно опасаясь катастрофы. Десятки глаз следили за ним испуганно и недружелюбно, когда он поправлял пенсне и пил воду.

— Приехал я к вам по делу, — начал он наконец, когда председатель посмотрел на него выжидающе и неодобрительно, — но прежде всего я хочу передать вам привет от Шимона Зельцера.

Он рассказал о том, как весной, об'езжая еврейские колонии в Запорожском округе, он встретился с Шимоном Зельцером, новым переселенцем из-под Витебска. У Шимона две лошади, корова, куры и свиньи. Шимон состоит в СОЗ и шлет привет родному местечку.

И словно забыв о Шимоне, докладчик перешел к делу, но дело это оказалось таким необычным и бесплотным, что даже Арье-Лейб почувствовал тревогу. Человек говорил о том, что есть такая область в РСФСР — Урал, что на Урале много гор, а в горах — железо и уголь и что на Урале много заводов, где делают сталь, чугуны и железные трубы. Разочарованию женщин не было границ, когда он стал рассказывать о горячих и холодных цехах, о домнах и мартенах, о Кизеле и Кунгуре. Когда докладчик перешел к проекту Большого Урала, Магнитострою и Челябинской электростанции, Арье-Лейб вздохнул и встал, чтобы уйти.

— Позор, — сказал он, — люди истекают кровью, а он читает нам географию...

— Садитесь, еврей, — спокойно и мрачно остановил его докладчик, — имейте терпенье. С Уралом я покончил, а теперь поговорим о ваших детях. Уралу нужны рабочие, там строят школы при заводах. И Урал ждет, чтоб вы послали ваших ребят учиться в этих школах.

Арье-Лейб торжествующе посматривал по сторонам: он заставил все же этого непрошеного географа перейти к настоящему делу. Пусть он еще поговорит о социалистическом строительстве, о Большом Урале, о будущих еврейских рабочих... Пусть. Лица женщин заострились от гнева, мужчины угрюмо отворачиваются друг от друга.

Местечко сжалось перед грядущей опасностью, и Арье-Лейб взял слово.

— Сначала пришла война, — сказал он, — и мы отдали ей старших сыновей, мы заткнули ей глотку кровью наших первенцев. Потом пришла революция — и все, кто только мог, удрал в город, оставив нас на погибель с малыми детьми. А теперь вы приходите и хотите, чтоб мы сами послали наших детей в пропасть, куда-то в шахты, в Сибирь. Слова ваши истекают медом: дети будут учиться и станут рабочими. Но мед вап горек, как желчь. В прошлом году поехали три паренька в Нижний, там тоже школа. Им обещали золотые горы, но они промучились там месяц и удрали домой. Довольно. Возвращайтесь к тем, кто вас послал, и скажите, что у нас не так много детей, чтобы толкать их в яму.

Докладчик сидел спокойно, засунув руки в карманы, и равнодушно поглядывал на собравшихся. Казалось, он ждет чего-то. Когда женщина с чахоточными щеками на память читала письмо, полученное ею от сына из Нижнего, он не удостоил ее даже беглым взглядом. От детей и Урала перешли уже к насущным вопросам: почему не дают сырья артели, почему кооперация всегда пуста...

— Ничего не выйдет из вашего дела, — крикнул рыжий оратор, вздымая крылья рук, — дети не поедут.

И вдруг докладчик улыбнулся. Улыбающееся его лицо словно всплыло над столом и стало таким задушевно-своим, что у многих ёкнуло сердце. Даже Арье-Лейбу показалось, что он что-то потеряет с отъездом этого бритого очкастого человека.

Тогда выступил комсомолец Лева. Он держал в руке газету и тяжело дышал, точно бежал издалека.

— Хорошо, — рванулся он и взмахнул газетой, — мы знаем теперь, как вы думаете о советской власти. Но не думайте, что советская власть в вас обманывается, она знает, с кем имеет дело. Вот в газете напечатаны условия приема: в школы фабзавуча принимаются только дети рабочих. Вот что напечатано в газете! Держите ваших ребят при себе: из них выйдут хорошие водовозы, честное слово. Три тысячи

еврейских ребят будут переброшены на Урал, можете не сомневаться в этом, и если среди них не будет...

Но ему не дали кончить: из глубины синагоги, оттуда, где когда-то находилась женская молельня, взмыл пронзительный свист и повис над головами, как полет птицы. Левка растерянно шарахнулся от стола, засовывая в карман газету. Перескакивая через скамьи, наступая на полы и платки, бежал к столу президиума паренек в матросском тельнике.

— Водовозы! — яростно заорал он, наступая на докладчика. — Лучшего вы не могли придумать? Может быть, нам учиться на маклера, на свата, на резника? Слава богу, у евреев много хороших профессий.

Он попытался заглянуть в глаза невозмутимому докладчику, но как бы спохватился и отступил. Потом повернулся к собранию и сказал тихо, почти про себя:

— Я первый еду. Пусть они попробуют не принять меня; пусть только попробуют.

Ничего нельзя было разобрать: женщины трагически визжали, порываясь улететь, мужчины гневно спорили, ухватив друг друга за рукава, молодежь в глубине стучала ногами и свистела, как в театре. И только Арье-Лейб молчал, беззвучно шевеля губами и хватаясь за сердце.

— Долго еще будем галдеть? — насмешливо спросил председатель. — Кому здесь не нравится, может итти на базар.

В тишине, часто кашляя и вытирая головным платком губы, говорила пожилая маленькая женщина. Говорила тихо, не каждое слово было слышно. Конечно больно матери отрывать от сердца родное дитя и посылать куда-то за тысячи верст, но если так нужно, то что же делать? Старикам ничего не нужно, они как-нибудь дотянут свой век, следует подумать о детях. Пусть едут, пусть учатся, пусть потерпят, если без этого нельзя.

И тогда снова выступил Арье-Лейб, втыкая в тишину слова, как иголку.

— Вот я бедняк, — протянул он вперед худую, длинную руку в заплятанном рукаве, — весь мир знает, что

я бедняк. Я шью, когда есть из чего, и пухну с голода, когда нет товара и артель гуляет. И вот я хочу послать своего ребенка учиться, чтоб он стал слесарем или машинистом, а мне говорят: только детей рабочих... Весь мир знает...

— Да ведь вы же не хотите послать, — кинул ему Левка, — вы же рвали волосы на голове...

— Кто тебе сказал, щенок, что я не хочу? Зачем растревлять еврейские раны? Весь мир знает, кто такой Арье-Лейб... Наши дети хотят быть рабочими, и мы снимем с себя последнюю рубашку, чтоб они могли учиться. И пусть товарищ, который приехал из центра, скажет кому нужно, что это несправедливо, если наших детей не пошлют на Урал.

В первом часу ночи докладчик медленно шел по темной улице, направляясь на ночевку. Скоипели калитки, стучали закрываемые ставни, откуда-то доносилась песня. Докладчик вспомнил, как восемнадцать лет назад, в такую вот душную, летнюю ночь он осторожно закрывал за собой калитку зелено-

го домика, третьего за лавкой кривого Берля. Калитка скрипнула, и он долго стоял, боясь дышать, и ждал, что выйдет отец и положит свою широкую ладонь на плечо беглеца. Но отец не проснулся, он только недавно вернулся с возки и был немного пьян. И мальчик, вскинув на плечи узелок, пошел по местечку и свернул на шоссе туда, где был город, где можно было жить и учиться...

— Восемь человек записалось, — довольно сказал председатель и поддержал споткнувшегося докладчика, — но как мы с ними поступим? Все они — дети кустарей, какие у нас тут рабочие? Куда девался Левка с газетой?

— Забудьте о газете, — тихо засмеялся докладчик, — в ней ничего нет ни об Урале, ни о детях. Я подговорил Левку, чтоб он взял их на пушку. С этой публикой надо уметь обращаться. А завтра мы потолкуем о деталях.

И председателю показалось, что над старой, погнувшейся калиткой всплывает широкая, задушевная улыбка, от которой ёкает сердце и хочется петь.

Вечер

СЕМЕН ОЛЕНДЕР

На потолке семьей уселись музы
В воздушных старомодных одеяньях,
Веселые, с брусничными ногтями.
Дробится в люстрах светлая вода.
Позевывая, бродит капельдинер.
Еще пустынные параллели кресел,
Задрапированные ребра лож,
Пуста демократичная галерка —
Места займут восторженные гости,
Чей слух прекрасен, зрение — остро.

Уже настраивают инструменты,
Контроль выстраивается в дверях.
Страшась сухой указки дирижера, —
Сейчас должна рвануться увертюра, —
Заканчивают шашечную битву
Стремительно флейтист и трамбонист.
И жизнерадостной сверкает плешью
За спинами играющих скрипач.

Померкла в люстрах светлая вода.
В воротничке крахмальном, как всегда
Уравновешенный и аккуратный,
Спускается в оркестр дирижер.

Опять давали «Пиковую даму».
Скрипичный рай и бедный неврастеник,
Белесоватый сумрак Петербурга
И Томского казарменный акцент.
Подрагивали икрами гвардейцы,
Надеялся на выигрыш бедняга,
И проходила с внучкой миловидной
Восьмидесятилетняя карга.

Скрипичный рай — скрипичное безумье.

Санкт-Петербурга сумрак просочился
Сквозь первородство гордого партера,
Сквозь ложи, обольщенные шелками,
На тихие ряды амфитеатра,

Балконы, осененные смятением,
На москвошвеевские пиджаки.
По лесенке туманной пробегая,
Сутулился, прислушивался, бредил
И застывал.

Ты беден, Герман, темен.
И арфы нам открыли эту тайну.

Я был верен с колыбели
Этим траурным ресницам.
В декабре или в апреле
Может сон такой присниться:

По холодной Молдаванке
Мчатся бешеные санки,
И с тобой в соболье утро
Мы выходим у театра.

Ты продрогла в шубке синей.
Покрывает брови иней.
Нараспев читает мама:
«Утро, «Пиковая дама».

Опера в семи картинах.
Дирижирует Устинов.

Так в спинку кресла постучалось дет-
ство,

Антракт. Опять фойе заполонили
Седеющие вежливые зубры,
Ценители и знатоки. Антракт.

Отклонялись актеры. Уходили
За старые, за пыльные кулисы.
Век девятнадцатый, затянутый в рей-
тузы,

Напудренный, шел в красный уголок.

И радовался неврастеник Герман,
В готововской читая стенгазете

О том, что он возглавит культбригаду
И завтра с нею выедет в Можайск.

Ему и карты в руки. Решено.

Что наша жизнь? И г р а!

Смычки визжали,

И дирижер утратил равновесье,
И Германа безумного отпели...
Да, полночь приближалась. У мотора
Безмолвная работница сидела,
Тачала рукава, запошивала.
Пред ней мелькали огненные цифры.

О, бледные сатиновые пальцы!

И капельдинер, скептик и пропойца,
Знававший Камионского, Карузо,
Все собирал забытые афишки
И думал сокрушительно и горько.
Ему влетит наверно нынче дома

За то, что по четвертому талону
Он воблы до сих пор не получил.
Песочный хруст шагает с пешеходом,
Последние трамваи пролетают,
В тулуп вырастает молча милицейский.

...Меня еще захлестывает детство
И дальняя бессонница саней,
Меня еще смущают эти звуки,
Придуманные нежностью ненужной.
А грузовик промчался по Тверской.
В грузовике красноармейцы пели.
Большие шлемы инеем покрыты
И звездный путь штыками отражен.
И вверх глядел задумчивый комвзвода,
Он не мечтал о тройке, о семерке,
Не угрожал таинственной старухе,
Он мчался в Перекопские казармы
И подпевал товарищам тихонько:

«И вся-то наша жизнь есть борьба!»

Повороты

Главы из романа

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

(Окончание¹)

Х. Горячая голова

В тот вечер Старостин возвращался с собрания с Костей. В голове, в сердце у него было смутно, спутано. И было чуть-чуть стыдно за себя: «Эк я разошелся!» И тут еще Костя подлил масла:

— Ты, голова садовая, не горячись,— сказал он наставительно.

— А что? Аль я глупость сделал?

— Глупость, не глупость, а погорячился ты зря. Тут выдержка нужна, энергия. А ты в роде кувалдой дюймовый гвоздь забиваешь. Всегда соразмеряй,— какой удар надо сделать. Силу взнуздай разумом.

Старостин угрюмо помолчал: ему показалось, что в словах Кости есть обидное.

— Что ж теперь делать?

— Теперь? Теперь тебе надо поучиться, почитать, разобраться во всем. И еще мы будем просить тебя делать кое-что на вашем заводе.

— И... это все?

— Пока все. А что же ты еще хочешь?

— А я-то думал...

— Что ты думал?

— Я думал, будет сразу дело какое. Бить бы сразу, чтоб мокренько осталось.

Костя усмехнулся.

— Ну, это сейчас не годится. Спер-

ва надо подготовить, потом ударить. Вот твой Гапон ударил без подготовки, а что вышло?

— Насчет Гапона ты помолчи. Если бы Гапон теперь явился, мы бы знали, что делать. А то что ж?.. Гапон далеко.

Костя нетерпеливо его перебил:

— Одним словом, ты займись пока собой. Приди завтра ко мне,— у меня кое-какие книжонки есть. Дам. Потом тебе надо в кружок записаться.

— Это для чего? (Он обрадовался: может быть, в кружке дело настоящее?)

— Послушаешь умных людей, поучишься.

Целый квартал прошли молча. Старостин раздумывал: кружок, чтение, умные люди... здесь не то, что он хотел. Хотел бы он в такую драку влезть, чтоб спина и голова трещали. И чтобы сейчас.

И вот с того дня началась трудная и медленная работа, будто пошел Старостин на высокую гору по обрывистому, крутому пути, а ноги скользят, все назад катят, в привычную долину.

Книжек у Кости было немного, тоненькие, две на папиросной бумаге, но были они обжигающие.

Однажды— это было уже в апреле, и звонкая весна вышла на улицу— Старостин читал одну такую книжечку всю ночь до трех часов, а когда кончил и подошел к постели, чтоб раздеться и лечь,— он почувствовал, что ни спать, ни сидеть в этой комнате он не может.

¹) См. «Новый мир» кн.кв. 1, 2 с. г.

Он надея пальто, вышел на улицу и бродил до пяти утра, дрожал от страшного нетерпения. В эту ночь он был и на Таракановском мосту...

«Что ж такое царь? Народ верит: царь — помазанник божий. А вот божий помазанник берет винтовку и стреляет в девочку Наташку... Если бы весь народ узнал об этом? Тогда не было бы ни царя, ни злодейств, ни войн...»

Вся ночь вышла хмельной от дум, непривычно смелых.

И странно, теперь он радовался, что у нас неудачи на Дальнем Востоке: война дело царское, и хорошо, что бьют.

Костя устроил: с лета Старостин стал бывать в кружке, который вел студент Хрущев — тот самый.

— А я-то клял вас на все корки! — смеясь, сказал Старостин Хрущеву на третьем собрании.

— Когда это? — удивился Хрущев.

— А вот, когда вы бывали у нас в гапоновском собрании.

Они поговорили, вспоминая. Старостин понял: прошлое его не тяготит, как человека не тяготит его детство.

Будто скупец, собирающий свой капитал по копейкам, он собирал знания из листовок, прокламаций, тех книжечек, что ему удавалось прочесть, из разговоров с Хрущевым, Юрьевым, Костей. Но ни к одному слову теперь он не относился со слепой верой, — он, сам много переживший. Он взвешивал, примерял к жизни: это пойдет, это не пойдет, — он знал, чем пахнет жизнь, чем и как живет народ, потому что он был подлинный сын народа.

В конце весны пришла весть о разгроме нашего флота при Цусиме. Была боль в сердце. Но...

— Хорошо! Война дело царское. Бьют царя. Так и надо.

В середине лета взбунтовался броненосец «Потемкин».

— Хорошо. Это восстал уже народ, наши.

На заводе появилось множество прокламаций. Костя иногда приносил их Старостину пачками, просил положить осторожно по заводу, — не передавая в руки. И Старостин разбрасывал хитро, осторожно. Завод уже глухо бродил, — Старостин видел, — с какой радостью

рабочие берут прокламации, подмигивают задорно, читают.

Ему нравилась и опасность (на заводе то и дело арестовывали рабочих), и таинственность, и бодрое сознание, что он делает большое дело, нужное для всех.

— Пусть знают, какой у нас есть царь и каковы министры.

Только одно его угнетало: медлительность. Ему хотелось сразу добиться всего: сразу сбросить царя, казнить его (он уже читал, как во Франции казнили короля). Сразу созвать учредительное собрание, добыть свободы, чтобы хорошо жилось всему народу. А здесь — жди, скрывайся, работай осторожно, работай с такой выдержкой, как-будто ты точишь самый сложный вал, — не переточи, не испортить.

Однако старая закваска — исполнительность — брала верх, — он делал все аккуратно, что ему поручали.

Новые люди — со смелыми речами — замелькали перед ним. Однажды у Кости на квартире он встретил армянина Мисака — рабочего с картонной фабрики. У Мисака была большая борода, похожая на лопату, пылающие черные глаза. Он горячо спорил с Костей.

— Борба! Всегда борба! — выкрикивал он твердо слово борьба. — Борба с чиновниками, с солдатами, с полицией. Кто носит кокарду, — стреляй в него.

— Ой-ой, какой ты кровожадный, Мисак! — засмеялся Костя. — А если тебе попадетс почтовый чиновник, продающий марки? Он тоже носит кокарду. В него тоже стрелять?

— Все равно, раз у него кокарда, — стреляй!

Была девушка — тонкая, белокурая, с лучистыми синими глазами. Она страшно напоминала Старостину Наташку. «Наташка была бы такой!» Раз он спросил ее:

— А вы не боитесь? Вас ведь в тюрьму посадят.

— Пусть посадят, — я готова.

— Плохо будет... в тюрьме-то.

— И в тюрьме люди живут.

И засмеялась весело.

Много их было. Рабочие, студенты, интеллигенты. И больше всех его влек очкастый Юрьев. Это о нем он сказал как-то Марине:

— Громадного ума человек. Вот бы нам такого в министры.

— Больше Гапона?

— Ну, больше не больше, а говорить может так, что всю жизнь насквозь видит, как в стакане с водой. И много умных людей стоят за революцию. Большая циркуляция жизни пошла.

И старательно ловил он возможность поговорить с Юрьевым. И Юрьев заметил, как этот высокий, здоровенный, прямолинейный мужичище тянется к нему, чего-то ждет от него, — сам стал присматриваться. И говорил с ним много и откровенно.

Однажды после сходки (уже поздно вечером) они вдвоем шли по набережной от Горного института к академии.

Говорил Юрьев:

— Весь гений человека должен быть направлен на то, чтобы уменьшить количество горя в мире. Чем страшен царь? Царь страшен как носитель грубой, солдатской власти. Вот человек, которому дана власть над миллионами других людей. И он безумно пользуется этой властью, он увеличивает горе людей: ибо не может человек с такой властью чувствовать по-настоящему общее человеческое горе. Вот он расстрелял нас девятого января, — вы думаете, он раскаивается? Ничуть. Для него это прошло как маленькое событие.

— Его надо убить, — угрюмо сказал Старостин.

— Да, царь достоин смерти. В этом вы правы.

— Я только и думаю об этом: убить.

— Сейчас убивать рано. На место этого царя посадят нового, который, может быть, будет еще свирепее этого. Был же случай: убили Александра II, а на его место сел Александр III, более страшный.

— А когда же наступит пора?

— Какая пора?

— Вот... убить царя!

— Когда весь народ восстанет, убьют царя не как человека, а как носителя царской власти, то-есть носителя величайшего насилия.

— А я бы... сейчас убил.

— Нет, нет, Старостин! Единичный террор сейчас вреден. Наша задача сейчас организовать стихию против царской власти. Чем держится царская

власть? Она держится войсками, темнотой, идолопоклонством. Та же стихия. И мы должны против этой стихии противопоставить свою стихию. Придет революция, мы уничтожим царскую власть.

— Ну, а сейчас... Сейчас вот. Идет, допустим, царь по лесу (я знаю такой случай, когда он ходил один по лесу), идет, а я здесь... допустим с револьвером в кармане. И я что же? Я ничего? «Иди, царь батюшка, куда идешь?»

— Да, повторяю: сейчас против царя нельзя поднимать револьвер. Не настал момент... Впрочем таких случаев теперь не представится. Царя теперь охраняют так, что его не достанешь.

— Эх, не знато! Случай-то у меня какой был. Он стоял передо мной, он разговаривал со мной, а у меня в руках заряженная винтовка, а на винтовке штык.

— Бывает, бывает. Но поймите, Старостин, вместо этого царя был бы другой. Нельзя так бить. Сейчас вы убьете только человека, а не царя. А надо с ним и царскую власть вырвать с корнем.

Они минут пять шли молча.

— Знаете, — задумчиво заговорил Юрьев, — знаете, я иногда думаю: если бы девятого января царь вышел к народу и если бы какой-нибудь безумец в этот момент убил царя, — так царская власть укоренилась бы в России на сотни лет. И царь вознесся бы на высоту небесную. И, может быть, хорошо для народа, что случилось девятое января: у народа сразу открылись глаза.

— Для народа, может быть, хорошо, да для меня плохо, — я пустой, жить не могу.

— Не говорите так. У вас работы масса. Вы тот камень, на котором создается новое общество. Берегите себя. Оцените себя. Вы прошли очень трудный путь, я знаю, вы назад не отступите. На вас можно положиться. Вы уже не измените.

— Как вы сказали? Цель человечества уменьшать горе?

— Да, в этом основная цель. Чтобы человеку хорошо жилось. Чтобы человек не был другому человеку волком. Чтобы ни один злодей, хоть бы это и царь был, не стрелял в человека.

— А я бы... все таки... царя-то убил. Мешать он будет. Он отравился властью.

Юрьев засмеялся.

— Ну, вы в роде нашего Мисака, — тот говорит, что всех надо стрелять, кто носит кокарду.

...А события — события в стране точно волны в море при крепнущем ветре — вздымались выше, грознее. Старостин заметил: после девятого января рабочие замолчали, будто присели, притаились, боязливо кругом озираясь. А ныне с каждым днем — поднимались все выше, говорили уже дерзко.

Подошел октябрь, все забурлило, как река в половодье, завод забастовал. Старостин не пропустил ни одного митинга, — на лету ловил огненные слова, что сыпались теперь со всех сторон, как искры из кузнечного горна, и сам попробовал выступить.

Это было на картонажной фабрике, — Мисак привел его туда, — Старостин знал: его здесь никто не знает, можно сказать вольно, и нужно сказать, потому что кипело - бурлило все тело от пятток до маковки, вот будто огневое выльется в слова. С безумно бьющимся сердцем Старостин поднялся на стол, — сразу сотни глаз пронизали его, — стало холодно сперва под коленями, потом в животе: он вдруг растерял все слова и голосом, который сам не узнал, крикнул:

— Долой царя! Как он нас расстрелял девятого января, так вот... убить его.

Толпа завывала «браво!», захопала шумно, — Старостин поспешно прыгнул со стола. После него говорил товарищ Абрам — молодой парень в синей рубахе, говорил с полчаса без остановки, — толстая (в палец) жила надулась у него на лбу от переноса сверху, — он показывал рукой на Старостина:

— Вот выразитель мнений всей народной массы. Долой царя!

А Старостин стоял, опустив глаза в пол, его лицо пошло красными лаптами, — ему стыдно было за себя: «Откуда берутся слова у Абрама, когда у него слова набираются с трудом?»

Этот случай — такой маленький сам по себе — постоянно помнил самолюбивый Старостин и больше не пытался го-

ворить перед толпой. Просто ходил по митингам, шумел, кричал. Он первый бросал работу, когда «постановлял комитет», он был рад, что всюду заговорили о вооруженном восстании, — теперь скоро, — и вот здесь-то он себя проявит. Он уже носил в кармане черной браунинг.

Осень и зима прошли бурно: заводы бастовали, снова начинали работать, опять бастовали. Встали железные дороги, и народ заговорил: скоро Петербург помрет от голода. Но подоспело торжество — день семнадцатого октября, — рабочие прошли с красными флагами от Нарвской заставы по всему Невскому. Старостин — впереди, прошел вплоть до Зимнего дворца, пел за другими песню, которая еще недавно была чужой, а ныне — вся своя:

«Царь — вампир из тебя тянет жилы...»

И про себя усмехался: «Вот оно куда метнулось, — у Зимнего дворца и про царя поют такое...»

Однако утром через день опять за заставу пришли слухи: на Невском стреляют. Опять митинги и речи:

— Вот он, какой — царь у нас: вчера дал манифест, а ныне отменил. Долой царя!

— Долой!

И опять дни пошли в лихорадке.

Вскоре грянула весть: в Москве баррикады. И сразу весь Петербург превратился в сплошной военный лагерь. По улицам ходили патрули, скакали отряды казаков и улан, конные и пешие городские маячили на каждом шагу, будто жителей было меньше, чем войск и полиции. Митинги разгонялись. В домах, где жили рабочие, бесперечь шли обыски. Старостин — в цехе и на маленьких сходках — говорил нетерпеливо:

— Надо помогать Москве!

Но все были растеряны, разбиты, и никто не знал, что делать. Семеновцы поехали усмирять Москву, — и для Старостина это был первый удар: «Семеновцы! Гвардейцы!» Он гордился когда-то, что он тоже гвардеец, — остатки гордости еще жили в нем, — а теперь вот — усмирять поехали. Об этом он узнал на заводе, и, возвращаясь домой, он думал о долгом пути от Петербурга

до Москвы, — неужели на этом пути никто не взорвет мосты, не сбросит поезд под откос?

Только неделя прошла, Москва была усмирена, — газеты писали о расстрелах на Пресне, на Казанской дороге, — Старостин от боли окрипел зубами, читая злые вести.

XI. До царя доходчивый

Как-то вечером — это было уже в январе, и тихонько отпраздновали за Нарвской заставой годовщину красного воскресенья, а Марина отслужила панихиду по Наташе — Старостин пришел домой позже жены. Марина его встретила с лицом спутанным — у ней всегда путалось лицо, когда она бывала чем-нибудь расстроена:

— А тебе письмо из Ключей. Вот.

Письма из Ключей приходили редко, и Старостины не любили их: всегда в них были жалобы на нехватки, всегда писалось о болезнях и смертях, и, распечатывая письмо, Старостин знал наверное: сейчас что-нибудь остро царапнет сердце. На этот раз он нахмурился, — «своего горя довольно!» — разделся молча и, только уже раздевшись и вымыв руки, взялся за письмо. Почерк был жалкий, буквы пьяно качались, и Старостин нетерпеливо взглянул на подпись: «Кто пишет?» — потому что из дома ему никогда не писали таким почерком. Писала сестра Катя. «Катя!» — губы у него дернулись в улыбке, он сразу представил Катю, семилетнюю девочку с пунцовыми губами, как видел ее в последний раз, когда его увозили в город на призыв. У ней в косе была кумачевая лента, глаза плутовские...

— Читай вслух! — попросила Марина. «Братцу родному Пашеньке низкий поклон от лица белого до сырой земли».

Письмо было писано по строгим деревенским правилам — поклоны от всех родственников Павлу Егоровичу, Марине Николаевне, «а также и деткам их Григорию Павловичу и Наталье Павловне...»

Марина при этом последнем имени вдруг заплакала в голос:

— Наташенька, доченька моя, мученица!

Старостин нетерпеливо и сурово остановил ее:

— Подожди реветь.

И опять, с трудом разбирая слова, зачитал:

«И еще сообщаем мы вам и просим, немедля бы вы, братец Пашенька, ехали бы домой на побывку, тятяша совсем плохи стали, и окончательно они при смерти и желают повидаться с вами в остатний раз. Приезжай беспременно. А в селе у нас событие. Мужики погромили нашего графа, и которых взяли в тюрьму, и будет военный суд и смертная казнь. Филиппа Елохова тоже взяли и почитают за главного бунтовщика. А это неправильно, у него обыскали только два графских стула и три шленских овцы. И учительшу взяли, которая тебе письма писала от нас. Приезжайте, братец родимый, окончательно повидаться с тятяшей и помогите Филиппу, как вы человек казенный, и всё вам доступно, и царь-батюшка вас знает, до него ты доходчивый. Мужики сейчас сидят в городе, слышать, сильно бедуют. Приезжайте, братец, немедля».

Лицо у Старостина стало желтым, как дубленая кожа. Он опустил письмо на стол, уставился недвижными глазами в угол и так сидел минуту. Марина заплакала и, плача, собирала на стол ужинать: ставила посуду, положила ложки, нарезала хлеб. Наконец Старостин поднялся во весь рост (голова под потолок):

— Что ж, надо ехать, раз отец при смерти.

Марина сразу перестала плакать:

— Поезжай. Повидаться надо. Да и делиться будут, коли беда такая накатилась. Ты ведь тоже не обсевок.

— Ну, делиться... — Старостин хотел сказать что-то сердитое и запнулся.

Он собрался в один день, — на заводе отпуск дали охотно, потому что работа там сократилась, но нехватало на дорогу и на хлопоты денег, заложили в ломбард Маринину швейную машину за тридцать два рубля.

С самого того дня Старостин не был дома, как увезли его в город, в ту призывную осень, а потом провезли вот по этой железной дороге мимо родных мест, — уже как новобранца, пьяного до бесчувствия, — провезли ночью, он не

видел ни станции, ни горы Видима с того самого дня. И теперь, когда замелькали знакомые станции с татарскими названиями — Бурасы, Карабулак, Барнуковка, — он весь напрягся, стоял неотрывно у окна, и лицо у него потемнело и пожелтело от скрытого волнения. Вагон был полон мужиков и баб, одетых в чапаны, полушубки, бедуимы, — и забытые образы живо встали в глазах Старостина: именно так одевались его отец и мать, дядья и тетки. И говор, родной с детства, со словечками: «чай», «всейка», «в тепары», «баил» — зазвучал, как волнующая песня.

После Петербурга — всегда сумрачного и малосветного — здесь всё казалось праздничным, светлым и просторным, и по-особенному волновали леса вдаль, на краю снеговых равнин, похожие на голубые разводы по белому полю. Избы в деревнях выглядели совсем маленькими, и дым из их труб шел лениво. И золотела солома на гумнах, и Старостину вспомнилось, как эта солома пахнет в морозное утро, когда, бывало, мальчишкой он приходил за ней на гумно с плетушкой за спиной. Узнал он и знаменитый сад помещика Розенверта, что у станции Куриловки, сад сильно разросся и был сизо-голубой, ветви яблонь слегка краснели. Старостин напряженно смотрел в окно, ждал, когда вдали покажется гора Видим, что только в двух верстах от Ключей, и его сердце обдавало жаром. Позади, в переполненном вагоне, гудел скупой осторожный говор:

— Черкасского барина погромили совсем. Лошадей и коров развели по домам.

— У нас кажню ночь, — гляди, здесь зарево, и там зарево, и там. Будто зарницы летом.

— Казачишки-то стоят у вас?

— И казаки стоят, и стражники.

— У нас уряднику кишки выпустили. Подох.

— А много ли мужиков-то взяли?

— Без счета. Похоже, всех поберут. Вчера забрали сразу семерых. Бабы одни остаются.

— В тюрьме-то, слышь, места нет. В амбар сажают. А в амбаре холодно.

Старостин слушал напряженно, а сам неотрывно смотрел в окно, и чудно ему было слышать ушами самые злые

вести о деревенской беде, а глазами глядеть на эти тихие, щедрые в свете просторы. Вдали, на фоне бледно-голубого неба показалась наконец гора Видим. Точно розоватая шапка, она поднималась над пустыми белыми полями. А под горой темной ниткой тянулась большая дорога на Кряжим, и по дороге шел обоз: черные лошади с черными возами были похожи на муравьев. Обоз был длинный, и, вглядываясь в него, Старостин представил, как идут там рядом с лошадьми мужики и хлопают рукавицами, а бороды у мужиков заиндевели... И горячий ком подкатился ему к горлу, и тепло стало глазам.

Станция Шиханы была все такая же: темнокрасный деревянный низенький вокзал, два маленьких домика вдали и кирпичная круглая водонапорная башня. И две лошаденки с розвальнями у вокзала, а в розвальнях золотистая солома, покрытая веретьем. Седой коренастый старик подошел к Старостину:

— Куда ехать-то? До Ключей? Свезу, Давай рублевку!

Старик заторопился, ухватил сундучок Старостина, и было видать: он сильно обрадовался заработку. Он долго и старательно утыкивал веретёе вокруг ног седока.

— Вот так. Вот и не будет холодно. Доедем за первый сорт.

И старательно же стегнул веревочным кнутом лошадь по костлявому крестцу.

— Вы чьих же будете? Старостин? Егора Старостина сынок? Ба-атюшки! Павел Егорович значит? Да я тебя эконьким знал. А теперь гляди, какой чистяк. Домой значит следует из столичного града Петенбурга? Не знаю, застанете ли тятяшу живого. Еще вчера говорили: отходит. Что ж, нам с ним пора. Он поди на десяток годов старше меня был. (Он понизил голос). А у нас тут война. Ты слышал? Прямо неподобная война. И убитые есть. И ранены которы. И в плену. Намедни сход был, так все в один голос: война! И тятяша-то твой скопытился из-за нее. Пра! (Дед еще понизил голос, как будто кто мог слышать их в пустой степи). Графа нашего всего вдрызг растрепали. А те-перя мужиков треплют. Тюрьма, суд, прямо, слышь, на вешалку их. Шалимовских троих уже повесили.

Он говорил бесперечь, а Старостин сидел окаменело, и опять все внутри у него ознобилось.

«А-а, и здесь царь действует?»

В Петербурге, вспоминая родное село, он представлял его красивым, с просторными, светлыми избами. Каждая мелочь ему представлялась значительной и милой. Теперь он с тревожным удивлением смотрел на эту пустую улицу с маленькими избами, придавленными снеговыми шапками. Окна с позеленелыми стеклами казались слепыми. Палочные ворота и плетни - заборы глядели убого.

Потемнела и постарела и родная изба, — но те же у ней были наличники, и та же скоба у калитки. Мальчишка в большой шапке, поминутно наползающей на глаза, стоял у избы и, открыв рот на манер буквы о, смотрел на незнакомого дядю в черном пальто. Возница закричал по-стариковски бодро:

— Сенька! Что ж ты гостя дорогого не встречаешь?

Щелкнула калитка, старуха в черном платке и черном сарафане выметнулась на улицу и повисла на руках у Старостина:

— Пашенька! Сыночек!

Тут и Сенька завопил в голос, шапка наехала ему на глаза, только круглый кричащий рот чернел из-под шапки. Незнакомая девка с могучими плечами и могучей грудью появилась в растворенной калитке, странно взметнула руками, припала лицом к столбу и задергалась в плаче. Старостин удивленно посмотрел на нее: «Чья такая?» Из-за девкина плеча выглянула лохматая голова, и выше на улицу мужик в кумачевой рубахе, в валенках. Он молча протянул руку.

— Иван? Как ты... (Старостин хотел сказать брату, как он постарел, но спохватился).

Вдоль порядка бежали к калиткам ребяташки, спешили мужики и бабы, как на пожар. Старостин смотрел на всех беспомощно, никого не узнавая. Мать кивнула головой на плачущую девку:

— А похоже, ты ее не узнал! Это наша Катюшка.

— Катя! Вот выросла!

Мать заплакала:

— Кто растет, а кто помирает.

— Умер тятя? — вздрогнул Старостин.

— Пока не умер, ну только плох. Вчера совсем было собрался в дорогу.

Старостин решительно шагнул к калитке. Народ гурьбой пошел за ним. Кто-то нес его сундучок и узел. Во дворе все было, как когда-то: амбарушка, сарай («я спал, бывало, на сушилах» — подумал он, взглянув в растворенную дверь сарая), погребница, крыльцо. Но все странно уменьшилось: будто вросло в землю. И в сенях все так же пахло ржаной мукой, овчинами, хомутами, детем, — крепкий, мужичий уютный запах.

Отец лежал на конике, в углу, — он всегда там спал. Желтый, с запавшими глубоко висками, так что выпирали углы костей по сторонам лба, он не повернулся навстречу сыну, только сбочил глаза, еще светлые и живые, посмотрел пристально и прямо, и борода его прошла волнами. Он зашипел, как старые часы:

— При-е-хал? Спасет христос! Довелось свидеться. А я вот еще не умер.

Сын стоял перед ним неуклюже, большой, как стена, все позади напряженно молчали. Старуха вынырнула сбоку, костлявой рукой, похожей на куриную лапу, поправила полушубок на груди умирающего, сказала:

— Слава богу, все в исправности. Соборотвали его по-доброму. Избавил его господь от наглые смерти. Теперь и умрет по-доброму. Отец Петр исправил.

— Этого бы исправщика на осине повесить! — грубо отчеканил кто-то, стоявший у притолки.

Старостин оглянулся. Изба уже наполовину была забита народом. И все глядели на высокого мужика в белой заячьей шапке. Лицо у мужика дергалось, злые шевелящиеся морщины тянулись от уха к подбородку. И глаза естественно блестели.

— Что ты, Антон, говоришь зря! — крикнула мать Старостина.

— А что? — живо откликнулся мужик, — неправду что ли говорю? Все село предал, всех переமுтил.

Он быстро широкими шагами подошел к Старостину, сорвал заячью шапку со своей головы:

— Бабы его присоглашают молебны служить, а мужики собираются обухом пришибить.

И множество голосов заговорило, за-спорило:

— Богу служит. Его трогать нельзя.

— Июда тоже богу служил.

— Пропадает народ через него!

— Народ пропадает через свою глупость.

Старостин выпрямился, оглядел всех кричавших. Что такое? Тут отец лежит умирающий, и тут же кричат иступленно мужики и бабы. Он замахал руками.

— Подождите кричать. Скажите про дело толком.

И сразу в избе стало тихо. Все переглядывались: «Кто расскажет?» Мужик с заячьей шапкой заговорил, поминутно оглядываясь на мужиков, что были позади, будто призывал их в свидетели:

— Услыхали мы осенью про золотую грамоту, — дал, слышь, царь народу золотую грамоту, — стали дожидаться, когда нарезка земли будет. А помещики конечно уперлись. Ну мы ждать-пождать, и пошли к графу сами. А граф упираться. Ну, тут мы и постановили все сделать своим судом.

— Потом казачишки понаехали, мужики на них с кольями, казачишки стрелять, тринадцать человек как не было. А остальных вот судят.

Высокая, кряжистая баба запричитала, перебивая:

— Знал бы царь - батюшка, знал бы кормилец наш, как его опришники расправу чинят...

Старостин охмурил. Заячий мужик вдруг понизил голос, пригнувшись к самому его лицу, зашипел:

— Тятяша твой из-за чего теперь раньше срока в землю идет? Все из-за этого. Погнали народ через речку, лед провалился.

— Вся надежда теперь на тебя, Пашенька! — опять запричитала кряжистая баба. (Сколько ни всматривался Старостин в ее лицо, он не мог узнать, кто она.)

— Какая надежда? Что я могу сделать?

— Как ты до царя доходчивый, царь тебя в личность знает...

Старостин засмеялся:

— Знал он меня, да позабыл.

Все удивленно посмотрели на него: «Разе можно смеяться сейчас?» Заячий мужик сказал:

— У ей мужа под военный суд поставили. Смертная казнь будет.

— Не только ее мужа, полсела поставили.

Баба, как подрезанная, грохнулась на колени, протянула руки:

— Помоги, родной.

Старостин подскочил к ней.

— Что ты делаешь? Встань! Бог что ли я — на коленях передо мной стоять? Ничего я не могу сделать. В меня тоже стреляли. «До царя доходчивый!» Мы к нему с портретами, с иконами, а он в нас пулями.

Баба покачала головой и грузно поднялась с пола.

— Видно нет правды на белом свете.

— Была да сплыла.

— Как же теперь нам жить?

— Так и жить. Авось, придет и наше время.

— Придет, когда ноги протянем.

— Что ж, теперь мне и надеяться, значит, не на кого? Прослышала я, тебя вызывают. Ну, думаю, слава тебе, господи, ходатель едет, до царя доходчивый...

Изда всё туже набивалась народом, и все будто забыли, что здесь лежит умирающий. Кричали взволнованно, как на сходке.

— Поп всё дело гадит.

— Вот в суббогу поглядим, что он скажет.

— Ты чай поедешь с нами, Паша? То-то. Авось чего скажешь в нашу заступу.

А умирающий все лежал недвижно, кротко и молча смотрел на крикливых мужиков и баб и на сына. И только когда скипел самовар и бабка стала ставить чашки на стол, народ, по шепетливой деревенской вежливости, стал уходить, и изба опустела. Осталась лишь высокая баба, что становилась на колени. Она села на скамью рядом с Павлом и голосом вовсе спокойным спросила:

— А ты, Пашенька, похоже не узнал меня? Я ведь Глаша.

— Какая Глаша?

— А Степанова дочь. Двоюродная сестра тебе.

Старостин дернулся, будто его толкнуло пружиной.

— Глаша! Вот ты какая стала!

Он помнил Глашу молоденькой, смешливой девушкой, и не было ни одной черты прежней Глаши в этой дебелий бабе.

— Постарела, поди? Постареешь от такой жизни.

Баба тихо заплакала.

— Малых-то у меня четверо. И прежде жили не дай бог ворогу, а теперь вот накатилося новое горе. Него будет жив, него нет. Больно отец Петр против него ратует. Будто сказал: «Не я буду, ежели Филька домой вернется».

— Вот так поп у вас. Зёл, как козел.

— По грехам нашим.

Тут зашевелился на конике отец, и все услышали его скрипучий голос:

— Попы наши начальством взнузданы. Начальство ведет их, куда хочет.

Мать метнулась к постели:

— Ой, старик, не говори неподобно! Ты соборовался, смерти ждешь, а так про попов говоришь.

— А что? Он правильно! — мрачно сказал Иван, все время молчавший.

— Може, и правильно, да говорить ему про это не надо. Он умирать собрался.

— Когда суд-то?

— А суд в субботу. Завтра все в город едут. Ты не поедешь ли, Пашенька?

Глаша опять задвигалась: вот-вот встанет на колени, протянет руки, будет молить, просить.

— Что ж, я, пожалуй, поеду.

— Поедем, братец!

— Ну, садись чаевать. И что это, господи! Сын в кои веки домой прибыл, и то его уводят.

— Раз надо, я с'езжу.

— Садись, Глаша, с нами чайку выпьем.

— Какой чай, кака еда, коли день и ночь муж повешенный гребтится?

ХII. Суд царев

Суд был в уездном городе, в тридцати верстах от Ключей, и туда поехали в пятницу в обед. На розвальнях, набитых соломой, ехали трое: брат Иван, Глаша и Павел. Закутанный в дедов тулуп, еще в детстве знакомый, Павел оглядывал дорогу — белёсые поля, синие перелески, пригорки и

взлобки, сияющие под солнцем. В десяти верстах от Ключей переехали через Волчий овраг с желтыми глинистыми обрывами, с кустарником на юру, засенным почти до верхушек снегом. В детстве этот овраг казался очень страшным, — в нем жили волки и разбойники. И сейчас, взглянув на него, Старостин представил отца, как однажды он спускаясь вот по этой же дороге, изо всей силы натягивал вожжи и заботливо поглядывал на него, тогда мальчишку, не испугался бы Пашенька, не выпал бы из саней, — и сердце у Павла сжалось от боли.

Проехали Родивонычев сад, — все такой же, как десять лет назад, лишь у ворот прибавился новенький домик с железной круглой трубой. Потом завиднелся вокзал в лесу слева, и пошла пригородные сады. А город внизу, под горами, и Волга вдали, как широкое, белое поле.

У в'езда в город, справа на пригорке, в лучах закатного солнца светилась белая многоэтажная тюрьма, окруженная белой высокой стеной. Старостин, отвернув воротник тулупа, глазами обжегал каждое окно. У ворот кучкой стоял народ, — все черные в сумерках. Все стояли неподвижно, и в их согнутых спинах и нахлобученных шапках была скорбь. Черный мужик, стоявший с краю, оглянулся и пошел к саням.

— Это ты, Глаша? А с тобой-то кто? Никак Павел Егоряч? Здравствуй, друг! Вот где пришлось увидаться. У тюрьмы.

— Что говорят-то? — нетерпеливо перебила его Глаша.

— Что говорят? Вешалка, как пить дать. И твоему муженьку, и моему братцу.

— Как это можно живого человека повесить? Он чай не дастся, — мрачно пробурчал Иван.

Мужик сразу озлел.

— Эх, и чердак у тебя, Иван! Повесят за мое почтение.

И повернулся к Павлу:

— Спасибо, что приехал. Мы больно тебя ждали. На тебя надежда.

— Чем я могу помочь? Что это вам втемяшилось?

— А ты до царя доходчивый, в Петербурге живешь.

Старости подавленно замолчал: он понял, что бесполезно говорить о своем бессилии.

Мужик сел на отвод розвальней, Иван стегнул лошадь, и поехали по Караванной улице к постоялому двору. В окнах маленьких домиков уже засветились огни.

Суд начался в субботу утром в большом зале земской управы. Солдаты, конная и пешая полиция и стражники заполняли соборную площадь перед старинным зданием управы. Мужики и бабы в тулупах и чапанах робкой толпой жались у ворот, а через ворота пускали немногих. Оба Старостины, — Павел и Иван, — а с ними Глаша забрались во двор чем свет, долго ждали, прижавшись к стене в узком длинном коридоре. В зал мужичья толпа вошла молча и робко. Пожилая баба, переступив порог, закрестилась и заплакала в голос. И тотчас замолчала. Старостины и Глаша сели на передней скамье у окна. В девять часов привели подсудимых. Их было тридцать два, — все пожилые мужики, и только одна среди них женщина — учительница. Мужики походили на взерошенных воровьев, — в рваных полушубках и измызганных чапанах, все с лохматыми головами, — и было видать: они, побежденные внутренней тревогой, уже не думают о своей наружности даже так скупно, как скупно о ней думает мужик. Лишь учительница — в городском черном пальто с большими пуговицами — казалась чужой среди рваного мужичья.

— Вон, вон Филипп-то! — лихорадочно зашептала Глаша и вся задрожала, протянула руку. — Глядите, какой худущий стал. Стыдобушка ты моя!

Она замахала рукой, все хотела, чтобы муж увидел ее. И другие махали руками, выкрикивали:

— Серега! Ванюшка! Петруня!

Усатый пристав сердито крикнул:

— Вы! Там! Сидите смирно! А то всех удалю!

Зал затих. На скамьях подсудимых кашляли осторожно, в кулак. Часовые с винтовками стеной встали со всех сторон. Потом толпой вошли мужики и бабы — свидетели. И после всех пришел поп в лиловой рясе с серебряным крестом на груди. Его рыжие волосы пыш-

но кудрявились, Глаша прошептала: «Это отец Петр. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его». Поп бегло осмотрел тех, что сидели на скамьях в глубине зала, и в его взгляде был и страх, и высокомерие. Потом он посмотрел на подсудимых и, остановясь среди залы, видный всем, широко закрестился на икону. Со скамьи подсудимых приглушенный злой голос сказал:

— Молись, молись, Июда!

Зал вздрогнул и замер. Пристав поднял голову:

— Эй, там! Не разговаривать!

Поп будто ничего не слышал, молился и, помолясь, уже въявь высокомерно посмотрел на подсудимых и публику и отошел к окну. В зал вошли два офицера в синих мундирах с папками в руках. Пристав широкими шагами подошел к ним, нагнулся, зашептал. Тишина в зале становилась все тяжелее, и уже никто не смел кашлянуть. Еще поп пришел, маленький, седенький, с узелком. Офицер в очках разложил папки по широкому столу, накрытому красным сукном, сделал знак рукой к дальней двери, возле которой стоял солдат. Задребезжал звонок над дверью. Пристав крикнул:

— Встать! Суд идет!

Дверь в глубине зала отворилась, и вошел высокий генерал в синем мундире с широкими золотыми погонами, на которых змеей изгибалась серебряная полоса. Из-под седой бородки выглядывал красноватый крестик. Старостин отметил в своей памяти этот крест, столь знакомый ему с военной службы, зеленые, острые глаза отметил и седую прическу ершиком, — и странный холод подул в его сердце, будто от генерала веяло морозом. Два пожилых полковника шли за генералом. Генерал заговорил рокочущим отчетливым басом:

— Временный военный суд... по разбору дела о разгроме имения его сиятельства графа Орлова... крестьянами села Белые Ключи и Чернавки...

От странного волнения Старостин не все понимал, что говорил генерал.

— Подсудимые все налицо?

Офицер в очках ответил:

— Все.

— Свидетели все?

— Все.

Скамьи подсудимых были одна выше другой, и последняя скамья поднималась в уровень со серединой стены. Подсудимые будто нависали над столом, покрытым красным сукном. Лишь цепь солдат отделяла их от судей.

— Подсудимый Павел Иванов Сурков здесь?

— Здесь.

— Подсудимый Филипп Кондратьев Елохов здесь?

На первой скамье поднялся мужик со всклокоченными волосами, и Старостин узнал Филиппа, Фильку, с которым прошло все детство, — это с ним он ходил за венниками в графский лес и разорял гнезда сизоворонок по ключевским оврагам. Филипп буркнул:

— Здесь.

Глаша заплакала, Старостин положил свою руку на ее, сжал, хотел сказать: «не плачь!»

Генерал спрашивал четким, играющим баском — быстро и точно, словно командовал солдатами. И ошеломленные мужики невольно подчинились его властному голосу, тоже отвечали четко: «Здесь!»

Потом секретарь—офицер в очках — вызвал свидетелей,—толпой вышли на середину залы мужики и бабы и впереди них рыжий поп в лиловой рясе, а старенький поп читал перед ними слова присяги, и все, подняв правые руки со сложенными крестом пальцами, гудели, повторяя за ним слова:

— Обещаюсь и клянусь перед всемогущим богом и его святым евангелием...

В зале стало жарко и душно,—пахло овчинами и крепким мужичьим духом, и генерал приказал открыть форточку.

Когда свидетели, гудко топоча, вышли из зала (поп Петр впереди), капитан—секретарь—очень долго читал обвинительный акт. Генерал, откинувшись на спинку кресла, лениво постукивал карандашом по красному сукну.

— Так вот, — загремел рокочущим, очень ясным голосом генерал, когда секретарь кончил читать, — так вот, подсудимые, вы прослушали обвинительный акт. Признаете ли вы себя виновными? Подсудимый Павел Сурков! Признаешь ли ты себя виновным в том, что...

Павел Сурков — крайний справа — поднялся неторопливо, сказал глухо:

— Не признаю...

Генерал, не поднимая глаз от бумаги, пророкотал:

— Хорошо. Садись. Филипп Елохов! Признаешь ли себя виновным в том, что...

— Не признаю...

И все отвечали упорно, угрюмо, коротко, голосами грубыми: «Не признаю». Только учительница сказала молодо и звонко:

— Виновной себя не признаю ни в чем.

И тут выступил отец Петр из Белых Ключей — свидетелем. Благообразный, с пышными рыжими волосами, в лиловой рясе, он был среди рваных и всклокоченных мужиков как цветок на сорной куче. Он начал умильным тенором:

— Я право не знаю, с чего начать мой рассказ. Мое пастырское мнение — на скамье подсудимых сидят истинно те, кто попал в сети дьявола и покорно исполнял его злую волю.

— Откуда-то стали распространяться ложные слухи, будто государь император даровал повеление отобрать у его сиятельства землю и все имущество. И решили наши мужики землю немедленно разделить и учредить Ключевскую республику, а людей, верных порядку, убить. И главные коноводы в этих злых умыслах были Павел Сурков и Филипп Елохов, а также учительница Вера Перепелкина. Они говорили на всех сходах, что надо устранить всех верных стражей законного порядка, а в первую голову священника Петра, то-есть меня, и урядника Николая Карповича Семенова.

Голос отца Петра повысился и зазвенел:

— И подговорили они ключевского крестьянина Иоанна Свистулькина убить меня в церкви, во время богослужения. И дали Свистулькину револьвер с шестью пулями, и пошел Свистулькин в храм божий, когда я совершал там богослужение. И встал Свистулькин у самого амвона и, опустив руку в карман, держал револьвер наготове. И вдруг, — это он мне сам рассказывал, — вдруг светлое облако спустилось из-под купола и закрыло меня от его глаз. И понял

тут Свистулькин, на кого злочестивые люди заставляли его поднять руку. И, ишшед из храма, он плакался горько.

Отец Петр рассказывал неторопливо,—и тихий вал напряженно ловил его каждое слово. Старостин весь сжался от ненависти и негодования: «Ведь топтит всех Иуда!» Бородатый полковник, что справа от генерала, спросил густым басом:

— А допускаете ли вы, батюшка, возможность, что действительно белое облако спустилось из-под купола и скрыло вас от пули?

В голосе полковника и в густой бороде мелькнула улыбка, — и все почувствовали ее, — и по залу тихонько пробежал смехок. Отец Петр ответил строго:

— У господ бога все возможно!

И опять в зале стало тихо, напряженно и злобно.

— А скажите, батюшка, как вы узнавали все деревенские новости? — спросил прокурор — офицер в синем мундире, сидевший за отдельным столиком.

— В деревне, что на ладони, — всё видишь и всё знаешь. Конечно ко мне приходило много православных прихожан и докладывали мне.

— Значит, заговор развивался на ваших глазах?

— Всё до мелочей на моих глазах.

Они — поп и прокурор — говорили дружески, как самые близкие. Прокурор с удовольствием поддакивал, словно припечатывал:

— Ага. Так. Ясно.

Старостин не мигаючи смотрел на прокурора и попа и вдруг заметил: у прокурора из-под молодых, черных усов мелькает блестящий ряд мелких зубов, и красивое человеческое лицо напоминало что-то собачье, — так собака скалит мелкие зубы, когда ее раздражают...

— А виновен ли, по-вашему, подсудимый Сурков в том, что...

Поп с полуслова понимал прокурора, чутьём шел за ним, — не давал досказывать, уже чеканил:

— Безусловно виновен.

— А подсудимый Елохов, виновен ли он...

— Главный зачинщик!

Два защитника — юркие, в тесных

черных сюртуках — трескуче посыпали вопросы:

— Скажите, свидетель, сколько содержания вы получали от графской конторы?

— Допускаете ли вы, что сквозь облако, которое спустилось на вас из-под купола, заговорщик Свистулькин вас не видел? Какой густоты было оно?

Отец Петр сразу выпрямился, откинул голову, заговорил свысока, голосом важным, совсем не так, как говорил он с председателем и прокурором:

— От графской конторы я ничего определенного не получаю, мне дают доброхотно, без всяких учетов. А что касается густоты белого облака, то вы имеете спросить об этом у самого свидетеля Свистулькина, — он здесь и своевременно предстанет перед вами.

Тут опять вмешался бородатый полковник:

— А все-таки, свидетель, как вы предполагаете, можно было сквозь облако выстрелить или нельзя? Может быть, облако было для пули непроницаемо?

На скамье подсудимых звякнул смех: учительница Перепелкина закрыла рот платком, а глаза смеялись, и прядь волос дрожала в смехе. И в зале кто-то засмеялся грузно. Генерал сердито оглянулся:

— Подсудимая Перепелкина, смеяться не дозволяется!

— На ваш вопрос, господин полковник, я так же отвечу, как ответил господину адвокату: свидетель сего чудесного божьего дела Иоанн Свистулькин вскорости выступит перед вами, и вы у него узнаете подробности.

— А кто дал Свистулькину револьвер, чтобы убить вас?

— Револьвер дал Филипп Елохов совместно с...

На скамье подсудимых грохнуло:

— Врешь!

Генерал выпрямился:

— Кто там говорит? Замолчать!

И уже кланялся суду отец Петр, — прокурору поклонился особо, — и, оглядываясь, отошел от стола, сел рядом с Глашей. Все смотрели на него, перешептывались. Глаша отодвинулась, отшатнулась, оглядываясь с ужасом. Старостин судорожно сцепил зубы.

Но опять затих зал, — суд слушал нового свидетеля — Свистулькина. Стоял Свистулькин по-военному прямо, правую руку вытянул до колена, а в левой парадно, как солдат на молитве, держал рваную шапчонку, весь ершился лохмотьями, волосы поднимались гривой.

— Так точно. Дал Филипп Елохов: «На, говорит, револьверт, убей попа!» И конечно выпил бутылку и иду в церкву убивать попа. И только вхожу, а тут облако сверху, из кунпола прямо к царским врагам и закрыло отца Петра от моих глаз. Тут я и содрогнулся: божье произволение! Что я делаю?! Я аж заплакал.

Были слова его нелепы, как сам он с рваной шапчонкой на руке был нелеп и нелепа была его солдатская поза, а генерал и прокурор долго его расспрашивали, и в голосах у них было одобрение. И адвокат спросил:

— Какого цвета был револьвер? Белый, красный или черный?

Свистулькин ответил твердо:

— Револьвер был красный, как сам Елохов из красной партии.

Старостин пожимал плечами: как можно разговаривать с дураком? Судьи и прокурор будто и умны, а вот забыли: «С дураком и найдешь — не разделишь».

Густой толпой вышли мужики из управы на площадь, — уже в вечеру это было, и суд оборвался до завтра, — Старостин громко сказал:

— Поп да дурак их главные свидетели.

Дед Полунин задрезжал злым смехом:

— Верно, Паша! С пьяным за ручку — хмельным назовут, с глупым за речи — глупым почтут. Хошь оно и генерал, а должен видать, кто Свистулькин-то. Облако выдумал, пес паршивый.

— Он не выдумает. Это сам поп выдумал.

— Знал бы царь-батюшка, кто над нами расправу вершит, — выдохнула Глафира и с тайной надеждой глянула на Старостина. И Старостин поймал ее взгляд и понял — надеются на его помощь, и опять колючее возмущение пробежало по нем. И взорвало:

— Будет вам о царе толковать. «Царь, царь!» Обо всем он знает. И все они — хоть генерал этот, хоть царь, хоть поп — черти одной шерсти.

— А, батюшки! — вполголоса вскрикнула Глаша и оглянулась («Время-то какое? Оглядывайся!»)

Темная площадь уже осталась позади — от управы кучками шел народ, — и никому будто нет дела до других, — шли, придавленные каменными думами.

— Что ты про царя так говоришь? Другой раз от тебя слышу. Аль ты с ним не в ладу?

— А ты в ладу? Твой муж в ладу?

— Стражники да пристав его арестовали.

— А генерал судит.

— Это батюшка Петр впутал. Граф будто...

— Кто кокарду да саблю носит, тот и враг наш.

— Батюшка без сабли.

— У него крест вместо сабли.

— Что ты, что ты, Пащенко! Окстись. Нешто про крест можно так?..

Весь второй день Старостин просидел все на том же месте — у окна на передней скамье; глыбой гранитной просидел недвижно, лишь жили глаза и брови, — брови все ближе сдвигались и нависали над глазами, будто пытались потушить в глазах злой свет.

— Подсудимый Парамонов, ты обвиняешься в том, что поджег амбар с хлебом.

— Это мир поджег.

— А ты что делал?

— А я глядел.

— Ты что, старик, встал? Как фамилия? Что надо?

— Ваше превосходительство, хоша я и подсудимый, но дозвольте слово вымолвить. Второй день мы говорим про поджег и про убийство. А я вот сижу здесь, слушаю и думаю: главного-то ведь никто не говорит, — про землю про матушку.

— Земля к делу не относится.

— Как не относится, ваше превосходительство? Земля самая суть. Мы — крестьяне, мы только землей и живем. Без земли нам смерть. Надо бы сперва разобрать, почему мы пошли барское добро ворошить.

— Садись, садись, старик!

— Крестьянским хлебом весь мир кормится. Есть такая пословица: один мужик семь генералов прокормил.

— Пристав, посадите подсудимого на место!

— Что ж, я сяду, ежели глотку голицей заткнут.

— Ваше превосходительство, тут сказали, будто я вылил воду из кадушки. Это верно, я вылил. Ну только я на огонь вылил, хотел потушить.

Старостину показалось: подсудимые не на скамьях сидят а на плоту, и плот тонет, — через Терешку раз, в ярмарку, на плоту поплыли грузно мужики и бабы, плот под воду ниже, ниже, весь народ в воду, забултыхались, завопили: «Тонем! Помогите!» И здесь то же — один, другой — слезливо и взволнованно зывали:

— Меня зря отец Петр виноватит. Я не причинной этому делу. Я телегу из огня отвез в сторону.

— Я из амбара хлеб выносил. А то бы сгорел. Жалею, когда хлебушко горит.

— Я быков из закут выгнал. Кого хощь спроси.

— Я овец спасал. В огонь кинулись было. Овца глупа, — не удержи ее, пропадет.

Прокурор будто прилипал к каждому:

— Ага. Ты прибежал на пожар, чтобы телегу спасти? А ты быков выгонял? А кто зажег? Если не вы, скажите, кто.

И злость в голосе и торжество:

«Ага, попались!» — Чаше подергивалась его верхняя губа и блестели зубы.

В перерывах мужики и бабы — «публика» — выходили в длинный коридор, гужом грудились на лестнице, гурьбами во дворе, где все так же маячила конная и пешая полиция, — здесь развязывали узелки, жевали черствый хлеб. И где-нигде пройдет Старостин, — обязательно к нему свои и чужие люди — с глазами, в которых мольба и отчаяние:

— Как заступиться-то, Павел Егорович? Гляди, топят наших мужиков.

Старостин беспомощно разводил руками.

Глаша становилась все тревожней, — она почти не ела за эти дни, только воду пила бесперечь, будто хотела потушить пожар в сердце. Глаза у ней сразу

выросли, лицо пожелтело и вытянулось, как у великомученицы.

— Про мово больше всех говорят. Уж будто имени нет ему. Господи! Неужто повесят?

Иван откликнулся басом, твердо:

— До царя дойдем, а повесить не дадим.

На третий день судьи пришли с орденами во всю грудь. Прокурор тоже с какой-то медалью, с золотой португеей, в лаковых сапогах. Измученный Старостин, увидев их, одетых, как на парад, чего-то испугался: «Значит, сегодня?» — сам спросил он себя и посмотрел украдкой на Глашу. Она дрожащими губами шептала:

— Обряженные они ныне. Ой, не к добру. Сон я плохой видела...

Речь свою прокурор начал, опираясь широко расставленными руками на стол. Он наклонился вперед, голову откинул, зубы замелькали из-под верхней губы.

— На скамье подсудимых сидят революционные преступники, и карающий меч военного правосудия должен обрушиться на их головы.

Он каждого назвал по имени и отчетливо и о каждом сказал злое.

— Филипп Кондратьев Елохов безусловно закоренелый преступник, для него нет ничего светлого. Он поднял руку на служителя алтаря. Правда, не свою руку, а руку неустойчивого человека, и эта рука готова была пролить кровь перед самым алтарем, если бы бог не сотворил чуда.

Старостин сидел, опустив глаза в пол, — ему было страшно взглянуть в это лицо с оскаленными зубами.

После заговорил адвокат словами пышными. Но генерал прокричал: «Защита, покороче!» — и адвокат смяк, скомкался.

— Потом в каменной тишине два часа ждали, пока суд совещался. И страшно было взглянуть на подсудимых, — на первую скамью, — на тех двенадцать, для кого прокурор требовал смертной казни.

В тишине, точно петух перед утром, прокричал пристав:

— Встать! Суд идет!

И столбами встали перед судом судьи, у генерала — бумага в руках. Секретарь

в очках так и замер, стоя с пером в руке.

— По указу его императорского величества... Филипп Кондратьев Елохов признан виновным в том, что (слух Старостина напряженно ловил только это имя)... к смертной казни через повешение.

Глаша тихонько и коротко вскрикнула, будто спросила удивленно: «а?» — и медленно повалилась на пол. Старостин неловко схватил ее за платье, Глашины волосы рассыпались по полу. Кто-то рядом завыл страшным голосом. И другой голос запричитал: «А милый ты мой, Иванушка!» Всё смешалось, завывало, завертелось. Старостин схватил Глашу под руку, Иван под другую, и волоком потащили ее в дверь, и Глашины валенки подошвами наружу волоклись по полу. Филипп стоял во весь рост — лицо бледное, глаза горят — и смотрел, как волокли Глашу.

Весь день потом оба Старостины и Глаша метались по городу: из суда в тюрьму, из тюрьмы в гостиницу, где жили члены суда.

В гостинице швейцар с обрюзгим, серым лицом долго гнал их от двери, и пришлось дать ему целый рубль, — тогда пропустил он одного Павла Старостина: «Иди по коридору, там постучишь в дверь пятнадцатого номера». Старостин весь в напряженной дрожи пошел по полутемному коридору, всматриваясь в белые цифры на дверях. Вот дверь с цифрой пятнадцать. Он от волнения кашлянул в левую руку и постучал. Капитан в очках появился в открытой двери, — он в упор глянул на Старостина, и любезное лицо у него сразу стало суровым.

— Что надо?

Старостин торопливо забормотал:

— Ваше высокоблагородие... по делу Елохова... покорнейше прошу о помощи... четверо детей, а его приговорили к смерти через повешение...

Капитан нахмурился.

— Ничем помочь не могу. Преступник понес законное наказание.

Капитан взялся за ручку двери, вот-вот закроет... Старостин сделал шаг вперед, подставил плечо, чтобы нельзя было закрыть дверь, забормотал торопливо:

— Ваше высокоблаг... я сам служил в гвардии, знаю порядки, но разрешите...

— Ничего разрешить нельзя, — строго блеснул очками капитан.

Сзади, в коридоре, зазвякали шпоры, капитан выпрямился, опять сделал вид, что хочет закрыть дверь. Старостин оглянулся. Бородатый полковник, тот, что спрашивал в суде попа Петра и смеялся, шел по коридору. Свет падал из раскрытой двери, и когда полковник подошел, он пристально посмотрел на капитана и Старостина. Глаза у него были веселые, борода двигалась волнами, будто полковник что-то жевал, руки были заложены за спину.

— Ну, в чем дело, капитан? — спросил он протяжно, — вы уже пообедили?

— Только что хотел итти, но вот видите — проситель!

Полковник повернулся к Старостину:

— Какой проситель? Зачем сюда? По какому делу?

Он спрашивал раздельно, густым басом, и по его голосу было видно, что он пьян. И странно, мысль, что полковник пьян, почему-то подбодрила Старостина. Он выпрямился по-военному.

— Ваше высокоблагородие, по делу Елохова. Четверо детей, а его к смертной казни.

— А-а-а! Ну, братец, ничего не сделаешь. Приговор вынесен, и тут ничем не поможешь.

— Ваше высокоблаг... четверо детей мал-мала меньше.

Полковник качнулся:

— Детей жалко, это действительно. Но что сделаешь? Ничего. Так что, братец, напрасно просишь. Ну-ка, идемте ко мне, капитан!

Капитан будто обрадовался, что неприятный разговор кончился, быстро затворил за собой дверь, и они пошли по коридору. Старостин пошел было за ними, но, сделав два шага, остановился: что еще сказать, если всё сказано? Дверь вдали открылась и опять затворилась, коридор опустел... Куда пойти? Будто каменная стена встала перед Старостинным. Он постоял, подумал и медленно, шаг за шагом, пошел назад к подъезду, на улицу. Пряча свои глаза от ищущих глаз Ивана и Глаши, он сказал:

— Ничего не могут сделать. Надо к адвокату.

— К адвокату, к адвокату! — горячо забормотала Глаша и задыхалась так, будто ей нехватало воздуха.

В просторной приемной у адвоката, где рядком вдоль стен стояли стулья, обитые черной кожей, Глаша оробела, опустила лицо у ней сделалось восковым, она бесперечь бормотала:

— Господи! Святители! Матушка владычица!

И на нее было страшно смотреть.

Адвокат вошел быстрым шагом, будто вбежал, оглядел всех троих пронзительно, будто оценивал, сколько с них можно спросить:

— Ага... Елохов? Помню, помню. Единственный исход — подать прошение на высочайшее имя.

Глаша задрожавшим голосом, истерично, как в бреду, заговорила:

— Подайте! Подайте! Везде подавайте!

Павел нахмурился:

— Будет ли толк?

— Иногда бывает, — пожал плечами адвокат.

— Поди редко?

— Редко, — это верно, очень редко, не хочу вас обнадеживать. Но надо испытать последний путь. Для вас это будет стоить рублей пятьдесят — половину мне за прошение, половину телеграфу.

— Подавайте! Везде подавайте! — шептала Глаша.

Старостин посмотрел на нее долгим взглядом, он не верил, что будет толк, но видел: не пошли он прошения, Глаша и все будут потом проклинать его всю жизнь. Он посмотрел на брата:

— Сколько денег у нас?

— У меня трешница.

— Только? У меня рублей двадцать. Где достать?

— Придется продать тулупы.

— Иди, продавай.

— Батюшки, благодетели, спасайте.

На постоялом дворе, в большой «заезжей», пропахшей овчинами и мужицким духом, в переднем углу была черная икона, по которой сновали тараканы. А рядом с иконой — чистенький портрет генерала Стесселя. Глаша, как вошла в «заезжую», упала перед ико-

ной, протянула руки. Старостин посмотрел на портрет Стесселя, — к нему тянулись Глашины руки, — и Стессель напомнил ему генерала судью: «Моли не моли, все они одинаковы!» Но в глубине, под ложечкой, еще шевелилась надежда: «Авось! Авось есть бог и царская милость!» — «Государь, пожалуйста четверых моих малолетних детей» — вспомнил он слова телеграммы. Он представил: телеграмма ныне же долетит до Царского села, попадет на стол к царю, а утром царь прочтет ее. «По утрам и день до обеда государь занимается делами, потом гуляет в парке и стреляет птиц». — Так когда-то благоговейно говорили в казарме. И вот государь прочтет телеграмму: «Четверо малолетних детей». Он не может не отменить приговора, — у него, царя, тоже есть дети — пятеро. «А если не отменит? Если не отменит, то... как же он может гулять в парке и стрелять птиц?»

Гапонова записка тогда, перед девятым января, может быть, и не попала царю во-время. А телеграмма-то будет на месте и во-время.

Позади него на нарах шептались невидимые в темноте:

— А когда?

— Вешать-то?

— Да.

— Надо быть, скоро. Помнишь, намедни? В пятницу осудили, в понедельник повесили.

— Тогда царю-то подавали о милости?

— Подавали.

— И ничего?

— Ничего.

Старостин подошел к нарам и сел, сжав руки так, что хрустнули пальцы. «Что делать? Что делать?»

Адвокат объяснил: ответа на телеграмму не будет, — если государь помилует, то пришлет приказ прокурору. Старостин утром пошел к прокурору, — долго неслышно стоял перед дверью его номера, выжидал, когда прокурор выйдет в коридор:

— Ваше высокоблагородие, я по поводу дела Елохова.

Он по-военному вытянулся, выправкой хотел подкупить прокурора. Прокурор, застегивая перчатку, мельком глянул на него:

— Ну?

— Мы подали государю о помиловании. Нет ли ответа?

— Ответа нет и вероятно не будет.

— Ваше высокоблагородие! Дети! Четверо.

— Что же дети? — брюзгливо заговорил он, и зубы у него хищно мелькнули. — Надо было раньше думать о них. Когда шел громить чужое имение, когда поднимал руку на служителя алтаря, он не думал о детях. А теперь дети, дети. Вообще, напрасно ходите. Прошу не беспокоить.

Он пошел по коридору, звеня шпорами. Старостин посмотрел на его шпоры и ждал кулаки.

Еще два дня прошли в томлении, в беготне, в тревоге. Суд всё заседал — разбирая дела о других погромах, Старостин заходил послушать, — еще приговаривали к виселице, — но после пережитого новые приговоры уже не казались страшными. Ужасало вот: Глаша не спала, бормотала чепуху, и ее бормотанье было страшнее чужой виселицы.

На третий день кто-то принес на постоялый двор весть:

— В тюрьме строят виселицу. — Старостин украдкой от Глаши ходил к знакомому надзирателю (уже завел знакомство в эти дни), — жил надзиратель в караульном доме, что рядом с тюрьмой, — передал два фунта топленого масла, — «прислали ныне из деревни» (а сам купил на базаре), — поговорил о том, о сем и будто вскользь спросил:

— Строят?

Надзиратель понизил голос:

— Строят. Похоже, нынче ночью. Ну, только в большом секрете.

— Ты не беспокойся. Сам военный, знаю.

Из тюрьмы он прошел на Волгу, не хотелось возвратиться на постоялый: «Что ей скажешь?» Но вернуться надо было, сказал: «ничего не слышно».

Утром все трое пошли в тюрьму передать еду. Открылось в воротах решетчатое окошечко, глянуло усатое лицо:

— Передача? Кому?

— Филиппу Елохову из Белых Ключей.

— Не принимаем.

Глаша вздрогнула, помертвела.

— Да почему же?

— Известно, почему. Маленькая, что ли?

Глаша, всегда боязливая, всегда просящая, вдруг озлела, бросилась на ворота, руками за решетку, била ногами, вопила: «Что вы наделали, проклятые!» — царапала Ивана и Павла, когда они подхватили ее, ругалась словами страшными... Едва-едва довели ее до постоянного двора. Здесь, помолившись на портрет Стесселя, она как-то сразу успокоилась и заговорила опять просительно:

— А валенки-то где же его? Два тридцать за них уплочено. Что же, и валенки не отдадут теперь? Новенькие валенки. Совсем как чёсанки. Батюшки мои, где же совесть у людей? Хоть бы валенки отдали.

— Будет тебе, об чем тужишь.

— Да, тебе хорошо. Ты богач. У тебя всегда жалованье текёт. А нам взять неоткуда. Нет, я пойду хлопотать, пусть отдадут валенки.

И — нелепо, горя и не сгорая — ходили все трое к тюрьме, добились: вынесли им рваную шапку, рваный полушубок и новые валенки. Глаша вся просияла улыбкой. А Павел, увидев улыбку, отвернулся, — в спину подул морозный ветер.

Поискали могилу на кладбище. А как отыщешь? Не отыщешь. Сторожа молчали: «Ничего не знаем», надзиратель сказал: «Не знаю». Походили, походили по сугробам между крестами, — молчит кладбище. С тем и поехали в Ключи. Только у Глаши всё радость, — валенки она везла в руках, боялась положить в передок саней: «как бы не выпали, выпадут — не заметишь».

Злая была дорога и длинная. И хотелось Старостину скорей домой в Петербург, — теперь с ним уже мало кто говорил, будто потерял он всё. «А еще в Петербурге живет и с царем знаком. А здесь и помочь ничем не могу».

Дома плакали, умирающий отец покивал головой, прокрипел:

— Бог даст, я с ним скоро встречусь на том свете. Я ему скажу, как об нем здесь ребятишки убиваются. Бог всё видит.

Катя и Дуняша собирали на стол, босые ребятишки бегали по конику и

по лавкам, четырехлетняя Настенка прилипла к окну, закричала:

— Боженька идет! Боженька идет!

Катя взглянула в окно, рассмеялась.

И Павел взглянул. Мимо шел поп Петр — в круглой большой шапке, в черной рясе-шубе, с посохом. Ненависть ножом пырнула в сердце, и Павел злобно сказал:

— Этого бы боженьку взять бы за ноженьку да об пол хлоп!

Мать испуганно вскинулась:

— Про кого ты?

— А вот про кого. (Павел кивнул головой на окно).

— Отец Петр?

— Кому отец, а кому подлец. Он самая язва. Через него вся беда. Как же, поп! Суд не может попу не поверить. Вот поверил. И повесил.

А умирающий отец все скрипел:

— И я умру вот скоро. Увижусь с Филей-то. Он ничего был мужик. Зашибал малость, да это... греха большого нет. Все мы зашибаем, прости нас, господи!

— Да как же это царь-то? Царь-то как же? — стонала мать. — Ты писал в те поры: хороший да ласковый, с тобой самолично разговаривал, не погнушался.

— Глаза слепы были. Теперь прозрели. Теперь мы знаем, какой он ласковый.

ХIII. Провокатор

Еще до поездки в Ключи, с конца осени, Старостин читал в газетах странные заметки об отце Гапоне, — будто получает отец Гапон деньги от полиции и за деньги восхваляет царя. Старостин, впервые прочитав такую заметку, возмутился:

— Врут, подлецы!

Он помнил, как батюшка крикнул тогда, во дворе у Таракановского моста: «Нет больше царя!» В первый раз он услышал тогда этот крик. А что первое забывается? После такого крика можно восхвалять царя?

И все же заметка тогда всполошила его, он отыскал людей, которые тайно видели батюшку. И эти люди тоже говорили:

— Клевета!

Однако разговоры все вырастали, и ко времени, когда Старостин приехал из Ключей, они выросли уже целой горой.

Газеты все чаще писали о провокаторстве Гапона. Старостин заметался: «Не может, не может быть!» Как-то в первые же дни по приезде он встретил у Кости Юрьева. Он сказал:

— Вы слышали, товарищ Юрьев? Будто батюшка Гапон приехал в Петербург.

Юрьев удивленно посмотрел на него.

— Ну?

— Я бы хотел повидаться с ним.

— Это еще зачем?

— Как зачем? Первый, можно сказать, борец...

Юрьев устало махнул рукой.

Старостину стало обидно.

— Вы что отмахнулись?

— Провокатор.

— И вы тоже?

— Ну, конечно. В газетах правду пишут. Вы мне верите, надеюсь?

— Гм... как сказать... Верить-то будто верю, а всё мне сдается, что вы говорите из-за зависти.

— Из какой зависти?

— Социалисты завидуют отцу Гапону.

— Ай-ай, Павел, какой вы еще... упрямый! Сначала вы верили в царя, теперь в Гапона.

Костя засмеялся:

— У него мозги закручены: он не может без начальства.

— Ну ты, Костя, брось!

— Верно, верно вам говорю: Гапон служит в охранке.

Старостин прошелся по комнате, левой рукой покрутил правый ус — в волнении.

— Нет! Не верю! — крикнул он, — священник Гапон провокатор? В охранке служит? Ну, нет, господин хороший, — вы меня на удочку не поймаете.

— Но, Павел, я могу вам доказать.

— Доказать? А ну, докажите. Пулями-то вы стреляете тяжелыми, да только мимо цели.

— Не мимо цели, уверяю вас.

Старостин по-ястребиному уставился в глаза Юрьева, смотрел не мигая, может быть, целую минуту. Юрьев не опустил глаза. И Старостин заколебался, — у него сразу поджались губы, лицо пожелтело. Он забормотал:

— Как же так? Провокатор! Отец Гапон? Что ж, тогда, значит, и правды на земле... тоже нет?

Он весь напряжился, — стал точно бомба, готовая разорваться. Юрьев ответил просто:

— Да это уж ваше дело строить выгоды.

— Гм... Мое-то мое. Да как же тогда жить? И чем жить? Был у меня царь, — нет теперь царя. И если в самом деле Гапон за деньги предает нас, рабочих, как Иуда предавал... где же тогда бог?

Он помолчал. И рассмеялся сухим, трескучим смехом:

— Хе-хе, нет, товарищ Юрьев, этого не может быть. Не может! Не говорите зря. Он же рядом со мной стоял, даже впереди меня, когда в нас стреляли солдаты у Нарвских ворот. Кругом кровь, кругом убитые. Он упал, рядом со мной упал. Мы ползли по снегу, он впереди, я за ним. Пули свищут. Поднимись — и кончено. Дыра в башке. Это как, по-вашему? Какие деньги надо взять, чтобы пойти на такое дело? Пули-то что, разбирали, в кого попадать? Я кровью связан с ним, — дочь мою убили там, — и вообще, товарищ Юрьев, кровь не шутка. Зря говорить не надо.

Юрьев раздельно, строго, слегка приглушенным голосом сказал:

— А если я представлю вам, товарищ Павел, самые неопровержимые доказательства.

— Какие же доказательства представите? Бумаги что ли какие? Не поверю, — бумаги сочинить можно. Ушам только своим поверю. Да и то... с опаской.

— Ну, а все-таки, если бы вы ушами своими услышали?

— О чем услышал?

— Что Гапон за деньги предает своих товарищей.

Старостин насупился:

— Тогда я... тогда я... своими бы руками... его задушил.

XIV. Дача в Озерках

В переломе марта Костя запиской вызвал к себе Старостина: «Приходи в воскресенье утром ко мне. Есть дело».

Старостин застал у Кости Юрьева.

— Что же, товарищ, пойдете? Вы хотели убедиться.

— Вы... про Гапона? Пойдете.

Настя засуетилась было;

— Чайку бы попили. А то в кои веки пришел зять и то уходит от чая.

— Не до чая, Настя, после приду. Пойдемте, Степан Михайлович!

(Васильевского острова они поехали на Петербургскую сторону, — на этот раз не разговаривали, будто черная кошка пробежала между ними. На Большой Зеленой они вошли во двор мрачного, длинного дома, долго поднимались по грязной лестнице на седьмой этаж.

— Дома Мартын Семеныч?

— Дома.

— В маленькой комнате у окна сидел черный человек. Лицо его было трудно разобрать. Юрьев сказал черному.

— Вот тот рабочий, о котором я тебе говорил.

Человек всмотрелся в лицо Старостина.

— Позвольте, товарищ, я ведь вас знаю.

Старостин скупно улыбнулся:

— Я вас тоже знаю. Вы тот инженер, который бывал у нас на собраниях. С Гапоном мы вместе ползли по снегу тогда... девятого января. И через заборы вместе лезли и по снегу. И стригли вы его... при мне. Волосы еще у меня целы.

Инженер нахмурился:

— Ага. Целы?

— Да, целы. Берегу.

Вмешался Юрьев, сумрачно кивнул инженеру головой на Старостина:

— Он не верит, что Гапон предатель.

— Не верите? — вскинул удивленные глаза инженер.

— Да, не верю. Предатели под пули не ходят.

— Он стал предателем потом... теперь.

— Так вот он идет, — опять вмешался Юрьев, — я прошу тебя: дай ему возможность убедиться.

— Хорошо, товарищ! — просто сказал инженер. — Я вас выставляю свидетелем. Вы приходите сюда же во вторник утром. Хорошо?

— Да, я приду. Во вторник утром? Очень хорошо.

Он хотел поговорить о девятом января — дне столь великом, — но инженер не откликнулся. Он был холоден и озабочен. Старостин простился, ушел один.

Улицы были полны черного тумана. Фонари светили тускло. Прохожие казались черными тенями.

«Чорт знает, может быть, и правда? А если правда, тогда что же? Тогда и бога нет?»

Он, сраженный этой мыслью — и страшной, и неожиданной — остановился среди тротуара, и у него задрожали и похолодели руки. Он сразу представил, как от него уходит последний оплот его жизни — бог. Был царь — нет царя. Был бог...

«Нет, нет, неправда, — внутренне, про себя воскликнул он и опять зашагал по улице. — Бог не может допустить такого злодейства. Чтобы его служитель, — такой служитель, в которого весь народ верит, — чтобы такой был Иудой предателем? Нет, не верю!»

И вслух он сказал:

— Не верю!

Он увидел: старушка в черной шали укоризненно посмотрела на него, покачала головой, будто хотела сказать: «Эк, налился!»

А мысль настойчиво гвоздила: «Правда! Правда!»

Он гнал ее от себя, а она кошкой вцеплялась и в мозг, и в сердце и отнимала все силы. Домой он пришел усталый в лоск и тотчас лег спать, встревожив до крайности Марину и своим молчанием, и опрокинутым лицом.

...Маленькие, тонко посвистывающие паровозики, полупустые вагоны, предвесенний, голубеющий лес и протяжный голос кондуктора, проходящего по вагону: «До станции Озерки прошу билеты!» — все это пронеслось, как сон. А твердо, с холодной, змеиной ясностью стояла только одна дума: «Гапон — Иуда. Что делать?»

— Станция Озерки, одна минута! — прокричал кондуктор.

Инженер поднялся, и двое незнакомых мужчин поднялись, пошли за инженером к выходу. Старостин трудно зашагал за ними. Ноги отяжелели, точно ввинчивались в пол. Колеса вагонов старательно прыгали на стыках рельсов, на стрелках. Подползла бурая деревянная станция. Мужчины — двое — сделали вид: они незнакомы с инженером и Старостиным, пошли вправо. Инженер и Старостин зашагали в вокзал, прямо

из вокзала в улицы, ходили долго, обгибая кварталы по два раза. Мартовский снег лежал грязными островами, — во многих местах земля уже освободилась, ели и сосны шумели гулко в весеннем ветре. И теплом веяло с моря. Лишь Старостин ежился, будто колющий мороз дул ему в спину.

Инженер, скупой на слова, сказал:

— Здесь.

Они перешли по мостику через канавку к воротам, к калитке, прошли двором к двухэтажной даче с широкой террасой. Снег еще лежал у крыльца. В окне верхнего этажа мелькнуло бородатое лицо. Инженер вынул из кармана ключ, отворил парадную дверь, и по скрипучей лестнице они поднялись на второй этаж. В просторной комнате ждали двое рабочих. Один, сидевший у окна (лицо его в тени трудно было разобрать в первое мгновение), воскликнул:

— Здорово, товарищ! И ты здесь?

Он поднялся, протянул руку. Старостин узнал: это Скворцов, путиловец, он с ним ездил на санях вслед за Гапоном от Нарвского района до Выборгского, — охраняли батюшку от нападения полицейских.

— И я здесь, — тихо ответил Старостин.

По лестнице застучали еще шаги, — вошли те двое, что ехали в вагоне.

— Ну вот, все полностью, — сказал инженер.

— Шшшш, — воскликнул один, глядевший в окно, — дворник пришел. Не подходите к окнам.

Инженер нахмурился:

— Не во-время чорт его принес. Как же быть? Скоро придет Гапон.

— Придется мне пойти с ним в пивную.

— Иди, вот деньги.

Рабочий накинул пальто и вышел. Инженер встал у окна, время от времени заглядывал вниз. Потом прошептал:

— Пошли.

Было слышать, как хлопнула калитка. Инженер сказал:

— Товарищи, я вас посажу в эту маленькую комнату и попрошу, чтобы ни кашля, никакого шума не было. Иначе все пропало.

— Ладно, знаем. Скоро он будет здесь?

— Он придет в пять. Не знаю, как быть с дворником. Придется подождать.

— Что ж,—откликнулся Скворцов,— подождем — не под дождем.

И улыбнулся скупой, одной щекой.

Все расселись молча — на диване, стульях. Скоро внизу затопали шаги, вошел рабочий с двумя бутылками пива.

— Дворник ушел домой. Я дал ему бутылку.

Инженер сказал ему:

— Ты останься на черной лестнице, запрись. Если дворник придет, ты опять уведи его.

Он вынул часы, посмотрел.

— Пора. Итак, товарищи, переходите в комнату, я вас запру.

Трое рабочих и Старостин вошли в маленькую комнату. Инженер сам затворил за ними дверь, запер ее висячим замком, и уже из-за двери крикнул:

— До свидания! Смотрите же, без звука.

Старостин сел в углу у окна. Из окна виднелась соседняя дача, еще вся в снегу, за дачей темный лес. Сосны лениво качали ветвями под ветром, грач сидел на качающейся вершине, раскрывал крылья, чтобы не упасть.

Скворцов подошел к Старостину, спросил выразительно:

— Ты веришь?

— Нет, — твердо ответил Старостин.

— Я тоже плохо верю. Ну, а если... правда?

Старостин пожал плечами:

— Что ж, тогда разговор короткий.

— Я тоже думаю... один есть грех, за который надо убивать на месте, — предательство.

Они говорили полушопотом. Но слова четко печатались. Третий рабочий — русая борода — молча слушал. Потом сказал тихо, будто раздумывая:

— Да, за предательство нет прощения. Только верно ли? Трудно поверить. Нас вел под пули и сам шел.

— Фише, товарищи, кажется, идут.

Все прислушались.

— Нет, это шумит ветер. Им еще рано.

Время шло томительно. Лихорадка била Старостина. Сердце то сжималось, то колотилось неистово. За окном посветлело, — сосны покраснели, выглянуло вечернее солнышко. Потом краски

стали медленно потухать, — сосны пожелтели, в комнате стало сумеречно.

— Долго что-то.

— Придет ли?

— Придет. Ему обещана крупная сумма, если соблазнит инженера в провокаторы. Самому инженеру обещает двадцать пять тысяч.

— Ишь, кровь-то наша... ценится.

— Никак калитка хлопнула?

— Идут!

Далеко внизу загремел ключ в замке, скрипнула дверь, застучали шаги, — шли двое. Старостин осторожно приложил левую руку к сердцу, — хотел остановить, чтобы не билось оно так неистово.

— А у тебя здесь просторно! — сказал звучный голос за стеной.

Старостин открыл рот, вздохнул глубоко, он задыхался: он узнал голос Гапона.

— Я сниму шубу.

— Снимай (голос инженера).

— Фу, как жарко. Ну, так как? Надо нам кончать. И чего ты ломаешься? Двадцать пять тысяч — большие деньги.

«А-а-а! Так это верно?» — и глаза, и рот Старостина открылись кругло. Голос инженера зазвучал громче, — в нем было некое торжество:

— Ты ведь говорил мне в Москве, что Рачковский даст сто тысяч.

«Рачковский? Начальник полиции?»

— Я тебе этого не говорил... Это недоразумение. Я говорил, что он предлагает хорошие деньги. Ты напрасно не решаешься. И это только за одно дело. Но можешь заработать и сто тысяч, за четыре дела.

«Кончено! Правда!» — Старостин почувствовал, как все его тело мгновенно наполнилось злобой. Он оглянулся. «Чего же сидеть? Надо итти!..» Но оба других сидели неподвижно, настороженно, с круглыми, огромными глазами. Сиди, слушай, жарься.

— А если я все расскажу, а Рачковский денег не даст, — уныло проговорил инженер.

— Он не надует, — заверил Гапон. — Он безусловно порядочный человек. Завтра вечером в ресторане у Кюба. Заплатит даже с благодарностью, как только убедится, что дело серьезное.

— Главное, люди погибнут, — вздохнул инженер.

— Сделаем так, что они скроются.

— Как сделаешь? Их всех повесят.

— Устроим побег, — живо сказал Гапон.

— Часть убежит, а остальных все-таки повесят.

Голоса жутко замолчали.

«Иуда! Что скажешь?»

— Жаль, — откликнулся Гапон, — но ничего не поделаешь. Посылал же ты Каляева на виселицу...

Голос инженера сказал громко:

— Да. Ну, ладно. Ничего не поделаешь.

Старостин бесшумно привалился головой к стене, — силы оставили его: крути струну, но не перекручивай. Он слышал голоса глухо, точно из-под воды. Он плохо разбирал. Лишь отдельные фразы падали раскаленно:

— Пусть докажут. Документов нет.

— А если рабочие узнают про твои сношения с Рачковским?

— Ничего не узнают. А если бы узнали, я скажу, что сносился для их же пользы

— А если бы узнали, что ты меня назвал Рачковскому, выдал, взялся меня соблазнить в провокаторы, взялся узнать через меня и выдать боевую организацию, что ты написал покаянное письмо царю.

— Никто этого не узнает и узнать не могут.

— А если я опубликую это все?

— ...Я начатаю в газетах, что ты сумасшедший. Ни доказательств, ни свидетелей у тебя нет...

Старостин качнулся: «Есть, есть свидетели!» — хотелось ему крикнуть. Все трое теперь переглядывались. Ого, какие были глаза! Старостин сцепил зубы. «Скоро ли?»

— Где клозет? (это спросил Гапон).

— Внизу, иди, покажу, — нехотя ответил инженер.

Шаги застучали мимо двери по лестнице вниз. Старостин поднялся со стула, — огромный столбик, — прошипел:

— Что ж... он... нас... держит? Довольно!

Двое на него замахали руками.

— Молчи.

Вдруг на лестнице и на террасе на-

чалась беготня. Все трое — запертые — вскочили на ноги, слушали. Крадущиеся шаги прошаркали мимо двери. Потом кто-то прыгнул, и голос Гапона прошипел:

— Он там!

Твердые шаги инженера простучали за тонкой стеной. Гапон крикнул:

— А-а! У него револьвер! Его надо убить!

Замок на двери громыхнул, дверь распахнулась, инженер крикнул:

— Вот мои свидетели!

Старостин, уже безумный, взвыл: «а-а-а-а!», прыгнул из двери раз, другой, вцепился обеими руками в плечо черноволосого человека в пиджаке, постриженного в кружок. И еще руки вцепились в него. Чья-то рука схватила даже за волосы.

— Мартын! — истошно, в ужасе крикнул Гапон.

Безумными глазами он поглядел в одно лицо, в другое. Он узнал Скворцова, узнал Старостина... и сразу ослаб, повис на их руках, забормотал жалобно:

— Товарищи! Дорогие товарищи! Не надо!

— Мы тебе не товарищи. Иуда! Молчи! — сквозь зубы пробормотал Старостин. — Давайте веревку. Крути ему ноги. А-а, собака! Предавать? Крути крепче.

— Товарищи! Все, что вы слышали сейчас, неправда! Старостин! Старостин! Я тебя помню! Мы вместе шли девятого января. Кровь пролилась...

Он поднял голос до крика. Старостин своей огромной ладонью зажал ему рот.

— Молчи, подлец! Ты осквернил эту кровь.

Он легко поднял его от пола, держал на весу, словно нянька держала малого ребенка.

Инженер побежал из комнаты по лестнице вниз.

Старостин то высоко поднимал Гапона, то опускал до пола, а другие рабочие связывали Гапону руки и ноги. Гапон бился все слабее, слабее.

— Тащите его туда! — крикнул Скворцов и показал на маленькую комнату.

Старостин поднял Гапона, легко понес его в маленькую комнату.

Он согнул его, посадил на стул. Русский рабочий что-то читал по бумажке, захлебываясь и торопясь. Он угрюмо выкрикнул:

— К смерти!

Старостин одной рукой накинул жесткую петлю Гапону на шею, другой вдавливал его в стул, не давая Гапону шевельнуться. Кто-то потащил веревку, — он обеими руками, точно большую куклу, поднял Гапона. Гапон заскулил, захлебываясь...

Старостин придерживал его руками, тянул вниз. Русский всхлипнул, выбежал из комнаты. Гапоновы страшные глаза побелели. Старостин отвернул лицо в сторону, чтобы не видеть. Он только чувствовал, как под его руками все слабее бьется гапоново тело. Вот еще судорога, резкая. Два рабочих и Старостин за ними пошли из маленькой комнаты в большую. И здесь остановились. Слушали напряженно и молча. Гапон все еще бился еле слышно в петле. Его ноги слабо стучали о стену. Потом стук прекратился. И было слышно, как за окном шумит ветер.

— Сказать надо... инженеру, — спокойно, громко проговорил Старостин.

Кто-то пошел вниз, гулко застучал ногами по лестнице.

Через минуту пришел инженер, и даже в сумерках было видно: глаза у него вытаращены.

— Готов? — шопотом спросил он.

— Готов.

Инженер подошел к двери и тотчас отпрянул назад.

— Развяжите его. Обыщите, — трепетным голосом попросил он.

Старостин вдруг почувствовал необычайную слабость во всем теле, пьяно качаясь, он подошел к дивану, где лежала гапонова шуба, и почти упал на шубу. Кто-то потянул из-под него шубу. Старостин встрепенулся. Над ним стоял Скворцов.

— Дай-ка его одежду. Мы его закутаем.

Старостин вскочил. Скворцов понес шубу в маленькую комнату.

— Товарищи, уходите отсюда вдвое.

Это сказал инженер. И голос у него был прежний — властный, холодный. Старостин опять опустился на диван. По лестнице затопали шаги. Далеко хлопала калитка. И вот только один инженер сидел возле Старостина, неясный в сумерках. Наконец он сказал:

— Пойдемте и мы, товарищ Старостин.

Он тронул его за плечо. Старостин отодвинулся от него, встал.

— Идемте же! — настойчиво повторил инженер.

Старостин отвернулся: ему было страшно взглянуть туда, в раскрытую дверь, где в темноте он ясно представлял висящего Гапона. Уж не было ни сил, ни злобы.

— И-дем-те, — с трудом сказал он.

Они, двое, в темноте касаясь плечами, спустились по лестнице.

— Закройте дверь, — сказал инженер.

Старостин затворил плотно дверь, повернул ключ, вынул его из замка. И так, с ключом в руке, пошел через двор за инженером. Потом пустой улицей в сумерках прочь от дачи. На улицах уже зажглись редкие фонари. Прохожие — их было немного — шли медленно, и не разобрать было их лиц. Старостин догнал инженера, протянул ему ключ:

— Возьмите.

Инженер покачал головой.

— Не надо. Я никогда не вернусь туда.

Старостин посмотрел на ключ, потом посмотрел кругом. В ближней канаве бежала весенняя мутная вода. Старостин размахнулся, бросил ключ в канаву. Вода тихо булькнула.

Краснозвездцы

ВАСИЛИЙ СЕМЬЯКИН

Дул ветер
Холодный и росный.
Прожектором падал рассвет.

По скатам
На желтые сосны
Скользил металлический свет.

Сквозь заросли
Полз бронепоезд.
Где порохом ветер пропах,
С рассветом готовился к бою
Отряд краснозвездых папах.

Винтовки ложились на плечи.
Привал потревожен был наш.
Но взглядом спокойным
Отмечен
Набитый свинцом патронташ.

Копытат испуганно кони,
Подковами рубят пырей.
И взвыли
Под крыльями брони
Чугунные рты батарей.

Снаряды взрывались.
И долго
Степной раздирали покой.

Ни Каспий, ни древняя Волга
Грозы не забудет такой.

Как молния сабли метались,
За черепом череп кроя.
На гибельном гибком металле
Кровавая стыла струя.

Надвинулся сумрак,
И жуткий
Разгул кавалерии смолк.
На пятые, жаркие сутки
Дроздовский мы выбили полк.

Измучен и кровью подмочен,
Братишка папаху склонил.
Он смуглые руки рабочих
Припомнил у черных горнил.

Он многое вспомнить желал бы
Встревоженной памятью всей:
Любимой прощальные жалобы,
Горячие речи друзей.

Но памяти пламень потушен...
Без скрипа полозьев и шин
Качались разбитые туши
Чудовищных бронемашин.
1930.

Экспедиция

ВЛАДИМИР ЛЮБИЧ

Оленьими следами шли полозья,
Иголкой седины что настом лица кроя,
А шубы — колтуном, а руки — синь-
кой.

Есть разгуляться где бобру с лисицей.
Шли люди, падая, буранной пылью,
Не чуя щек в ушанке эскимосьей,
В больших пимах, у ног не чуя паль-
цев,

Не зная отдыха и сна, не помня,
Что есть тепло домашнее, что ужин
На круглый стол хозяйкою поставлен.

От белой скатерти вокруг, от скрипа
Шагов несломленных еще, но грузных,
От белого безмолвия, от стужи,
И от отчаяния упорных суток,
Все лишь бы не упасть, все лишь бы
длиться

Как единица времени, не лечь
Как шкурка выветренная на опушке,
Как лот в недвижимом воздухе не сты-
нуть,

Не греть живот сухим и рыхлым снегом,
В густую кровь губами не впиваться,
Не отдавать дыхания ветрам, полю,
Безмолвной стуже, исполинским кедром.
Не отдавать им дней, часов, минут,
Бороться... Но пимы вдруг пухнуть
стали,

И шириться снега, и приближаться...
И колко в ухо вбившаяся льдинка
Заставила опомниться и взрогнуть,
Напрячь себя, заплакать, вскрикнуть,
вскинуть.

Глаза обледенелые, не веря,
Дыхание прерывая, лопоча
По-эскимосски, пальцы согревая,
Стуча пимами, падая, вставая,
И не дыша, и глядя изумленно,
И обретая время и пространство,
Не грозное уже, не роковое,
И ощущая голод, жажду, радость...

На горизонте близился Чухновский.



ЛЮДИ И ФАКТЫ

1. ИВ. КАТАЕВ. — Тихий омут. 2. МАРК ЭГАРТ. — Павла из Чулышманской долины
3. БОРИС ПИЛЬ. ЯК. — черки.

1. ТИХИЙ ОМУТ

Ив. Катаев

I

Продолговатые белые домики с частыми, как у вагонов, окнами. Ставни, подоконники, двери выкрашены небесно-голубой масляной краской. Вдоль стен куртины и клумбы, затейливо обрамленные черепицей; дорожки посыпаны желтым песком, все подметено до последней соринки, нигде ничего не валяется без надобности, всякий обиходный предмет, видимо, имеет свое место. Просторный двор прямо-таки пылает чистотой и порядком.

Если посетитель пожелает осмотреть земледельческие службы, его будет сопровождать заведующий хозяйством, пожилой, спокойный человек с неторопливой походкой. Удлиненное лицо его заострено темной бородой, нос тонкий и прямой, серьезные, печальные глаза часто опущены долу. Он будет молчаливо следовать сзади, жестом показывая направление, растворит ворота конюшни и сараев, покажет паровую молотилку, трактор «интернационал», небольшую мельницу об одном жернове. В конюшне десятка полтора сытых, лоснящихся лошадей; молотилка и трактор — как новенькие, — вычищены, смазаны, прикрыты от непогоды; под навесом немолочно журчит триер, отсыпая ровное, золотое зерно. Повсюду изобилие, налаженность, своевременность, не нуждающиеся в пояснениях, да сопровождающий и не тратится на них; тихим голосом он дает лишь краткие, самые

необходимые ответы на прямые вопросы. Покончив с осмотром, он незаметно отойдет в сторону, — без улыбки, без тени угодливости, — скромно и грустно, как всегда.

Если же захочет посетитель пройти в жилые помещения и мастерские, возле него вдруг обнаружится сухонькая женщина в белом платочке, с поджатыми губами. Она поклонится, — ниже, чем кланяются обычно, хотя и не слишком, — вмиг окинет незнакомого желтыми круглыми глазами и попытается даже улыбнуться своим тонким ртом, но это не выйдет. В ее словах и движениях — доля заученной приветливости, частица предрешенного радушия, даже намек на чистосердечие. Быстрыми хозяйственными шажками побегит она впереди гостя, распахнет все двери, покажет всё, всё, досконально, без утайки, проведет даже в чистую липовую баньку, — во все глубины бело-голубых домиков.

— Пожалуйте, пожалуйста, вот как у нас.

В пошивочной мастерской — ряды машинок, нескладных, с деревянными частями, времен бурской войны. Швей при входе посетителя не прерывают работы, только кидают взгляд, вертя ручку: те, что постарше, — строго, молодые — с насмешливым любопытством. Тепло, чисто, светло. В углу, в белых занавесках икона, на стенах картинки и портреты из старых журналов, но сильнее всего останавливает внимание портрет, писанный масляными красками.

Плоско и тускло, кистью несмелой, но верной изображена женщина старинной красоты, белолицая, чернобровая, в простом темном платье; задумчиво смотрит она, сидя в кресле, и в руках, на коленях, маленькая книжка, — должно быть, псалтирь или молитвенник.

— Кто это?

— Да так... Одной нашей швеи покойная тетенька.

В сапожной и столярной у верстаков мастера, розовощекие старички и кудрявые парни, одинаково опрятные и благообразные. Чтобы окончательно походить на кого-то (на кого?), им недостает лишь ремешков вокруг головы, поддерживающих волосы. Иконки тут, в углах, совсем маленькие, черные. В сапожной на стене даже неожиданный плакат, представляющий в ступеньках, кубиках и цитатах систему партийного просвещения. Тем не менее впечатление чего-то старорусского, давно невиданного, а здесь свято соблюдаемого все крепнет и крепнет по мере осмотра здешнего обзаведения. Лесков, Мельников-Печерский, Горький?..

Все разрешается при входе в комнаты жилого дома, и все раскрывает запах — самый тонкий властитель ощущений, водитель разветвленнейших ассоциаций, чудесный союзник памяти. Еще раньше, чем назовешь запах этих комнат по принадлежности его, он — сладкий, дымный, тленный — в одно мгновение вызывает образ сходной обстановки: монастырь, кельи.

Слабо и забвенно веет росным ладаном. Быть может, им не курили здесь полгода, но «отзвук» его аромата стоит в воздухе, им дышат стены и вещи. И все вещи и стены приобретают от него особое несомненное значение, в сочетании с ним внятно говорят о себе.

Крашенные полы в этих комнатках зеркально светлы, туманно и зыбко отражают в себе ножки стульев, железные кровати, красный лак комодов. Воздушные занавески на окнах перехвачены розовыми лентами. Повсюду множество снежно-белых покрывал, кисей, вязаных скатерток и — высшая мечта женского, мещанского благолепия — бумажные цветы. Цветы в вазочках, гирляндами на стенах, рамками вокруг портретиков и икон. Иконы здесь уже

господствуют над всей обстановкой; они лишены металлических окладов, — не старинные, свежего аляповатого письма, но — широки, громоздки, занимают весь угол в каждой комнатке. И, видимо, еще значительней, чем иконы, — потому что обильней, — портреты злого и чопорного старика в протоиерейском облачении: маслом, фотографии, вырезки из журналов, во весь рост, по пояс и даже в гробу, чаще всего в гробу. Под некоторыми — подпись: отец Иоанн Кронштадтский.

В этот дневной час комнаты почти пусты; только в некоторых при входе посетителя из-за пяльцев или прялки встанет женщина в белом платочке, поклонится и снова сядет, опустив голову; да из-за двери иногда выглянет любопытствующее женское лицо и — исчезнет. В доме тихо, как в кельях, только изредка донесется шопот или шорох; во всем неподвижность, покой, благоухание и — чистота, херувимская, венчальная, смертная.

Это — общежитие... нет, не коммуны, — это слово здесь не употребляется ни в разговорах, ни в штампелях бланков, — общежитие «Трудового производственного сельскохозяйственного объединения «Живой колос»; так значится в уставе.

2

По внешним организационным признакам «Живой колос» — высшая форма сельскохозяйственного коллектива. Здесь обобществлено все. за исключением разве белья и одежды, хотя и белье, и одежда, и обувь не приобретаются каждым членом объединения на стороне, а шьются в мастерских и выдаются бесплатно в определенные сроки. Питание — общее, совместное. Денежного вознаграждения не существует; никто из членов ни копейки на руки не получает; собираются, правда, в ближайшем будущем выплачивать по два рубля в месяц — всем поровну, но это еще в проекте. Имеется правление, устав, тщательная бухгалтерия, отчетность. Словом, самый строгий колхозный инструктор, ознакомившись с порядком «Живого колоса», должен был бы признать его коммуной. И даже... сверхкоммуной, чересчур коммуной. Пол-

ное равенство, никакой сдельщины, все «по потребностям»... Но вот в этом — то «чересчур» и все дело, оно и выдает. «Идеальное» хозяйственное построение «Живого колоса» таит в себе совсем иную общественную субстанцию. Коммунальная скорлупа вызрела на странном, чуждом ей ядре. Об этом здесь не говорят при посторонних, но это все же не составляет секрета: «Живой колос» — не коммуна, а религиозная секта, секта иоаннитов, последователей кронштадтского святителя Иоанна, основоположника одного из самых растленных и юродских течений русского христианства.

Протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, прославленный холуй самодержавия, предтеча Григория Распутина, вдохновенный лжец и неистовый фанатик, после свершения литургии каждый раз сменявший насквозь пропотевшее белье и одежду, он — отец Иоанн Сергиев — на протяжении десятилетий был олицетворением и средоточием всей мракобесно-кликушеской мерзости казенного православия. Окруженный многотысячными толпами богомольцев, исповедальников, причастников, стекавшихся к нему со всех концов России, обласканный придворными прихлебателями, полоумными княгинями и генеральшами, поощряемый святейшим синодом, он гремел черносотенными проповедями, творил копеечную милость, исцелял от колик в животе, от нарывов подмышками и даже от неврастности. Это он напутствовал на смертном одре императора Александра III, удостоившись августейшего комплимента: «Тебя народ любит, потому что знает, кто ты и что ты для него» — на что раболепно ответил: «Да, твой народ любит меня». Он же восторженной проповедью приветствовал коронацию Николая и в дальнейшем со слезами умиления благословлял с амвона казни, погромы и карательные экспедиции последнего царствования.

Подхваченная монархическими газетами, в 1905 году всю империю облетела его знаменитая проповедь, посвященная кровавым расправам с революцией. Отец Иоанн напомнил тогда библейскую историю о возмущении в стане израильском во дни восхождения

Моисея на гору Синай и красноречиво изложил методы карательной политики ветхозаветного пророка:

«Как самодержец, вождь и царь, он призвал к себе сынов правды и сказал им:

— Так говорит господь: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратнo и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего революционера.

И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 30 тысяч человек революционеров».

«Вот, — заключил протоиерей, — как святые подавляли в народе революцию и тем спасали народ свой от нравственного разложения. И это было угодно богу. После сорока дней все пришло в обычный порядок. Что это, как не поучительный пример в истории человечества для нашего нечестивого времени и разнузданной русской революции?»

Иоанн Сергиев умер 79-летним стариком в 1908 году, самом гнилом и черном году реакции. Похороны его были совершены с подобающей пышностью, у гроба произошло положенное количество чудес. Но православная церковь поостереглась канонизировать его в качестве официального святого, потому что движение приверженцев кронштадтского пастыря опасно разрасталось и еще при жизни его оформилось в секту, объявившую первоучителя Иисусом христом. Характерно, что сам Иоанн, трюся перед синодом и отнюдь не желая превращаться в крамольника, много раз отрекался от своих последователей, разоблачал и клеймил их ересь. Но эти отречения, как ни вредили они секте, все же не остановили ее роста. Предводительствуемая «богородицей» Порфирией, — в миру Матрeной Ивановной Киселевой, «раскаявшейся блудницей и грешницей», а попросту разбогатевшей проституткой, секта ушла в подполье, исподтишка проповедуя, по слову Иоанна, избавление от «гордости, любостяжания, злобы, пьянства, блуда и нечистоты ветхого человека», а на деле — погрузившись в замысловатый разврат и на свой лад

облегчая карманы меньших сестриц и братьев.

Иоанниты никогда не пользовались такой популярностью, как старинные секты баптистов, молокан, или духоборов, но все же прочно закрепились в некоторых районах, особенно на южных окраинах страны. Здесь они и вынырнули после революции на поверхность жизни, учредив несколько общин и «трудовых объединений».

3

В «Живом колесе» наблюдаются безбрачие и вегетарианство. На полтора человека только четверо курящих. Прочие грешные мирские страсти также не в ходу. Недавно один парень вздумал записаться в комсомол; тотчас же произошло нечто в роде схватки под водой, когда на поверхность выскакивают только одни пузыри, и чья-то рука снова утонула парня на дно; он взял свое заявление обратно. На все объединение имеется только один коммунист, и это — председатель правления, несколько месяцев назад посланный на завоевание «Живого колоса» партийной организацией. У него только один верный помощник — заместитель председателя, демобилизованный краском, недавно вернувшийся с действительной. Если знакомство с военной стратегией пошло ему впрок, то он сможет найти применение своим познаниям и на нынешнем поприще: новым силам в «Живом колесе» предстоит развертывать смелое наступление. Кстати, и сам председатель имеет военную закалку — все годы гражданской пробыл в Красной армии, а потом был одним из организаторов коммуны «Красноармеец» в соседней станице. Оба новых работника представляют собой штаб революционного вмешательства на этой вражеской территории, но штаб, лишенный армии. Эти двое пока одиноки. Им еще нужно формировать свои части.

Местопребывание штаба — чистенькая контора объединения. Те же невинно-голубые подоконники, но на стене — некоторый новый знак — большой портрет Рыкова в отличной дубовой раме. Слияние двух тенденций: если уж вешать портрет предсовнаркома, так не приляпать к стенке хлебным мякишем, как в

иных станичных учреждениях, а обратиться со всей свойственной «Живому колосу» добротностью.

Зампред подолгу просиживает в конторе; на его обязанности — бухгалтерия, переписка, повседневное хозяйственное руководство. К нему то и дело навевается молчаливый завхоз, — почтительно выстывает у стены, потупившись, и беспрекословно выслушивает распоряжения. Забегает заведующая мастерскими, сухонькая и остренькая, с отчетной тетрадкой, где карандашными каракулями записывается дневная продукция: «Мужских сорочек — 5, женских лифчиков — 8, панталон — 3». На гвоздике висит донашиваемая зампредова шинель с остроугольными обшлагами. Наружностью своей и повадкой он не нарушает общего стиля; очень вежлив, подтянут, опрятен; у него красивое продолговатое лицо с низким лбом, на котором мысиком начинаются гладко причесанные светлые волосы.

Зато совсем чужаком выглядит председатель, — вз'ерошенный, скуластый, курносый, в крылатом галифе, в кавказской рубаше с высоким воротом, подпоясанной наборным ремешком. Таких много в стансоветах, в колхозсоюзах, а здесь он — точно сквозняк, прорвавшийся из мерзлых, неуютных кабинетов райкома в эти тихие, душные, теплые комнатки. И как сквозняк, он неуловим, бысролетен. В контору приходит не надолго, да и не каждый день. У него, кроме «Живого колоса», десяток других нагрузок, его часто отрывают в командировки, в последнее время он целыми днями пропадает на обследовании элеватора Союзхлеба.

В дни, которые председатель посвящает своим прямым обязанностям и проводит в конторе, он награждается скромным удовольствием. В обеденный час растворяется дверь, и все та же остренькая провозглашает на пороге:

— Пожалуйста кушать.

Председатель с помощником идут в столовую. По обилию убранных кисею икон, маленьких картинок, гляненько и постно изображающих какieto лавры и рошцы, это помещение скорее заслуживает названия трапезной. Даже неведомо откуда взявшаяся карта западного полушария благодаря

спокойной синеве океанов не выбивается из тона. Голубое здесь обожают.

Начальство садится за стол, покрытый белоснежной, хрусткой от крахмала скатертью. Несколько женщин бесшумно шмыгают взад и вперед: сухонькая подает свернутые треугольником тугие салфетки, на которые председатель всегда косится с недоумением; другая приносит фаянсовую миску с борщом; третья тоненькими ломтиками режет хлеб. Хлеб, испеченный особым способом, с примесью ячменя, на редкость ароматен и мягок. Борщ, к которому и не подносили близко мяса, с грибами и сметаной, — прямо обедень. Завершающий все молочный киселек — верх нежности и сладости. Во всем ощущается заботливая рука, умренная чьими-то многовековыми кухонными традициями, остерегающаяся хоть чем-нибудь огорчить брэнную утробу, творящая в чистоте и с молитвой.

Двое с деловитым выражением на лицах уписывают за обе щеки.

— Кушайте, кушайте, — витает вокруг них свистящий шепоток. Сухонькая подливает, подкладывает. Обедящие не заставляют себя упрашивать.

Зрелище это странно и редко, если вспомнить, что здесь враги угощают врагов.

4

У объединения громадное хозяйство, разбросанное в нескольких пунктах. Контора, мастерские — на окраине крупной станицы, являющейся районным центром. В восьми километрах — хутор и ферма, где сосредоточены все земледелие и животноводство. Неподалеку от хутора — большой фруктовый сад. И наконец под самым Краснодаром — другая ферма, снабжающая город молоком; скот там находится только по зимам, а летом, когда молоко дешевет, вывозится по железной дороге на основную базу, где вольготней с кормами; система сложная и умная, заслуживающая подражания в других пригородных хозяйствах.

По просьбе приезжего корреспондента столичной газеты председатель едет с ним на хутор. Журналист везет с собою фотографический аппарат. Председателю все время неловко: замотав-

шись с другими делами, он не был на хуторе больше месяца, спутник же все пристает с расспросами.

— А вот увидите, — загадочно уклоняется председатель.

Хмурый, ветренный день, бесснежная степь тускла и печальна. Гладкая дорога, миновав тесно сбившиеся строения хутора, перемахивает по мостику через камыши и серый ледок Сасыки.

— Сначала на ферму.

Здесь их встречают толстенный зоотехник, с наружностью пивного бюргера, и восемнадцать молодых скотниц, — все как одна кирпично румяные, ражие, в грубых, испачканных навозом высоких сапогах. Растворяются ворота длинного саманного коровника, и померкнувшему зрению предстает теряющаяся в сумраке перспектива: по обе стороны среднего прохода две коричневых, теплеющих гладкой шерстью ленты коровьих спин. Изогнув темные хребты, животные тихо лежат мордами к непрерывной череде датских кормушек, жуют жвачку, дышат, слабо поводя боками. В их однородности и симметрии расположения та же красота, что и в точной одновременности движений четырехугольного строя сокольских гимнастов. Здесь сплошь — чистопородный красно-немецкий скот. Тут же два быка-производителя, — Витязь и Абрикос, — сын и племянник всесоюзной лауреатки, могучие, как бы отлитые из бронзы, с короткой широколобой мордой, с мученическими, налитыми кровью глазками. Для молодняка имеется особое отапливаемое помещение; отдельно стоят бычки.

Журналист хочет запечатлеть все это благоустройство на снимке, но вряд ли что-нибудь выйдет: в коровнике темно. Зоотехник ведет их в свою маленькую комнату. На столе — богатый ламповый радиоприемник, единственный друг его холостого одиночества, и рядом — племенная книга фермы, толстая, как фамильная библия. Записи ведутся с бухгалтерским изяществом. Живой вес всего скота измерен, кормление индивидуализировано для каждого экземпляра, ведется по часам и по нормам. Ферма имеет краевое значение, как лучший племенной питомник; она снабжает породистым молодняком совхозы и кол-

хозы края; зоотехник прислан сюда из округа и получает жалованье от земельного управления. Он рассказывает обо всем этом скуповато, не хвалится, даже с оттенком угрюмости, но видно, что для него ничего в мире нет, кроме этого скотного двора, и вся жизнь его слилась с ленивым существованием коров и бычков; журналисту сдается, что и сам зоотехник — все той же красно-немецкой породы; по крайней мере такого его внешность.

Все хозяйство «Живого колоса» наклонено в сторону животноводства: зерновое полеводство уступает ему гектар за гектаром. Развивается травосеяние; почти исчезла толока, засеваемая, по немецкой системе, под выпас; две силосных полубашни забиты сотнями тонн свекловичной ботвы, кукурузного стебля.

Журналисту приходит в голову фантазия сфотографировать группу доярок, и он объявляет им об этом. Предложение встречено с явным удовольствием, — радостное движение, шопот, застенчивые смешки. Но скотницы — сектантки, они, кроме того, еще и женщины. Разве можно сниматься так — в сапогах, растрепанными, чумазыми?.. Журналисту, понятно, хочется для снимка сохранить все в производственной непосредственности, но его просьбу остаются в прежнем виде просто не могут взять в толк. Разве можно! Ведь на карточку снимают!.. В двух комнатках женского общежития поднимается веселая кутерьма: девицы переобуваются, меняя сапоги на ботинки, стайками выбегают в сени переодеваться, перед крохотным зеркальцем взбивают височки, появивают чистые передники. Перед аппаратом они выстраиваются похорошевшие, все в белых платочках. Журналист норовит разместить их так, чтобы объектив захватил и громоздкую икону в углу. Снимок будет эффектный.

В задней комнате на стене — портрет все той же круглолицой, задумчивой красавицы с молитвенником — точная копия первого.

Приезжие идут через Сасыку на хутор. Журналист размышляет насчет иронии судьбы: вегетарьянцам придется заниматься животноводством, ко-

торое, помимо основного — молочного — направления, неминуемо ведет и к скотобойне; проповедующие безбрачие — обслуживают оплодотворение, разменение, все, что неразлучно с племенным делом... Как живут эти восемнадцать румяных девок на скучной, затерянной в степи ферме? Исполненный вольных мыслей, он обращается к зоотехнику, шагающему рядом:

— Что же, эти скотницы ваши действительно соблюдают безбрачие?

Зоотехник медлит с ответом, шевелит губами.

— М-м... да нельзя сказать, чтобы без отклонений...

5

Подбор людей в «Живом колосе» странен своей однородностью; это особенно заметно на хуторе, где собрано много мужчин. Мужчины похожи друг на друга, как братья родные, и многие — будто сродни молчаливому завхозу. Более всего распространены здесь такие же сухие и строгие византийские лица с темными бородками: та же степенность, грустная неспешность в движениях. Фигуры в большинстве монашески удлиненные, хотя одежда обычная, «мирская» — рубахи, пиджаки, стеганые кацавейки. Есть и отклонения от нормы, но они только утверждают общий дух. Так, имеется распорядительный курносенький старичок с розовой плешью и черными зубами. Есть еще молодой, с лицом толстощеком, детским, обрамленным курчавой бородкой, с волосами, по-детски начесанными на лоб; он словно вышел из толстовского «Фальшивого купона», — этакий бутуз любви и смирения с чертами в душе.

Комнаты в хуторских общежитиях просторные, чистые, те же иконы и портреты кронштадтского пастыря, но здесь заметно поскромней, чем в станичных домиках, — нет того сияния и жасминной белизны.

Приезжающих угощают обедом — тем же душистым хлебом и борщом, сметаной первой свежести, горячим взваром из сухих фруктов — своего же сада. Пока председатель, журналист и зоотехник насыщаются, обитатели хутора наполняют комнату, окружают их коль-

цом, встав по стенкам, рассевшись на скамейках. Сами они уже отобедали и теперь молчаливо созерцают гостей. Толстощекий бутуз сидит на лежанке, подложив под себя кисти рук, смотрит ясно и зорко.

— Давненько не навещали нас, — хитро говорит курносый старичок, к малому смущению председателя.

— Все дела, дела, — буркает тот, едва не поперхнувшись.

Журналист уже успел обегать все хозяйство, побывал в свинарне, в овечьей закуте, всюду пощелкал аппаратом. Особых достижений он здесь не обнаружил, — свиньи и овцы немногочисленны, разношерстны, мелкий скот в «Живом колосе» — второстепенное дело, хотя и он содержится только для продажи. Вообще в объединении странно совмещены две хозяйственных тенденции, редко уживающиеся в земледельческой экономике: в производстве — ярко выраженная товарность, тяготение к широкому, краевому рынку сбыта, а в потреблении — сугубая натуральность, стремление покрыть все свои нужды собственными продуктами и изделиями. Вторая особенность таит в себе как бы осторожное недоверие к внешнему миру, — он-де все равно не снабдит, не обслужит; все самим добывать — это понадежней, да и подешевле; оттого сами и прядут, и ткут, и шьют, и тачают, и даже мелют, благо коллективная жизнь позволяет поставить все эти производства на широкую ногу.

Этим здесь гордятся:

— У нас все свое, никому не кладемся.

Толстощекий бутуз перед гостями ребячески задирает на пузе рубашку; под нею — мягонькая теплая фуфайка.

— Вишь, какая фуфайка. Наши женщины вяжут. Не хуже фабричного...

Обед подходит к концу, когда через двор, отбиваясь от налетевших со всех сторон собак, проходят новые посетители. Все смотрят на них через окошко. Трое в кубанках, с какими-то папками подмышкой. Вот они в комнате.

— Кто у вас здесь главный?

Председатель, отняв ото рта ложку, смотрит на них насмешливо, с любопытством.

— Да хотя бы я за главного. А вы кто будете?

— Мы из совета станицы Атаманской. Есть к вам дело особого значения.

Пришедшие исполнены горделивости, как послы великой державы. Именно поэтому председатель просит их посидеть и подождать, а сам неспешно доедает обед. Местные разглядывают новоприбывших, опасливо перешептываются между собою.

Наконец, аккуратно дожевав последний кусочек и облизнув ложку, председатель пересаживается на скамейку к атаманцам.

— Ну, выкладывайте свое особое дело, — говорит он попрежнему насмешливо и независимо.

Из слов пришедших выясняется, что в соседней станице Атаманской, на юрте которой расположена ферма «Живого колоса», проводится сплошная коллективизация, и по этой причине станичный совет желает забрать все объединение под свою руку, включив его в состав крупного колхоза. Так поступают в округе со всеми мелкими артелями и коммунами.

Спокойно выслушав все это, председатель усмехается:

— Так, так... Значит сватать пришли?

Но атаманцы никак не хотят сбиваться на шутку и потерять сердитое свое достоинство. Самый молодой из них и, видимо, старший по званию сухо заявляет, что вопрос уже решен, состоялось постановление стансовета, и теперь нужно только устроить собрание членов объединения, чтобы и они присоединились к решению.

Председатель соболезнующе причмокивает:

— А ведь не пройдет у вас этот номер, дорогие товарищи.

Атаманцы неприятно озадачены.

— То-есть это как же не пройдет?

— А так, что у нас и побогаче вас сваты найдутся.

Те решительно хмурятся.

— Ты вот что, товарищ, оставь свои излишние шутки, мы за делом пришли. Говори толком свое особое мнение.

— Вот вы какие серьезные! — удивляется председатель. — А я думал, вы только посмеяться пришли для первого

знакомства. Ну, ладно. Уж раз вы такие серьезные, то и поймите, что сорсем несуразное дело придумали.

Оборвав на этом радовавшую его игру, он быстро раз'ясняет положение вещей. «Живой колос» не может подчиняться атаманскому стансовету. Хозяйство его разбросано в четырех различных юртах, и за ним благодаря племенному питомнику признано краевое значение. Его дальнейшая судьба будет решаться районными органами, а может быть, и выше. Во всяком случае сейчас, без ведома райкома и рика, ничего предпринимать нельзя.

— Мы люди покорные,— заканчивает он, опять усмехнувшись.—Куда нас припишут, там и будем. Только приписывать-то не вам придется, дорогие товарищи. Ясно?

Но тут неожиданно вмешивается третья сторона. До этого момента находившиеся в комнате хуторяне слушали весь разговор безмолвно и с видимой симпатией председателю, с довольными улыбками: ишь, как он отваживает незваных гостей. И вдруг при последних словах курносенький старичок, тихо сидевший на подоконнике, сильно взволнованный и даже заерзав, обращается к председателю:

— Позвольте-с! Вот я слушаю вас и как-то не пойму. Вы говорите: куда припишут. А если мы никуда не захотим?.. Это что же такое выходит: разделиша ризы моя?.. Да мы как жили до сих пор, так и будем жить!..

Похоже, что священные чувства производителя ценностей оскорблены в нем. Выходит, что их и не спрашивают, а куда-то тащат, к чему-то приписывают, решают за их спиной!..

Тут уж черед нахмуриться председателю. Он прерывает старичка, говорит резко:

— Это совсем вредный разговор. Вы разве не знаете, что кругом сплошная коллективизация идет, строится крупное хозяйство? Не можете и вы оставаться в стороне. Раз власть проводит, надо подчиняться. Понятно, без вашего ведома ничего не изменится. Вместе обсудим и решим, при ком нам быть. — И, обратившись к атаманцам:— Вопрос исчерпан, товарищи. Ждите решения райис-

полкома. Больше нам с вами говорить не о чем.

Атаманцы понимают, что тут наскочила коса на камень,— они не ожидали встретить на хуторе председателя и намеревались самочинно устроить собрание, чтобы провести свое постановление. Однако им не хочется признать себя побежденными.

— Мы и сами запросим рик,— грозно обещает их предводитель.—Все равно вам не отвертеться,— ферма будет наша.

— А вот увидим.

Они важно удаляются, провожаемые во дворе собачьим яростным лаем. Вслед за ними собираются во-свояси и председатель с журналистом. Лошади ждут у крыльца.

Стоя возле тачанки, одна из женщин, ведающая домовым хозяйством, напутствует председателя деловыми поручениями. Шкаф для хуторской аптечки давно заказан столярной мастерской, надо поторопить. Постельного белья нехватка. А вот по этой записочке для одного старика получить очки, какие ему прописаны.

Слушая ее, журналист быстро записывает в своем блокноте: Очки старику. Полное снабжение. Мелочная опека. Ни одной вольной копейки. Ни одного самостоятельного шага во внешнем мире. Военская часть? Тюрьма? Детский дом? Нет,— монастырь!

Лошади трогают. На крыльце толпятся провожающие. Бородатый бутуз кричит надтреснутым голосом, чему-то блаженно улыбаясь:

— Приезжайте почаще!

6

Председатель утвердился в «Живом колосе» в результате бесшумной и упорной борьбы. Не было громких протестов, отводов, гневных выкриков на собраниях. Молчали, сторонились, уклонялись от голосования. Прежнее правление долго не подпускало к делам, прятало отчетность; старшие по хозяйству не давали сведений, не исполняли распоряжений—опять-таки без возражений, без ропота, с тихой печалью во взорах. Наконец удалось исключить основательницу и водительницу объединения, некую Анастасию. Поньше идет

тяжба из-за ее имущества. Она предъявила иск на 500 рублей, которые новое правление оспаривает. Выведены из правления брат и сестра Лобачи, Анастасины десница и шуйца. Лобач уличен в спекуляции и приговорен к принудительным работам, которые отбывает тут же, в объединении.

От Анастасии, кроме спорного имущества, остались два портрета. Это она, изгнанная вдохновительница, задумчиво смотрит со стен на скотниц и швей, на покинутых ею сестриц.

Лобачиха — та остренькая и расторопная, что ведаёт до сих пор мастерскими и трапезной.

Брат ее, огромный и угрюмый, как зверь, загнанный в клетку, возится в тесной кузнице. Если туда зайдет, любопытствуя, посторонний, Лобач бросит работу и будет стоять у наковальни, опустив свою медвежью голову, нетерпеливо постукивая молотом. Он не скажет ни слова, но в этом убыстряющемся постукивании так явственно слышна нарастающая угроза, что посетитель наверняка почует за благо поскорее удалиться.

Этими переменами вмешательство новых сил пока и ограничилось. Все замерло в полной неподвижности и непрозрачности. Председатель разобрался в делах, освоился, сдружился со своим помощником; заведующие отраслями сдались, от молчаливого неповиновения перешли к столь же молчаливому послушанию. Всколыхнувшись, объединение застыло тем же тихим омутом, каким было всегда.

Что происходит в пучинах этого омута? Что скрыто под гладкой поверхностью, на которой, как масло, разлиты степенное трудолюбие, умильная приветливость, покойная сытость и чистота? Мудрено заглянуть в глубину этой потаенной жизни. Так плотно все слажено здесь, так все слитно и нераздельно... Сторонний глаз не различит противоречий, антагонизмов, зародышей иного развития. И только по некоторым слабым признакам, на основе окольных отзывов и справок, можно составить смутное представление о сущности человеческих отношений в «Живом колосе».

Центр объединения находится в большой станице, расположенной рядом с железнодорожной магистралью. Но медленные дни его, даже в эту небывалую

зиму, текут совсем в стороне от шумного потока станичных событий. Членов «Живого колоса» не увидишь на вечерних собраниях; в отличие от других мелких коллективов они не выделили никаких сил для борьбы за новую весну, за объединенный сев. Если втихомолку они и ведут какую-нибудь агитацию в связи с надвинувшейся перестройкой земледельческого уклада, то уж конечно не за нее, а против нее. Впрочем и в такой активности «Живого колоса» можно сомневаться: до того изолировано объединение от основной хлеборобской массы. Будто пространства пустынного моря, будто зубчатые белокаменные стены окружают этот безмятежный дворик с куртинами и желтыми дорожками. Там наглухо затворились от всех ураганов беспокойного времени; там живут только для себя; там спасаются. С внешним миром можно только торговать, ибо в деньгах греха нет, откуда бы они ни притекали; можно сбывать племенной молодняк, молочные продукты, зерно; можно приобретать машины, инструмент, керосин, гвозди, стараясь побольше потребных изделий приготовить у себя, своими руками, чтобы никому не кланяться; можно еще, на худой конец, подписаться на заем индустриализации и повесить портрет Рыкова — только бы не напирали, не грозились, не вмешивались; в остальном лучше не касаться мирских дел и соблазнов, жить до конца дней тишайшей обителью.

В станице «Живой колос» не любят. С суровой завистью смотрят на его хозяйственное преуспевание, издеваются над коллективной скупостью, нелюдимостью, показным мягкосердечием его обитателей. Упорно толкуют о всяких безобразиях, творящихся в объединении под покровом братского согласия и равенства.

Еще раньше, чем прислушаешься к этим толкам, можно заметить, что равенством-то «Живой колос» только сверху помазан. Несомненно, что приконторские комнатки, благоухающие ладаном, населены аристократией: Лобачиха и ее приближенные — люди чистой работы, управления и молитвы. На хутор, на фермы загнан народ победней, поплоче, но и там есть

свои заслуженные и вовсе худородные пастыри и пасомые, наставники и безответные работнички. Есть признаки системы послушания молодежи старичкам, а значит и тайная, душеспасительными поучениями прикрытая эксплоатация. А простор для эксплоатации в объединении — безграничный.

— У нас все на совести и на доверии держится, — раз'ясняют жуторские старички. Это означает, что труд здесь не учитывается ни повременно, ни сдельно, — работают сколько надо, то есть сколько прикажут старшие. Старшие же являются хранителями религиозных догм и традиций секты, в плену у которых — все работники объединения. Именно в этом неукопнительном наставничестве, соединенном с молитвенным поучением, — секрет рабской интенсивности труда, которая на ряду с действующими и здесь преимуществами крупного, научно поставленного хозяйства повела к быстрому накоплению и возвысила объединение до нынешнего хозяйственного уровня.

Таким образом «Живой колос», справедливо уклоняющийся от наименования коммуна, на поверку оказывается — если не в целом, то в лице своей верхушки — диковинным социальным образованием, заслуживающим имени коллективного кулака.

Станица же твердит о случаях порки в «Живом колосе», о педерастии, об особом искусе для новообращенных девиц. Все это не проверено, но и не так уж маловероятно для изуверской секты отца Иоанна кронштадтского. Мало ли что может твориться за голубыми ставнями, в ладанном дымку, в этих хорошо протопленных домиках, куда не проникал

до сих пор вольный ветер движущейся жизни?..

Он скоро ворвется и сюда полной струей, этот ветер, вздыбит жидкие волосики на розовых черепах старичков, обрушит в красных углах тяжкие иконы, сорвет и кинет в канаву бумажные веночки...

В райкоме партии имеется план, обдуманный вместе с председателем «Живого колоса»: передать объединению весь товарный скот, который в связи с сплошной коллективизацией будет обобществлен в станице; на этом основании влить в объединение побольше новых членов из батраков и бедноты; после этого вычистить оттуда всю сектантскую верхушку; повести воспитательную работу среди оставшихся и особенно — молодежи (если вспомнить хотя бы случай с неудавшимся комсомольцем, она далеко не безнадежна); как итог, всячески оберегая от разрушения крепко слаженное, культурное и богатое хозяйство объединения, превратить его в мощный животноводческий сектор крупного колхоза.

Председателя ожидает большая и тонкая работа. Если райком заставит его отдаться этому делу целиком, освободив от прочих нагрузок и бесконечных раз'ездов, если он использует в этом решительном наступлении своего исправного заместителя — краскома — и призвет на помощь новые, коммунистические силы, то можно верить, что эта бесшумная битва на Сасыке будет им выиграна.

Ибо время не благоприятствует дальнейшему упрочению благочестивых заветов кронштадтского погромщика.

2. ПАВЛА ИЗ ЧУЛЫШМАНСКОЙ ДОЛИНЫ

(Из книги «Переправа»)

Марк Эгарт

I

Ерошка лежал раздетый, связанный по рукам и ногам, уткнувшись носом в каменистое, высыхающее дно ручья. Если бы не закрученные за спину р'уки, можно было бы подумать, что Ерошка растянулся у воды напиться.

Небо за Башкаусом начало сереть, в загоне Чайгонек промывчала корова, где-то далеко внизу протопало стадо овец, — наступило утро. Ерошку увидят голого, связанного, и он будет посмешищем для всего Кумуртука.

— А-а-а, — промычал Ерошка с отчаянием, злобой, со слезами в голосе,

боясь обратить на себя внимание и в то же время взывая о помощи. Сзади послышался шорох,—кто-то шел, тяжело ступая и расшвыривая камни.

— Э-эй, что делаешь?

Над связанным наклонилась невысокая фигура Мирона Самандаева. Он нес вязанку ельника. Мирон нагнулся и удивленно зашелкал языком, потом вынул поясной нож и разрезал веревку. Через минуту Ерощка поднялся измазанный, посиневший. Первым движением его было отодрать кусок глины, приставшей сзади, но это оказалась не глина: к ягоdice был прилеплен кусочек бумаги, на котором крупными каракулями было написано: «Русский жадный, пей».

— Никишка Чодунаков!.. — сказал Ерощка и заскрипел от злости зубами,—его работа, больше некому...

— Его работа, — подтвердил Мирон и покачал головой,—пойдем, однако, где штаны?

Они обыскали все кусты кругом, но штанов не было. Пришлось Ерощке, прикрыв живот оловой веткой, голышом пробираться домой.

Было уже светло. Женщины выгоняли из вагонов коров и овец к арыкам, аилы курились утренними дымами, по улице ехали всадники к кооперативу за товаром. Они весело оглядели измазанного голого парня и расхохотались. Улыбались и женщины, конфузливо отворачиваясь, а из окна, где жили русские — Фомины, Катюшкин голос удивленно и насмешливо выкрикнул:

— Ерощка, где портки оставил?

Позор Ерощки был полный.

Не оглядываясь, красный и потный, прибежал он к себе на двор и увидел, что штаны висят на ограде, а рядом стоят его сапоги.

Марфа, мать Ерощки, месила тесто:

— Ты где так разукрасился?—спросила она, подняв голову,—опять за Катькой ухлестывал, ну и дурак!

Марфа вытерла тыльной стороной руки лоб: — Отца нету, так ты чисто как жеребец бегаешь, работать не твоя забота...

Ерощка молчал, соображая, кто учинил над ним издевку. Вчера поздно вечером разомлевший от горячего Катюшкиного тела пробирался он через ручей домой, и вдруг сзади на голову ему на-

кинули мешок, повалили, раздели и связали. Это было проделано молча, чтобы не узнали по голосу.

«За воду,—решил Ерощка,—им, дуракам, что с водой, что без воды,—живут как свиньи, другим жить не дают, а вода наша будет!»

Он умылся из ведра, поел пышек с картошкой и завалился спать.

В полдень вернулся отец — Гаврила Копытов, высокий, рыжеволосый, бритый человек в косоворотке и кожанке, больше похожий на городского рабочего, чем на крестьянина. Гаврила ездил в чулышманский интернат торговать корову у заведующего, но не сторговал и потому вернулся не в духе. Заведующий был новый, задиристый и заломил такую цену, что Гаврила только руками развел. Теперь он сидел за столом и жадно хлебал суп с бараниной. Ерощка еще не просыпался.

Вошел Мирон — хозяин избы, в которой жил Гаврила Копытов. Мирон рассказал жильцу про случай с Ерощкой. Гаврила молча доел баранину, высосал мозг из кости, вытер тарелку дочиста мякишем и, проглотив мякиш, посмотрел на Мирона.

— Это его за воду?

— За воду однако...

— Павла накручивает?

— Павла копает, Чайгонек копает, Чодунаков, Карамеев—все копают, воду забирать хотят...

— Не заберут. Закон всем известный.

— Злой народ, шибко злой однако, носом в грязь тыкали, бумажку написали: «Русский жадный»...

Мирон выговаривает эти слова не без удовольствия. Он видит, как бурееет ширококостное лицо Гаврилы Копытова и становится под цвет его темнорыжих коротких волос. «Жадный однако»—думает Мирон.

— А за это под суд,—отвечает Гаврила,—ограду сделать надо.

Разговор окончен.

Задав корм коням, Мирон обходит арыки, пересекающие его посевы, и смотрит, все ли в порядке: время такое, что каждый день жди неприятностей, потом возвращается к себе в аил¹⁾.

¹⁾ Аил — юрта.

В аиле гостья—Павла Ундинова.

Миرون настороженно оглядывает ее и раздувает ноздри, словно принюхивается к опасности, вошедшей в аил вместе с этой женщиной. Саломея, свояченица Мирона, ведущая его хозяйство, натирает толкан¹⁾ на камне и жалуется на свою долю: целый день работай,—четыре коровы, десяток овец, двое телят.

Саломея шумно вздыхает. Жалуется она для того, чтобы дать почувствовать Павле, какое у нее большое хозяйство—не чета хозяйству Павлы.

Миرون курит трубку и думает. Его интересует, по какому делу пришла Павла. Павла не такая женщина, чтобы ходить в гости, да еще к Мирону Самандаеву.

Павле на вид лет 25, на самом деле она много моложе. Женщина очень хороша собой. Нельзя понять, откуда идет это ощущение красоты: от больших хмурых глаз с беспокойно вздрагивающими бровями, от смуглого лица, мягко закругленного, жестко усмехающихся губ, от густых синеватых волос или от всей девичьей фигурки ее... Женщина смотрит в огонь, но красные искры, взлетающие над треногом, не отражаются в ее глазах, искры гаснут в их хмурой глубине, и только на щеках чуть розовеют теплые блики. В углу рта дымит папироса.

Когда чай выпит и жалобы Саломеи исчерпаны, гостья начинает разговор. В селе становится беспокойно, а беспокойство из-за воды. Воду захватили русские, русские живут и богатеют, а своим некуда податься.

Павла пускает дым, вытянув губы дудочкой, и смотрит прямо на Мирона.

Миرون отводит глаза и вздыхает: «Земли много, бери, где хочешь». Но Павла не слушает: зачем нам русские? Пускай они уйдут, тогда воды хватит.

Тонкие детские брови Павлы круто сплетаются, как сплетаются две горы, между которыми течет кумуртукский ручей. Павла закусила острыми зубами кончик папиросы и нетерпеливо ждет. Медленно ползут мысли в голове Мирона: в самом деле, может быть, разделить воду, тогда Павла будет за него, и он, Миرون, станет главным в селе.

Попробовать разве?..

¹⁾ Толкан—жареные зерна ячменя.

Мирон достает жбан с арачкой и наливает чашку гостье.

Павла молча выпивает, выпивает и Мирон. Он глубоко и тяжело вздыхает, словно большое горе у него на душе, и смотрит в открытую дверь.

За оградой видны аилы, торопливо громоздящиеся друг над другом, стараясь ближе подобраться к ручью, а между аилами, уверенно распахнув их, стоят новые крепкие избы русских, такие же, как у Самандаева, с загонами, изгородями и длинными заманчиво зеленеющими всходами. Мирон смотрит долго, смотрит и Павла. Две пары глаз по-разному видят село, две головы по-разному думают.

— Закон сказал: у кого больше посева, тому больше воды, нельзя против закона итти, беда будет...

Так говорит Мирон Самандаев и ставит жбан с арачкой на прежнее место.

— Беда будет... — как эхо повторяет молодая женщина, — вам беда! — кричит она. Гнев и презрение черной волной закипают в ее глазах:—наша вода будет!..

Женщина встает и выходит вон.

II

Привольные земли расстилаются между Чулышманом и его притоком Башкаусом, привольный жирный чернозем, которого почти не касался плуг. Можно бы пахать и пахать, но злое солнце в чулышманской долине: пройдет весна, промчатся горные стаявшие снега, и солнце осушит землю и выжжет зелень в долине. Для посевов нужна вода, без воды не будет жатвы, а воды мало. Ручей, бегущий в междугорья, мелеет к лету. Он мелеет и оттого, что выпускают из него воду в арыки, как выпускают кровь из тела. И арыки, как живительные артерии, оббегают поля, питая их водой.

Но кому достанется вода? На всех нехватит, а ведрами из далекого Башкауса не натаскаешься. В Кумуртуке сеяли давно, этому научили русские «ярыльки», когда крестили чулышманскую долину, но сеяли кумуртукцы мало, один ячмень.

Каждый засушливый год в погоне за водой аилы снимались и передвигались вверх по склону, ближе к ручью. Ночью,

тайком от соседей, разбирался аил, а на утро хозяин уже ладил его на новом месте. Так вперегонки друг за другом взбиралось село все выше, а воды все нехватало, потому что с каждым годом меньше становилось зверя в тайге, и охотники начинали пахать.

Одна беда тянет за собой другую, как тянет повод вереницу вьючных лошадей. Отчим Павлы Ундиновой — Чайгонек — попытался схитрить: он перенес аил в овраг к самой воде, но бог наказал Чайгонека за хитрость. В ночь разразилась гроза, ручей вздулся бурным потоком и разнес аил Чайгонека. Бог рассердился на весь Кумуртук: поток изменил русло и ринулся на айлы, скучившиеся у арыков; разметал, разбросал кошмы, шкуры, сундуки, — все небольшое имущество теленгита. Поток смыл посевы, и эта зима голодом прошлась над селом. Долго помнили ее кумуртукцы и не могли простить Чайгонеку.

Павла тогда была еще маленькой девочкой, она еле спаслась, и на всю жизнь в памяти осталась эта ночь: испуганные крики, рев скота, кони, рвущиеся с поводьев, плач детей, и над всем — веселый насмешливый водяной гул. С тех пор никто не осмеливался ставить аил ближе, чем на сто шагов к оврагу.

Когда пришла советская власть, в Кумуртук приезжал агроном. Он ходил вдоль оврага, мерил землю, потом заявил в сельсовете, что нужно вдоль оврага посадить деревья. Кумуртукцы выслушали его вежливо, потому что агроном был из аймака, и на фуражке у него был золотой значок, но когда он уехал, все село долго смеялось: садить деревья, когда кругом тайга на сотню верст. Никто не подумал заниматься таким пустым делом. И все осталось попрежнему при новой власти в Кумуртуке. Исчез только царский стражник — вместо него наезжал милиционер из аймака. Староста Бедиров стал теперь председателем сельсовета. Попрежнему «ярлык» крестил, хоронил и женил кумуртукцев побогаче, а те, кто победнее, норовили оттянуть уплату за требы, и «ярлык» грозил им небесными карами. Попрежнему на той стороне Чудышмана жили монахи и монахини, и в ясный день ветер доносил звон монастырских колоколов.

Но однажды в Кумуртуке появились русские. Они пришли из-за озера, поставили избы и сразу запахали железными плугами большие участки. Кумуртук ждал, как справятся они с водой. Но русские справились очень просто. Как-то раз на дверях сельсовета появилась бумага, в которой было сказано, что все, у кого посевы превышают три га, получают воду в первую очередь, остальным вода дается соразмерно их участкам — они могут дополнительно приносить воду из Башкауса. Так и было сказано: дополнительно из Башкауса. Кумуртукцы вначале не обратили внимания на бумагу: да и кто читал в Кумуртуке? — только русские и секретарь сельсовета — Толуш. Но когда русские отвели глубоким арыком всю воду на свои поля, село всполошилось.

Предсельсовета Петр Бедиров и секретарь сельсовета Толуш, самый сведущий человек в Кумуртуке, объяснили встревоженным односельчанам, что бумага правильная. «Такой закон: у кого больше земли — тому больше воды надо. Это даже женщина понимает» — пояснил Толуш улыбаясь. Ему хорошо было улыбаться, потому что ему шло жалованье, и воду он получил.

— Но почему только русским вода? — спрашивали кумуртукцы.

— Почему русским? вот Мирон Самандаев тоже посеял много, и ему — вода, посеешь ты — тебе вода будет. Закон правильный для всех!

Толуш сидел за секретарским столом, над которым висел портрет Ленина, и важно поднимал вверх палец:

— Советская власть закон знает.

Кумуртукцы глядели на Толуша, углубленного в бумаги, переводили глаза на Ленина, который был советская власть и закон, и, тяжело вздыхая, гуськом выходили из сельсовета.

Мирон действительно посеял ячмень и пшеницу и получил воду. Мирон и избу поставил, как русские. Но что было делать тем, у кого ячменя хватало только только на узкую полоску земли, что делать тем, у кого нет железных плугов, как у русских, и русской крепкой упряжи? На это никто не мог ответить кумуртукцам. В селе не было ни партийной, ни комсомольской ячейки, в селе был только «ярлык». «Ярлык» говорил.

что это бог гневается за то, что отобрали у него монастырь за Чулышманом. Советская власть отобрала храм божий, советская власть забирает воду, — вся беда от власти.

Однако «ярлыку» тоже нельзя стало верить: оказалось, что он подружил с русскими, был у них почетным гостем, крестил, женил, хоронил и выпивал с ними как свой человек. Не удивительно, что он скоро начал говорить, что русским бог посылает достаток, потому что они почитают его, не скупясь.

Аилы молчали и терпеливо ждали, когда власть переменит «водяной закон». Но этим летом ждать стало невтерпеж.

Лето выдалось на редкость засушливое. Только отсырелись, как над Чулышманом жарким костром запылало солнце. Солнце, как злой дух эрлик, раздувало рыжие космы лучей, высасывало из земли влагу и, опившись, раздувшееся и багровое, тяжело шлепалось за горы в озеро, чтобы на завтра продолжать свое недоброе дело. Зеленыя, еле поднявшись над сухой, рассыпавшейся в песок земель, пожелтели и остановились в росте. Только за избой Мирона Самандаева колыхались сочные всходы, — туда полувыхоший ручей отдавал свою последнюю воду, обжаяя русло, утыканное голубыми валунами.

С зарей, когда солнце окунало в Башкаус первые розовые кудри и Башкаус стряхивал с себя ночной туман, с зарей от села тянулась вереница лошадей и людей. На вьюках и вручную таскали кумуртукцы воду из Башкауса на свои полоски. С утра и до ночи женщины и дети сгибались под тяжестью ведер, мужчины цокали на лошадях. Проходя мимо посевов русских, все от мала до велика, даже старый Найты, даже сын Никиты Чадунакова — тоже Никита, тот самый, которого Ерошка подозревал в ночном нападении, останавливались, глядели сумрачно и долго, потом плевали и тяжело шли дальше. Этим летом стало невтерпеж.

III

Павла не помнила своих родителей. Она росла с малых лет у отчима Чайгонка. Семи лет ее взяли русские монахини в миссионерскую школу. Три года провела девочка в монастыре, и оттуда принесла в аил хорошее знание русского

языка, коричневое платье с черным крылатым передником и беспрекословное послушание, — монахини умели воспитывать.

Отчим Павлы — Чайгонек, после грозы, разорившей его аил, занимался только охотой. Шкуры он сдавал скупщикам. Получив за них деньги, Чайгонек закупал араку, — своего молока ему не хватало, — напивался и пел песни. Пел Чайгонек грустно и приятно, лежа на овечьей шкуре возле тренога. Он пел, наигрывая на кобшуре¹⁾ долгими венерами, и Павла привыкла засыпать под пенье отчима. От него она научилась тоскливым ойратским песням.

Должно быть Чайгонек любил приемную дочь, — после охоты лучшая белить шкурка всегда доставалась Павле, а когда отчим был трезв и дома, он сам выполнял все трудные работы, даже доил единственную корову. Зато Павла, особенно если приходил гость, должна была читать вслух русские книжки. Чайгонек с удовольствием прислушивался к непонятным словам, дымил трубкой и важно оглядывал гостя. В то время Павла была самой грамотной во всем Кумуртуке.

Репутация девочки упрочилась еще больше, когда через Кумуртук проезжала настоятельница монастыря со свитой монахинь. Настоятельница, увидев девочку, остановилась, монахини узнали свою воспитанницу. Павла чинно кланялась, целовала руки у монахинь, потом настоятельница, важная толстая старуха, благословила девочку большим золотым крестом и поехала дальше. С тех пор Павла заважничала перед подругами, по воскресеньям и праздникам нараспев читала все молитвы, которые знала, выполняла все обряды, а иконы в аиле Чайгонка, не в пример другим, всегда были начисто вытерты и украшены зеленью.

Павле было 15 лет, когда Чайгонек, сильно напившись по случаю пасхи, посмотрел на спавшую Павлу и вдруг заметил, что она выросла и стала красивой девушкой. Тогда Чайгонек поступил так, как захотело его сорокалетнее, давно не знавшее женщины тело: Чайгонек изнасилывал приемную дочь. Павла, приучен-

¹⁾ Кобшур — музыкальный инструмент.

ная к послушанию старшим, покорилась, потом привыкла. Целый год жил с ней Чайгонек.

А через год шла перепись в чулышманской долине, и Павлу, как самую грамотную, взяли на перепись. После переписи ее направили на курсы в аймак, на курсах она пробыла два месяца и оттуда вернулась секретарем сельсовета,

Она раз'ясняла кумуртукцам новые законы советской власти, проводила образование наелегом и стала самым важным человеком в Кумуртуке, сменив Толуша. Павла поселилась при сельсовете и перестала бывать в аиле отчима. Она вынесла из сельсовета иконы, молча и безучастно выслушала отчаянные мольбы о заступничестве, когда монахины выселяли из монастыря. Павла даже провела собрание женщин и уговаривала их послать детей в интернат, открывавшийся в помещении монастыря.

Но самое важное, что сделала Павла,— это нарушила «водяной» закон. Вода была распределена среди всех, кто сеял.

От прежней забитой и покорной девочки не осталось и следа,—словно подменили ее в аймаке. Теперь Павла уверенно отдавала приказания, стучала карандашом по столу и гневно вскидывала голову в красной косынке, если ей противоречили. Ведь ей было всего 18 лет, и она была первой и единственной женщиной-секретарем во всей долине Чулышмана.

Но скоро ее взяли на работу в Улаган. В Кумуртук же вместе с возвратившимся секретарем Толушем, вернулись старые порядки, вернулся и «водяной» закон.

После теплой долины Чулышмана Павла с трудом привыкала к улаганским высотам. На вершине горы стояло несколько бревенчатых домиков, где жили работники аймака, почта, клуб, милицкий пост. Холодные ветры неустанно дули со всех сторон. В Улагане Павла встретила с Сергеем Копытовым — об'ездным милиционером аймака.

Встреча с Сергеем была вторым поворотом в жизни Павлы. Она полюбила этого дюжего, веселого парня со всей силой, на которую только была способна. Она тратила на него свои деньги, бросила занятия в вечерней школе, потом стала неаккуратна в работе. Когда

Сергей бывал в от'езде, Павла вышивала ему рубаху (рукоделью ее научили монахини), стирала его белье. Павла даже раздобывала ему тайком крепкую арачку, потому что Сергей любил выпить, а выпив, он тоже, как когда-то отчим, пел свои русские песни. Павла сидела у него на коленях и смотрела в его глаза, серые, большие и смешливые. Павла совсем еще не знала людей, и ей казалось, что счастливей ее нет никого.

Сергею вначале нравилось, что в него влюбилась самая красивая ойротка в аймаке, ему льстила зависть товарищей, но под конец необузданная любовь девушки начала ему надоедать, тем более, что Павла забеременела. Те самые товарищи, которые раньше завидовали, теперь смеялись над Сергеем: «Ставь аил, толкан кушай, косу отпусти себе, как в Онгуде — начто тебе милиция?» говорили они. Сергей решил перевестись из Улагана.

Однажды Павла прождала его неделю, другую и не дождалась. Тогда она спросила начальника аймачной милиции. Начальник оглядел ее живот, туго обтянутый тесным девичьем платьем, и усмехнулся. «Добегалась... ищи теперь соколика!»

И ушел.

Никто не хотел сказать Павле, куда скрылся Сергей, никто не хотел подводить парня. Но однажды в Улаган приехал милиционер из Чибита. Он привез Павле посылку. Павла торопливо разорвала ее, и оттуда выпала рубаха, которую она вышила Сергею. Павла встряхнула рубаху: может, выпадет письмо, записка от того, кого она любила. Нет, ничего больше не было.

Павла осталась одна, без денег и скоро должна была родить.

Комсомольская ячейка, в которую Павла только вступила, состояла всего из четырех человек, и все четверо были в раз'езде. В от'езде—в Улале—был и предайкама. Остальным не было до нее дела. Павла больше не являлась на службу. Она не хотела ничьей помощи. Кое-как перебиваясь, прожила она до родов, родила сына и, еще не оправившись, вернулась пешком в родную долину.

Она шла, неся ребенка за спиной, как носят детей в Чулышмане, в том самом

коричневом платье с черным крылатым передником, которое у нее сохранилось. Куртку, красную косынку, книги, все, что напоминало о прежней жизни, она бросила, продала.

В Кумуртук она пришла перед вечером. Отчима не было, он охотился.

Павла устроила прежде всего из шкур постельку ребенку, потом натащила ельника, разожгла костер, сбегала вниз к ручью за водой, подмела в аиле и огляделась. В аиле ей показалось темно и грязно. Но так казалось только первые дни: Павла скоро привыкла, к тому же у нее все время и внимание отнимал сын. С утра и до ночи, как прежде с Сергеем, возилась Павла с ребенком.

Когда вернулся из тайги Чайгонек, он не удивился и принял ее возвращение как должное. Он даже не спросил, кто отец ребенка. Чайгонек привел свою корову, стоявшую на время его отлучки в чужом загоне, показал Павле засеянную опять полоску ячменя и занялся своим делом, т. е. сбывал шкурки, теперь уже не скупщикам, а в заготовительный пункт Сибторга, напивался и пел песни, наигрывая на кобшуре.

Павла доила корову, таскала воду на участок, делала сырчики, гнала арачку и даже сама несколько раз выпивала, когда накатывала тоска. Тоска тяжелой волной набегала на женщину, но женщина старалась не сгибаться, и тоска приходила все реже. Вместо нее выросло новое чувство, холодное хмурое чувство вражды ко всему русскому. Русская вера ее обманула, русские люди, русский закон ее обманул, — русским нельзя верить, от них все зло, лучше бы они совсем не приходили в долину Чулышмана.

Так думала 19-летняя Павла, сидя у входа в аил и укачивая сына, у которого были большие, серые и смешливые глаза. Минутами ей казалось, что «его» сын смеется над этими мыслями, смеется над матерью-ойроткой, и в эти минуты ей хотелось придушить его. Но в другие минуты, и такие бывали чаще, Павла нежно укачивала сына, напевая ему песни, которым ее научил отчим.

Ребенок не был окрещен, Павла выгоняла «ярлыка», несколько раз заявлявшегося в аил. Павла сама окрестила

сына и назвала его: «Каан-Кэрэды», что означает — «царь птиц» — орел. Ее сын должен вырасти орлом и отомстить за мать, отомстить за всех соплеменников.

IV

В Кумуртуке одни испугались, другие удивились возвращению Павлы. Испугались те, кто боялся, что Павла опять будет секретарствовать и облагать налогом. Испугался и рассердился Толуш — неужели его опять заменят этой девчонкой. Но Павла не думала секретарствовать, наоборот, она теперь избегала сельсоветских дел и не приходила ни на одно собрание, посылая вместо себя Чайгонека.

Женщины, ее бывшие товарки, перед которыми она когда-то важничала, могли теперь с наслаждением судачить по поводу того, кто был отцом ребенка, и почему Павла ушла из Улагана. Какими-то одним им ведомыми путями разузнали про историю с милиционером. После этого Павлу всюду встречали улыбки презрения и насмешки.

Особенно старалась Саломея — свояченица Мирона Самандаева. Саломея пустила по Кумуртуку рассказ о том, что милиционер прогнал Павлу, что со службы ее тоже выгнали, когда узнали, какие неправильные налоги налагала она в Кумуртуке. Ее даже хотели судить за это, но милиционер вступился. Пускай уезжает назад в Кумуртук и не лезет больше в совет, — приказали ей.

— Пускай не лезет, — соглашался Мирон Самандаев, которому Саломея первому выложила свою выдумку, — пускай не лезет, очень беспокойная женщина.

— Пускай не лезет, — решил Толуш, ставший опять секретарем.

Павла — не «лезла». Она молча хозяйничала и няньчила Каан-Кэрэды. Казалось, что вернулись годы ее детства, когда она была послушной и тихой девочкой. Чайгонек в самом деле решил, что прошлое вернулось, и как-то ночью полез к Павле под одеяло. Но Павла выхватила из-под тренога догоравшую жаровню и сунула отчиму в лицо, Чайгонек взвыл и отполз с опаленными усами.

Прошлое не возвращается. Злоба, подобно густой подземной воде, скопилась в груди Павлы и искала выхода.

Выход пришел, но совсем не с той стороны, откуда могла бы ждать его Павла.

«Каан-Кэрэды» заболел. Он весь покрылся красными пятнами и кричал день и ночь. Павла укачивала его на руках, давала поминутно грудь, напевала ему и заставляла даже Чайгонека петь и играть на кобшуре, но ничто не помогало. Ребенок посинел от крика, а зловещие пятна не сходили. Вдова Иртакова посоветовала Павле обмазать ребенка теплым навозом, но Павла не согласилась на это. Отчим говорил, что детям помогает трубочный дым, он попробовал, когда Павла, не выдержав усталости, задремала, всунуть в беззубый кричащий рот Каан-Кэрэды свою старую обгрызанную трубку. Павла проснулась и прогнала отчима.

Ребенку становилось все хуже. Тогда Павла решила идти в интернат.

Интернат помещался в бывшем монастыре на той стороне Чулышмана. При интернате жил фельдшер. До света, чтобы никто ее не увидел, вышла Павла из Кумуртука и утром была в интернате. Но фельдшера не было, он уехал в Артыбаш за медикаментами. Павла присела на камень под деревом, на котором висел снятый с монастырской колокольни колокол, и смотрела на сморщившееся, похудевшее личико Каан-Кэрэды. Ребенок устал от крика и спал.

Перед Павлой лежал двор, через который десять лет назад она ежедневно чинно ходила в церковь к обедне. Теперь на этом дворе интернатские воспитанники играли в лапту. Колокол прозвонил, и ребята ушли на занятия. Учительница выстроила их рядами, по команде они начали приседать, разводить руками, сгибаться и разгибаться. Павла смотрела.

Мимо прошел заведующий интернатом — тов. Лыков. Он спросил, кого Павла ждет. Павла объяснила. Чистый русский язык и сумрачное молодое лицо с блестящими, красными от бессонницы глазами удивили заведующего. Он подошел ближе и начал расспрашивать. Но Павла повторила только, что ждет

фельдшера. Ребенок проснулся и опять раскричался. Тогда тов. Лыков послал к Павле жену.

Жена его — Марья Сергеевна, или, как ее звали все в интернате — Маруся, — та самая, что занималась с ребятами физкультурой, была женщина энергичного характера. Она подошла и, не говоря ни слова, забрала у Павлы ребенка и начала его осматривать. Павла от неожиданности уступила. Маруся ощупала красное горячее тельце, потрогала десны ребенка и заявила, что нет ничего опасного — у мальчишки режутся зубы. Павла недоверчиво выслушала и протянула руки к ребенку.

— Нет, — отстранила ее Маруся, — ребенку нужен покой и чистота, в такой грязи и то можно заболеть. — Она сбросила с Каан-Кэрэды рубашонку и понесла к себе в комнату. Ребенка выкупали в теплой воде, насухо вытерли чистым полотенцем, каким его никогда не вытирали, и уложили в постельку умершей девочки Лыковых. К вечеру ребенок успокоился и заснул.

Павла сидела подле, оглядывала комнату, в которой жили эти русские, и порожалась, как можно жить в такой чистоте. Наверное у них есть работница, которая все делает, — подумала Павла. Но работницы не было. Маруся принесла два ведра воды и, подоткнув юбку, начала мыть пол. Потом вытерла мокрой тряпкой подоконники, письменный стол, этажерку, вынесла и вытряхнула коврик и поставила чайник на примус.

Павла впервые видела примус. Он накалялся и жужжал, как рассерженный жук. Павла не удержалась и протянула палец, но тут же вскрикнула от ожога. Маруся рассмеялась, прикрыла дверь, чтобы не будить ребенка, и помашила Павлу пальцем. Она показала ей на полотенце, мыло и предложила сходить вдвоем искупаться.

Вода в Чулышмане и в разгар лета студеная. Маруся быстро скинула платье, ее белое, сохранившееся от загара тело ярким пятном мелькнуло на темной зелени прибрежных кустов. Павла раздевалась медленно, чтобы русская не увидела ее заношенной, истлевшей до дыр сорочки, которую она не снимала со времени возвращения в Кумуртук.

Теперь Павле было стыдно за свою грязь. Но оставшись голой и окунув потное, разгоряченное тело в холодную стремительную воду, Павла с наслаждением поплыла наперерез течению, отбрасывая волосы, залеплявшие глаза, и сильно выбрасывая руки.

Оглянувшись, она увидела испуганное лицо русской, звавшей ее назад. Павла вдруг рассмеялась звонко, весело, как не смеялась давно. Ей было приятно, что она плавает лучше Маруси.

Лыковы не отпустили Павлу в этот день домой, не отпустили и на другой день и на третий. Они объяснили ей, что ребенку нужен покой и чистота, а через три дня вернется фельдшер, он посмотрит ребенка. Павла осталась. Чтобы не сидеть без дела и не есть даром интернатский хлеб, она занялась в комнате заведующего перепиской сметы интерната, которая отсылалась на утверждение в Улаган.

Лыков очень обрадовался, увидев, что Павла быстро и грамотно пишет, обрадовался и удивился: почему она ничего не делает? Разве так много грамотных в Кумуртуке? Павла молчала. Лыков так и не дождался ответа и ушел.

Письменный стол, бумаги, книги — все это будило в Павле мысли о прошлом. Она не заметила, как оставила смету и взяла в руки журнал «Огонек». Женщина быстро перелистывала журнал, рассматривая фотографии, пробегая надписи, потом ей попалась пачка «Кызыл ойрот»¹⁾, из них она узнала, что в Улагане сменилось почти все руководство, что начмилиции попал под суд, и на минуту Павла ощутила мстительную радость. Женщина листала газеты, потом бралась за книги, от книг кидалась к иллюстрированным журналам, к учебникам, от учебников опять к газетам. Женщина рылась в этажерке, на столе, забыв, где она находится, отдаваясь все больше волне, подымавшейся изнутри. Вдруг она наткнулась на книжку, которую читала еще в детстве. Это была «Капитанская дочка». Она развернула ее и начала читать, сидя прямо на полу, среди вороха книг и

газет. Женщина читала, и прошлое врывалось в нее, как врывается воздух в распахнутое окно. Женщина заплакала.

Это были ее первые слезы со времени ухода из Улагана. Такой застала ее Маруся. Павла сконфузилась своих слез и беспорядка, который наделала, и принялась поспешно убирать книги обратно в этажерку.

Утром вернулся фельдшер, осмотрел ребенка и сказал, что у него прорезались зубы — теперь все в порядке. Павла вернулась в Кумуртук. Перед уходом она попросила у Маруси «Капитанскую дочку», обещая вернуть через неделю. Через неделю Павла пришла и снова взяла книгу. Теперь она начала бывать в интернате. Она попрежнему мало разговаривала, неохотно отвечала на вопросы, садилась в комнате заведующего и рылась в книгах. Лыковы, заметив это, оставили ее в покое.

Отправляясь в интернат, Павла выстирывала свое коричневое, не знавшее сносу платье, Каан-Кэрэды тоже был чисто прибран, — Павла не хотела больше стыдиться русских.

Так прошел месяц.

V

Ерошка Копытов зря беспокоился: Катюша Фомина не смеялась, наоборот, когда он ей рассказал, как дрался в темноте против десятерых, она крепко поцеловала его и сказала, что от татар житья нету.

— Ничего, мы им покажем закон, — уверенно тряхнул Ерошка вихрами, — ограду ставим...

Ограду действительно быстро поставили. Целую неделю работали Фомины, Копытовы, Николаевы, Петр Бедиров и Мирон Самандаев, копая ямы, устанавливая столбы и прокладывая жерди. Через неделю Кумуртук раскололся на две части: по одну сторону ограды были посевы, была вода, по другую — тоже были посевы, но воды не было.

Кумуртуцкы молча следили за работой. Никита Чодунаков сунулся было в сельсовет, но Толуш сердито закричал, что если каждому по десять раз объяснять «водяной» закон, кто тогда будет писать бумаги. Никита ушел.

Был полдень. Аилы стояли на открытом месте, и негде было укрыться от

¹⁾ Название газеты «Красная Ойротия».

солнца. Низкие пожелтевшие всходы ячменя походили на слабых детей-недоносков. Они тихо шуршали, и казалось, что у них нету сил громко застонать от жажды. Нагретые скалы были как печь, на которой можно бы жарить ячмень для толкана, но ячменя не было. А над скалами и над селом текли густые, тяжелые волны зноя, и совсем издалека, еле слышно шумел Башкауc. У своей полоски возился старик Найты. Внучка его таскала воду от Башкауca. По ту сторону ограды по камням раздражающе весело булькал ручей.

Из аила Чайгонека вышла Павла и посмотрела за ограду. В одной руке она держала сына, другой заслоняла глаза от солнца.

Хождение Павлы в интернат, появление книг и газет в аиле Чайгонека не могло пройти незамеченным в Кумуртуке. Саломея ходила по селу и с удовольствием рассказывала, что Павла спуталась с новым заведующим интерната — тоже безбожником (разве хороший человек будет в святом месте работать?), надо ждать, что скоро ее выгонят оттуда еще с большим срамом, чем из аймака.

Так говорила Саломея. Но некоторые думали иначе. Никита Чодунаков например сказал молодому Папакову, что если бы Павла была в сельсовете, как прежде, вода была бы для всех. Никита тоже самое сказал Павле. Павла нахмурилась и промолчала. Тогда Никита привел с собой Папакова, Карамаева, вдову Иртакovu и старика Найты, — всех тех, кто страдал от безводья.

Они сидели в аиле Чайгонека и слушали, как Никита агитировал Павлу.

— Ты в сельсовете сидела?

Павла молчит.

— Сидела, — отвечает за нее Папаков.

— Почему ты ушла из сельсовета?

Павла опять молчит.

— Она боится Толуша, Толуш умный, — говорит Папаков, чтобы раздрадить Павлу. Павла кривит губы.

— Почему тебя выгнали из аймака? — спрашивает Карамаев и подозрительно косится на светловолосого Каан-Кэ-рэды.

— Меня не выгнали, сама ушла.

— Мы опять тебя выберем, Павла, — настаивает Никита Чодунаков, — ты грамотная, ты правильные законы знаешь.

— Мы тебя выберем, — говорят Папаков, Карамаев и старик Найты.

Вдова Иртакова только кивает головой.

В аиле сумрак, и сумрачный блеск дрожит в глазах собравшихся. Лето подходит к концу, эти дни — решающие для целого года: будет вода — будет толкан, не будет... нет, вода должна быть!

— Вода должна быть! — упорно бормочет старый Найты.

Он почти слеп и плохо слышит, много зим прожил он и мог бы уже не работать, но у него есть внучка, а внучка хочет кушать.

— Вода, вода... — это слово висит перед глазами собравшихся как туго набитый мешок с толканом.

Над взгорьем опускается вечер. После удушливого дня вечер приносит туманную сырость. Далеко внизу, возле изб, слышен смех и русский говор. В аиле Чайгонека темно, но никто не разжигает огня под треногом.

Нужно с новым заведующим интерната посоветоваться.

— Он русский, — говорит недоверчиво Папаков.

— Он другой русский, совсем другой, — возражает Павла, и ей вдруг становится легче, — жена у него хорошая...

— Мы тебя выбираем, ты правильные законы знаешь, — повторяет Никита который уж раз.

— Да, мы тебя выбираем, — вторят ему все и расходятся по аилам.

Утром Павла была в интернате. Выслушав историю «водяного» закона, заведующий спросил:

— А где были ваши головы?

Павла помолчала, потом, глядя в сторону, ответила:

— Вода у русских, за них сельсовет...

— Павла хотела вложить в эти слова свою прежнюю враждебность и злобу, но злобы не получилось, слова звучали беспомощно.

Лыков удивился: — Что ж, что русские? Советский закон для всех писан, разве ты не знаешь? Вас ведь целое село?

Вдруг, как в тот раз среди книг и как вчера вечером, в Павле поднялась теплая дрожащая волна.

— Что же делать? — спросила Павла.

— Поднимай бучу.

Павла не поняла, что такое буча?

Лыков рассмеялся, и лицо его, сухое, обтянутое желтой кожей лицом с внимательными усталыми глазами, сморщилось в улыбку, глаза потеплели. Он позвал жену, чтобы она лучше объяснила Павле, что такое «буча».

Павлу оставили ночевать. Вдвоем с Марусей они вытащили матрац на траву под окна и постелили постель. Павла никогда не лежала на такой чистой постели. Женщины лежали и смотрели в ночное небо, из окна ползла желтая полоска света, — Лыков возился над сметой. Маруся тихо напевала какой-то мотив, и Павла вдруг узнала ту песню, которую часто пел Сергей Копытов. Павла нахмурилась и невольно нагнулась в темноте к сыну, как наклоняется, выставив рога, корова к телятнику, когда чувствует приближение опасности. Она попросила: «не пой эту песню».

Маруся удивилась и замолчала.

Павла чувствовала, что если бы она могла рассказать этой крепкой, уверенной, веселой женщине про себя, ей стало бы легче. Но только вздохнула, а рассказать все-таки не рассказала. Рано утром, не разбудив никого, она ушла, неся сына, в Кумуртук.

Над Чульшманом, вздувшим желтоватую пену, чуть розовел восток. Трава была росной, и в низине на том берегу еще шевелился серой кошмой туман. Павла отвязала челнок, выдолбленный из коры, положила Каан-Кэрэды на дно, на сухие листья, и взялась за весла. Челнок рвануло вниз по течению. Павла гребла изо всех сил, направляя челнок к удобному причалу. Когда она вышла на берег, лицо ее полыхало огнем. Горячие языки взлетали на восток, словно кто-то невидимый разводил костер за горизонтом, и розовый пар плыл по серому утреннему небу.

В этот день вечером, окончив доить корову и уложив Каан-Кэрэды спать, Павла взяла топор и пошла к ограде. У места, где начинался ее арык, она

начала рубить жерди, потом принесла лопату, обкопала столб, держащий жерди, и столб упал. Павла расчистила засыпанный арык, и ручей устремился на поле Чайгонека. Павла несколько минут смотрела, как растекается драгоценная вода, как жадно всасывает ее пересохшими потрескавшимися губами земля. Павле показалось даже, что чаклые стебельки радостно дрогнули и поднялись, как поднимаются больные дети после болезни.

После этого она пошла в аил Никиты Чодунакова и сказала, что нужно делать. Осторожно, стараясь не шуметь, Никита вышел. Скоро у ограды, против своих арыков, стояли Карамаяев, старик Найты, молодой Папаков с женой, вдова Иртакова с дочерью, все они делали то же, что сделала Павла, и ограда начала падать. Свежие обтесанные столбы желтыми телами ложились на мягкую траву, и, перехлестывая через них, потекла вода из ручья на участки тех, кого обошел «водяной» закон.

В ночной темноте, без огня, стараясь не шуметь, разрушали кумуртукцы ограду, кто топором, кто лопатой, кто просто руками разгребая землю, и руки их тряслись, как трясутся руки у голодающих.

К утру вода равномерно растекалась по арыкам всего поселка, и ручей обнажил дно.

Это был переворот.

Утро застало его участников каждого на своей полосе, у своего арыка, вооруженного лопатой, топором, поясным ножом. Каждый намерен был защищать свою воду всеми силами.

Первым проснулся Мирон Самандаев, он вышел поглядеть на коней и чуть не упал: забора не было, воды тоже не было.

Мирон громко закричал стоявшим у арыков, но никто ему не ответил. Он увидел Павлу, Никиту Чодунакова, Карамаяева и всех тех, кто жил по ту сторону ограды. Тогда он понял, что криком не поможешь, и бросился к избю председателя.

Петр Бедиров прибежал испуганный и удивленный.

— Что наделали? Кто против закона пошел? Кто воду брал?

Председатель бегал от арыка к арыку, но кумуртукцы молчали. Только гордый Папаков крикнул:

— Вода всем нужна, давай собрание!

— Давай собрание, собрание. Русских не надо... Пускай уходят из Кумуртука, — закричали со всех сторон. Председатель сробел и ушел назад.

Спустя некоторое время, появился Толуш. Он молча и сердито оглядел «захватчиков», достал листок бумаги, карандаш и начал записывать: «Павла Ундинова... Папаков... Никита Чодунаков...» Значительный вид, с каким секретарь записывал, смутил некоторых. Чайгонек вздохнул и быстро спрятал свой нож.

Павла, кормившая ребенка, оторвала его от груди, положила на траву и, не обращая внимания на его плач, быстро подошла к секретарю. Посеревшее лицо ее с закушенной губой не обещало ничего хорошего. Толуш попятился. Тогда Павла вырвала у него из рук бумагу, разорвала в клочки и швырнула клочки ему в лицо.

— Сейчас будет собрание, — сказала она дрожащим голосом, и все повторили:

— Сейчас будет собрание.

Секретарь должен был уйти.

После полудня сельский исполнитель, сонного вида парень, с большой медной бляхой, на которой изображен серп и молот, начал обходить избы и айлы, сзывая колокольчиком на собрание. Труд его был излишним — на собрание пришел без остатка все село.

Во двор вынесли стол, у стола стал Петр Бедиров и открыл собрание. Можно было подумать, что во дворе сельсовета тоже протекал ручей, — люди сидели в двух противоположных концах двора. Петр Бедиров предложил избрать председателя.

— Мирона Самандаева! — Закричал Ерощка Копытов, сидевший на заборе, и подмигнул Катьке Фоминой: смотри, дескать, как мы их обернем...

Мирон нерешительно закивал на Гаврилу и предложил его председателем.

— Не надо русских, — заявил молодой Папаков. — Павлу Ундинову.

— Павлу выбираем... Павла — правильный человек, Павлу председателем!.. — закричали «захватчики».

— Бабу председателем?

— Ее выгнали из аймака.

— Давай Гаврилу, что их слушать?

— Павлу!

— Гаврилу!

— Павлу!

— Гаврилу!

Стороны не уступали. Тогда Толуш вышел вперед и разъяснил, что если большой спор выходит, должен старый председатель остаться. Так сказал кумуртукский законник Толуш, и Петр Бедиров опять стал у стола. Первому он дал слово Гавриле Копытову.

Гаврила доказал собранию, что «водяной» закон — правильный закон: у кого больше земли, — тому больше воды нужно, иначе кто даст советской власти хлеб? А без хлеба... Гаврила сощурился и оглядел собрание. Все замолчали.

— Главная заводилка — это Павла, у нее в аймаке какие-то дела были, задаром не прогонят, вся беда от Павлы.

Так говорил Гаврила Копытов, обращаясь к председателю, и председатель понимающе кивал головой.

Но скоро председатель перестал понимать. Это случилось, когда заговорила сама Павла Ундинова.

Павла стояла, опираясь спиной об ограду и держа в руках сына. Она стояла, и на нее с нетерпением смотрели все те, кто в эту ночь ломал ограду.

— Все богатые — жадные и обманщики, — сказала Павла и остановилась. Раньше бы она сказала, что беда от русских, и воды хватит. Но Лыков ведь тоже русский... Павла молчит и думает.

— Все богатые — жадные и обманщики, — повторяет она. — «Водяной» закон менять надо, нужно другой закон сделать!

— Другой закон, другой закон! — повторяют за ее спиной «захватчики».

— Где твой муж?.. Твой сын некрещеный, где твой муж?.. — Это пронзительно кричит из задних рядов Саломея.

— Где твой муж? — повторяют женщины, и глаза их становятся колючими, как изгородь сельсовета.

— Мой сын — Каан-Кэрэды, у него нет отца... нет отца у Каан-Кэрэды! — громко отвечает Павла.

Саломея исподлобья смотрит на женщину, которая не стыдится сказать, что у ее сына нет отца. Саломея вытирает жирные губы, но губы продолжают блестеть презрением и злостью.

Тишина.

Павле кажется, что вокруг нее становится пусто. Добрый вспылчивый Папаков смущенно и недовольно устался в землю, а вдова Иртакова, та самая, которой Павла помогала копать арык, смотрит, и в глубине ее выцветших глаз шевелится обидная жалость. Эта жалость и тишина ложатся непомерной тяжестью на узкие плечи Павлы, и Павле кажется, что она сейчас упадет. Она прижимает сына к груди, но не двигается с места.

— Воду делить надо,—нарушает тишину упрямый Никита Чодунаков.

— Делить надо... всем воду!

Тишины уже нет,—гнев, злоба, испуг и надежда разрывают ее в клочья: воду... воду... воду... воду!..

Толуш выходит на середину двора.

— Пока забор не поставите—нет больше разговора, аймак разберет!

— Поедем в аймак. — Это говорит Павла и смотрит на тех, кто хотел прогнать ее с собрания:—Аймак разберет.

— Поедем!

— Поедем.

Люди выходят со двора сельсовета и стараются не отставать друг от друга. Люди идут по двум сторонам ручья, вдоль которого лежит поваленный забор. Забор повален, но люди готовятся к новой борьбе.

Рано утром выезжают в аймак Мирон Самандаев и Гаврила Копытов. Еще раньше, до света выезжают делегаты «захватчиков»—Никита Чодунаков и Павла Ундинова. Для Павлы в сущности это не выезд, а возвращение.

Кони переплывают бурный Башкаус и начинают подниматься по тропе, взползающей к перевалу Иол-Узы.

Там, высоко в горах, в бревенчатом домике аймакисполкома, решится спор о «водяном» законе.

3. ОЧЕРКИ

Бор. Пильняк

1. Басмачи и пограничники

Басмачи, как знаменитые актеры, имеют свои имена и славы. В Таджикистане всем известны имена басмаческих курбаши (вождей) Ибрагим-Бека и Файзуллы Максума. Эти милостивые государи были сподвижниками Энвера-паши, ныне они проживают в Афганистане, «точка свои кинжалы» и изредка набегая на таджикские земли. Я не стал бы засорять памяти их именами, если б судьба каждого из них не была б поучительна для таджикского басмачества. Файзулла Максум — бывший каратегинский бай, родоначальник большого племени, — но Ибрагим-Бек никогда не был ни беком, ни баем, а был — вором, при чем вором — узаконенным.

Ибрагим-Бек — прямо сказать — натура даже поэтическая и трогательная, рожденная средневековьем в большей мере, чем бай Файзулла. До революции, при эмирате, когда Ибрагим был узаконенным конокрадом, как конокрад, он

терял право на конокрадство из-за лирической любви к жене мельника, которую неудачно врвал, чем провинился перед начальством, и которой — жены мельника — достиг только после того, как издурочил окончательно Энвера, арестовав его подставными руками и своими руками торжественно освободив на волю. Ибрагим — локаец.

Десять, семь лет тому назад в Таджикистане, в Восточной Бухаре, здравствовало средневековье. Средневековая система правления заключалась в том, что эмир посылал по бекствам на кормление беков, — бекам жалования не полагались, но, наоборот, беки платили жалование эмиру, собирая деньгу с баев, кои в свою очередь драли последнюю рубашку с населения, — это было общее правило. Но были и исключения, свойственные средневековью, аналогичные тому, что было в Московии с казаками, когда казаки платили царям дань, получая за то, обычаем освященные, права грабить: таким же правом

пользовались от эмира в Восточной Бухаре локайцы, узбекское племя, располжившееся в горах Бабатага, вокруг Кокташа, считавшееся разбойничьим, само себя разбойничьим почитавшее, проживавшее вольно полукочевым способом, платившее эмиру дань и конокрадствовавшее по чистой совести и по традиции отцов.

Мораль есть вещь относительная, особенно, если она освящена «святым законом старины», — и каким поленом можно вколотить истину о том, что грабеж — есть грабеж, в голову Ибрагим-Бека, честного, можно сказать, локайца, который воровал и грабил — законно и справедливо!? — (когда он несправедливо воровал, — например жену мельника, — он сам знал, что это несправедливость и каялся!).

Воровство и грабеж по средневековому праву есть экономика — суть экономические отношения, когда эмир законно без жалования посылал грабить беков, которые и грабили, и эмир же давал право локайцам и прочим воровать.

Ибрагим-Бек перестанет грабить только в одном случае: когда он умрет, — он или его время — все равно. Линия ибрагимо-бековского басмачества умрет вместе с окончательной смертью средневековья в Таджикистане.

Беки жили — семь лет назад! — в замках. Верноподданные энного бека разводили каракулевою овцу, — верноподданные мэнного бека разводили каракулевою овцу. Для того, чтобы получить наилучший каракуль, — каракульчу, — надо овце-матери разрезать брюхо за три дня до нормальных родов. Резать брюхо овцам, своими руками вскормленным, вспоенным и выхоленным, — тяжело средневекому сердцу, да и не выгодно! — но каракульча — есть ценность! а средневековая мораль говорила, что хорошо, когда я украду, и плохо, когда у меня украдут. — Поэтому кишлак энного бека, иной раз во главе с самим беком, темною ночью нападает на отару кишлака мэнного бека, чтобы резать овечьи брюха, — при чем нападает иной раз в те самые ночи, когда кишлак мэнного бека режет овец энных. Чистейшая экономика!

И до сих пор, ежели ибрагимы-беки

приступают к своему ремеслу (в газетах пишут — «появилась басмаческая шайка в таком-то районе!»), то приступают они к нему в строго указанные числа, главным образом, когда население свободно от сельскохозяйственных работ.

Теперешний, советский судья жаловался:

— Подите, посудите их! Шлешь подсудимому через милицию повестку, милиционер ее вручил честь-почесть, — подсудимый говорит: «сейчас приду, вот соберусь и приду!» — а сам оседлал коня да в горы, да либо в Китай, либо в Афганистан к басмачам. Пойди, поймай его в горах! В долинах конечно граница охраняется, — а пойдешь на Памире!

(Об этом судье надо в скобках сказать, — он же говорил, что часто к нему приходят судиться афганцы, и обвиняемый, и обвинитель, и свидетели все вместе. Обстоятельство объяснимо просто: в афганском суде средневековье еще здравствует: прежде, чем прийти к судье, надо нести ему взятку, которая и предопределяет исход дела, но которая стоит всегда дороже самого дела, — и афганская беднота ходит в советский суд за справедливостью, кроме всего прочего, и потому, что взятки здесь платить не полагается. Эти ж скобки имеют отношение к басмачам тем, что указывают естественные пути расслоения классов!)

Граница с Афганистаном идет в Таджики по Пянджу, сползая с Памира, — и эта граница представляется мне отвесной не потому, что она обрывается отвесами гор, между которыми течет Пяндж, но потому, что этой границей обрываются социализм в средневековье, средневековье в социализм.

Вдоль границы живут пограничники, которые хранят Пяндж.

На пограничников возложено караулить басмачей. Я был в чудесности быта пограничников. Пограничники говорят о басмачах с такою ж заботой, примерно, как о кабанах. Я лично басмачей не видал, — разве на photographиях, — но пограничники подарили мне ружье, отобранное у басмача. Ружье называется — мултук: это даже не кремневое, но фитильное ружье, самопал в пуд весом, из

которого стреляют с треноги, как при Тарасе Бульбе.

Я был в чудесности быта пограничников.

Амовская полуторатоннка остановилась на площади. Зной превращал площадь в тропики, зной сделал азиатские улочки пустыми. Пыль лежала на моих щеках, на лбу, на ресницах и на белом костюме так, что все стало желтым, как лесс. Я взял котомку за плечи и пошел разыскивать штаб погранотряда.

Ворот никаких не было. Сразу за дувалом возник чудесный столетний парк. Аллея вела в гору к пустому небу. Направо и налево под платанами белели военные летние палатки. Я пошел по аллее к небу. В конце аллеи — широчайшим пологом — полегли долины Пянджа, джунгли, джунгли, джунгли, — за Пянджем — Афганистан, афганский городок, у самого берега Пянджа — афганский пограничный пункт, — за горами была Индия.

Я свернул налево и:

— Что такое!? — русская помещицья усадьба!? — да, усадьба! — белый помещицкий дом, белые флигеля, сейчас же за домом, вокруг дома — парк. Дом и флигеля стоят в зарослях придомовых кустарников, фасадные окна дома оборочены к обрыву, к Пянджу, глядят на Афганистан. В парке и около домов тишина усадьбы.

И еще раз:

— Что такое!? — навстречу мне вышел олень, подошел ко мне, посмотрел, повернулся, ушел, — пошел к белой летней палатке, поместившейся в кустах под платаном. Я проводил оленя глазами, на палатке была вывеска — «контрольный пункт». Против входа в палатку стоял стол и стул. Олень ушел в палатку (на утро тогда я видел: за столом сидел контролер-красноармеец в полной форме пограничника, перед ним развернуты были бумаги, вокруг стола толпились афганские и таджикские дехкане, ехавшие за границу и возвращавшиеся, — красноармеец на минуту вышел из-за стола, ушел — сейчас же тогда появился этот олень, стал рядом со стулом, положил голову на бумаги, — заменил контролера!) Олень ушел в

палатку. В парке переключались незнакомые моему уху птицы, ворковали субтропические голуби.

Начальник отряда товарищ Б. встретил меня как старого знакомого.

— Пойдем купаться на реку или удобнее под колодезем? — моя жена больна к сожалению, — у нас коллективный огород, сажаем русские огурцы, капусту, о капусте здесь ведь никто не знает! — жена полела помидоры, была наша очередь, и доработалась до теплового удара. Помойтесь, сходим посмотреть наше хозяйство, — и тогда готов будет чай, — я угощу вас индийским.

Я счел за благо мыться из ведра у колодца.

Сейчас же после воды мы пошли к Пянджу, к самой воде: мне хотелось ступить на самый-самейший край СССР. Еще раз, как на Вахше, как во многих местах, я пересыпал на ладони желтый песок, поблескивающий золотыми крупинками. Сейчас же под домом, под обрывом начинались тугай, — джунгал, — джунгли! — Над головами возникли мириады различнейших москитов, занули, застонали, зазвенели, — задушил сырой зной, закружил голову сотнями запахов. Камыш и ветвистый тростник, завитый, спутанный десятками различнейших вьющихся растений, солодка, мяя, турангыл, джида, кендырь, гребенщик, тамариск, — белые пахучие цветы плюща, эти растения стояли сплошной дышащей стеною, соккрыли нас, свисли над нами. Солнце садится в Таджикистане быстро. Солнце шло к закату. Кричали болотные птицы. Из-под наших ног взлетали стаями фазаны. С закатом закричали жабы, лягушки, зазвенели цикады. Мы вышли к Пянджу, Пяндж ревел под ногами. Я был на самом-самом краю СССР. На ночи, когда в джунглях начинают жить звери, люди уходят отсюда, — ночами здесь рыкают тигры и по болотцам бегают фосфорические синие огни, — впрочем люди и не живут в джунглях, где живут лихорадки и звери, в которых каждую минуту можно заблудиться и погибнуть. Мы вернулись к штабу, — на огороде я видел стройные ряды православной капусты, посаженной красноармейцами, — но за десять минут до захода солнца мы опять были

над Пянджем, над тугаями. По зимам в эти тугаи прилетают с севера от нас, из таежных областей, с тундры, с арктических островов гуси и лебеди, чтобы зимовать здесь. Здесь стадами живут кабаны, олени, одичавшие лошади. Солнце садилось за горы всем своим субтропическим величием. Джунгли готовились к ночной жизни.

— Сейчас заводят шакалы и будут мяукать рыси и дикие кошки, — сказал товарищ Б.

И действительно, за две минуты до заката солнца из джунглей понеслись отвратительные, плачущие, стонущие, напоминающие крик задыхающегося ребенка, вой шакалов.

— Отсюда можно иной раз слышать рев тигра, — сказал товарищ Б. — В этом году пограничники убили трех тигров, одного из них мы послали в подарок товарищу Сталину. Таджики называют тигров — джул-барс, — барсами из джунглей. Сейчас же после заката солнца тигры идут на свою работу. Около тигра всегда живет кара-кулак, камышевая рысь, которая беспрестанно визжит и мяукает еще ужаснее, чем выдра. Своим мяуканьем она навлекает на себя хищников, которых бьет тигр, — она питается тем, что остается от тигра. Если вы услышите этот ужасный ее вой, знайте, что рядом тигр.

Я прислушался к джунглям. Из мрака, который пришел сразу за закатом солнца, неслись тысячи звуков необыкновенной, первобытной жизни природы. Так в молчании мы стояли четверть часа, с'едаемые москитами.

Таков самый-самый край СССР под Памиром!

А вечером мы пошли в клуб — на ту самую пустую площадь, на которой я покинул в западни автомобиль, — сейчас эта площадь, сплошь заставленная столиками и застланная кошмами для таджиков и афганцев, являла собою сплошную чай-хану. Палительное солнце припамирья сейчас же за своим уходом несет прохладу отдыха. За столиками сидели пограничники, на кошмах сидели и полулежали таджики. Одни ели плов или шашлык, другие пили чай-кабуд. Над этой чай-ханой крышу заменяло

небо, где звездам было тесно от бесконечного их количества.

За нашим столиком слово держал товарищ М., которого прозывали Максумом. Штаб отряда, который походил на помещичью усадьбу, командовал большим пространством границы, — в усадьбе была тишина, но по границе, по дозорам и пикетам творились пограничные дела, проезжали дозоры, в пикетах караулили ночь красноармейцы, рыкали тигры, подкарауливались контрабандисты и басмачи. Мы пили чай под крышею неба. Товарищ Максум провёл в Таджикистане все годы гражданской войны, — и Максумом его прозвали потому, что он сам стал походить на таджика, говоря на всех таджикских наречиях, приняв таджикский быт, да и проживая среди таджиков. Мне до встречи с товарищем Максумом были известны обыкновенные истории, когда на отряд басмачей в сорок человек нападали семеро красноармейцев и разгоняли басмачей, — слышал я об одном краскоме, который сам-три, он, да двое красноармейцев, приняли атаку двадцати басмачей, рубались так, что убито было семь басмачей, оба красноармейца также были убиты, краском, израненный, остался победителем, отправлен был на Кавказ залечивать раны и получил от начальства нагоняй за храбрость. Товарищ Максум пил чай-кабуд не спеша, отираясь полотенцем, и говорил не спеша о временах, когда он гнал «бухэмира», как говорил сокращенно, и рассказывал разные вещи по поводу, кстати.

Например:

— К собакам, знаете, надо относиться с уважением. Сколько раз собаки мне жизнь спасали. Один раз пришлось мне заночевать в чай-хане, неподалече отсюда, было это в году двадцать четвертом, в войну, одним словом. Кишлак расположен на горе, чай-хана на обрыве, с этой стороны дувала нет. Застрля я в этом кишлаке один, без товарищей. Заночевали в чай-хане я да еще двое русских, штатских, хотя оружие при всех было, две винтовки, наганы, при мне — гранаты. Хозяин ушел из чай-ханы к себе домой, к жене, что ли. Сплю, винтовка и гранаты под голову. Спим на террасе. Терраска, знаете, на возвышении.

И вдруг слышу во сне — скулит собака. Открыл глаза. Луна светит... Извините меня, я тоже вот помню случай: ночевали в разбитом кишлаке, ни души в нем нет, только наш дозор, человек пять устроились на ночлег, — вечером так же луна светила, я вышел на двор, собрался зайти за разбитое дувало, забыл, по какому делу, — подхожу, а на меня с той стороны тигр смотрит, глаза на лунном свете в роде слезятся, — я даже забыл, по какому делу за дувало собрался, и теперь думаю, что второй раз живу, — как я тогда из нагана в глаз тигра уложил!.. Ну, так вот. Открыл глаза. Двое моих русских спят, и истошно так воет собака. И вижу на дворе, в тени, в обход к террасе ползут гуськом басмачи. Будить русских я не стал, все равно, знаете, думаю, как гранату брошу, пронутся, а пока надо выждать положение, — думаю, как подойдут к лесенке на терраску, я гранатку и брошу им под ноги. Наблюдаю, — ползет человек пятнадцать. Соображаю, в кишлаке есть сочувствующие, — либо сами помогут, либо сгоняют в Куляб, там наша часть стояла, — это, знаете, около Куляба было. Действительно, бросил гранатку. Они там под лестницей завизжали, басмачи, а русские сразу сели и руки к лицам, сразу видать, штатские. Я им говорю, — басмачи, отстреливайтесь с умом, чтобы патрон хватило, а то зарежут, — а они, как услышали про басмачей, опять легли и лежат, как мертвые. Я их тревожить не стал, время терпит, думаю, пусть очухаются, — потом думаю, — вот ведь народ какой, — зарежут, говорю им, вас голыми руками. Басмачи тем временем засели кто где и начали обстреливать нас. Я не спешу. Высунулся один, я его положил. Другому всыпал. Ранили меня в плечо. Стреляют пачками, — конечно бестолково, — но отстреливаться надо. Я говорю русскому, у которого винтовка, — дай, мол, твою винтовку, а мою заряди, мне некогда, — а он не двигается, — я ему еще раз сказал, молчит, — вот, сукин сын, думаю, или убит? — Я тогда взял да стрельнул ему потихоньку, в... из нагана, чтобы оживить. Сразу задвигался, — я, конечно, его чуток подранил, — подал винтовку, а мою зарядил. Стреляем так минут

двадцать, с рукой мне трудно, помощи нет, — я говорю другому русскому, — прыгай с терраски прямо под обрыв, беги за помощью, а мы тут побудем. Целую ночь отстреливались. С тех пор я ни одной собаке зла не делаю. И еще много случаев было, когда собаки меня спасали. Знаете, собаки в нашей жизни очень важное дело. Басмачи тогда на рассвете от меня отстали, преследовать их я не мог. А штатский — в суд подал, что я его малость порвал: меня, знаете, оправдали. А про собак, так я вам про нашего Бабая расскажу. Видели, может, у нас в отряде желтый такой пес с отрезанными ушами и со сломанным хвостом? Так этот Бабай по всей границе для собак все равно, что товарищ Б., начальник. Ведь этот Бабай умнее многих людей. Он, знаете, собачий командир. Днем он, предпочтительно, лежит в арыке, весь в воде, только голова наруже, — это для прохлады и от москитов. А то, извините, есть у нас тут один афганец, которого всякие гады кусают, а он не помирает, каракурт, знаете, кусает, кобра, фаланга, скорпион. Да Впрочем я его сейчас позову.

Товарищ Максум крикнул в темноту по-таджикски.

— Сейчас его позовут, — сказал товарищ Максум. — Бабай сколько красноармейцам жизнь спас, сколько контриков и контрабанды переловил, не считать. Я, знаете, если получу сообщение, что с той стороны шаланда с контрамиками собирается... — собака ведь, — красноармеец проходит, так человек, рыба — он внимания не обращает, а ежели басмач или контрабандист — прямо нельзя понять, как узнает! — если много басмачей или контрабандистов, он бежит в отряд с тревогой... — так вот я, ежели получу сообщение, что с той стороны шаланда собирается, я людей не тревожу, я беру гранатку и иду на горку один, — если гранатку ловко бросить, вся шаланда в Аральское море уплывет. Все собаки его уважают, и характер, знаете, у Бабая строгий и справедливый. Один раз Бабай привел в штаб кабаненка, вел его за ухо. А в Мерве был пес, в роде Бабая, так тот на поезде ездил в Кушку, наводит собачий порядок.

Рядом где-то заиграл военный оркестр.

— Афганцы сейчас наберутся к берегу, музыку слушать,—сказал товарищ Б.—Наш оркестр очень хорошо слышно в Афганиии.

Подходил к нашему столу средних лет Тарас Бульба, знаменитый в отряде тем, что убил шестьсот штук кабанов. Пришел афганец, сухой, стройный молодой красавец, в чалме, в красном халате, — человек, который не умирал от укусов гадов,—присел к нам, по-русски он не говорил.

— Вот этот самый мой приятель и не умирает от гадов,—сказал товарищ Максум, знакомя,—и заговорил по-афгански. — Жаль, нету при нем сейчас коробочки какой-нибудь, он подарил бы вам, а каракуртика, знаете, повезите уж от нас на память, — сказал товарищ Максум.

Афганец пошел добывать каракурта, укуса которого смертелен. Товарищ Максум рассказал историю своего приятеля. Афганец. Его профессия: удивлять людей тем, что он не мрет от укуса гадов. Он, этот афганец, был в Персии, в Индии, в Китае, кроме Таджикистана и своей родины. Он не только не умирает от гадов, но он умеет их находить и подсвистывать. Сейчас он работает на Таджикгосторг, сдавая туда кожи змей и варанов, пустынных крокодилов-ящеров. Этот афганец принял свою профессию от отца, от отцов,—эта профессия не умирает от укуса гадов пришла из древности,—отцы учили детей, иные дети умирали, но остававшиеся в живых были иммунны к укусам гадов. Афганец вернулся с коробочкой от экспортного монпансье Моссельпрома за пазухой и с каракуртом в руке. Каракурта пустили на стол,—пограничники и я в том числе отодвинулись от стола. Афганец дал каракурту немного побегать по столу и убрал его в моссельпромную коробочку вместе с его гнездом, похожим на грецкий орех. Я почтительно положил коробочку в карман, чтобы отвезти каракурта в Москву,—но я не довез его: в одном месте на острове Урта-Джунгал я нырял в воду вместе с лошадьё, по лошадиные уши и по мой шлем,—в Сталинабаде поэтому с величайшими пред-

осторожностями я открыл коробочку с каракуртом,—в коробочке лежали отдельно тельце каракурта, его ножки и гнездо,—каракурт умер от зноя, высохнув.

Афганец попрощался с нами, приложив руки к груди. Оркестр стихнул. Товарищ Максум заговорил:

— А я, знаете, расскажу вам еще одно дело про гадов. У нас тут опиокурильщики есть — —

но этот рассказ товарища Максума я отложу на конец главы.

Мы вернулись в штаб, в парк. Внизу во мраке ревел Пяндж. Во мраке лежал Афганистан. Границы, разделяющие народообразования, всегда таинственны. Какие дела творились в тот час на границе? — какие мысли были у пограничников в пикетах?

Товарищ Б. сказал перед сном:

— Очень надоедают нам здесь крысы и термиты. Я покажу вам завтра, какие квартиры настроили себе крысы около арыков. Нам присылали крысинный тиф, но он портился в дороге. Ведь почта к нам идет около месяца.

Следующий день у меня прошел в отдыхе, одиночестве и сне. А в три часа ночи, чтобы до солнца, до зноя перевалить через безводный хребет Кара-тау, я ушел в поход,—на самую дальнюю комендатуру. Со мной шли помощник начальника комендатуры товарищ Ю. и красноармеец товарищ Нагорный, украинец родом. Ночь была черна, как сажа. В темноте парка мы приладили вещи к седлам, лошади позвякивали удилами. Лошади пошли в сажу ночи. Шагом и в безмолвии границы выехали за кишлак.

— Рыснем, — сказал товарищ Ю., и мы пошли крупной рысью—опять-таки в сажу, ровным плато, до предгорий.

Залаяли в темноте собаки,—подехали к пеплу костра, рядом была кибитка. Нас окликнул пограничник.

К слову надо сказать о том, что называется в Таджикистане кибиткою, ибо говорится, что многие заставы только в этом году переходят из кибиток в дома,—так кибитками называются там все не кибитки в русском понятии этого слова, а—местные глиняные дома, которые сами таджики называют ханами,—

при чем товарищ Ю. о своей квартире говорил, что у него две кибитки и кухня,—то-есть две комнаты и кухня.

Как в сажу мы полезли в горы. Товарищ Ю. ехал впереди меня, Нагорный—сзади,—так мы ехали всю дорогу. В десяти шагах я не видел товарища Ю., следуя за ним по слуху. Хотелось спать, и ноги притерпчивались к седлу. Нам предстояли пятьдесят километров безводного перехода без отдыха, с одним термосом воды. Позвякивали подковы лошадей о камень, позвякивали удила. Ни звука не было в мертвых горах, убитых безводьем. Там, где дорога подходила, товарищ Ю. говорил: — рыснем?—и мы шли рысью, походным аллюром.

Рассветы в Таджикистане приходят так же, как закаты,—очень быстро. Вдруг я увидел очертание вершины и различил во мраке силуэт товарища Ю. Через четверть часа небо было уже зелено, и я видел вокруг мертвую пустыню выжженных, желтых камней и песков, сирость, убогость смерти и не понимал, каким образом здесь, где нет ни одной травинки, растут, запыленные и пожухлые, фисташковые деревья. На иных деревьях на сучьях висели пестрые ленточки, — это были мазары — священные деревья, и эти белые, красные, зеленые, синие тряпочки были оставлены непонятно проходящими верующими,—непонятно потому, что эти места были в запрещенной полосе. Еще через четверть часа палил зной. Ни единого человека не встретили мы на горах, и только на спуске повстречался нам военный автомобиль.

Мы приехали в зной к реке Кизыл-су. На заставе там, испив множество чашек чая, мы легли в прохладе и темноте конюшни спать, в расчете превратить ночи в дни, чтобы не страдать зноем, оставив для дня лишь переход по острову Урта-Джунгал.

Однажды такую же ночью, как сажа, уже под самую той комендатурой, которая была конечной целью моего похода и где начальствовал товарищ Ю., был со мной такой случай. Надо было бы, по существу говоря, заночевать, — мы спешили к дому. Мы перебирались через последний перевал. Были полночь

и звезды. Много раз уже было так, что мы пробирались тропинками над пропастями, в высотах, когда внизу под нами жили кишлаки. Переход за те сутки был километров в семьдесят. Мы ехали молча в усталости. Должно быть, я спал на коне. Я проснулся. Звезды. Совершенный мрак. Цоканье подков. И рядом внизу, в километре отвеса я увидел огоньки кишлака. В губах у меня осталась забытая папироса. Я машинально ее закурил, стало вдвойне темно. Тогда я подумал, что папиросу надо бы бросить и надо лошадь отвести вправо от обрыва, чтобы не свалиться. Я повел левой рукой, в которой были поводья, чтобы отодвинуть лошадь,—лошадь не послушалась,—за моим коленом были огоньки кишлака.

— Пойдешь же ты у меня! — сказал я вслух и повел поводьями строго.

Лошадь не слушалась. Правой рукою я вынул изо рта папиросу, бросил и замахнулся нагайкой,—и: моя папироса не упала на землю, но—летит, летит, летит! Из темноты я услышал сонный голос товарища Ю.:

— Вы поосторожней. Здесь с обеих сторон пропасти.

Мой конь, которому я хотел помешать итти, выручил меня от того полета в пропасть, который сам я себе готовил.

В одном месте, после зноя Урта-Джунгал, мы переправлялись на турсуках через Беш-Капу. На раму, связанную веревками и положенную на бурдюки, мы сложили наши вещи, седла, оружие. Таджики-перевозчик привязал одного из наших коней за хвост к плоту, сел на него верхом (другой таджик других коней повел вплавь). Конь, привязанный за хвост к плоту, был той силою, которая управляла нами. Таджики управлял конем. Секрет управления заключался в том, чтобы лошадь, на стрежне, в курьерском ледяной воды, обезумев в инстинкте самосохранения, не бросилась бы на плот,—тогда с плота в воду валяются люди (вещи привязаны) и гибнут.

В Урта-Джунгал мы двинулись в зной, на этот остров джунглей. Когда мы спускались с гор к джунглям около Кизыл-су, мы видели стадо кабанов,

уходивших в горы на отдых. Зной! нестерпимый зной. Тропа видна в трех шагах впереди,—направо и налево свисают листья, — эти стрелообразные листья болотных растений, — камыша, тростника, джиды, — они бьют по лицу, через них я вижу зеленую фуражку товарища Ю. да круп его лошади. Мы едем в камыши, как в стену. Из-под ног взлетают фазаны. Зной! нестерпимое удушье. Мириады насекомых летают над головами коней и нашими. Направо и налево непролазные стены камыша,—поистине непролазные, ибо куст в куст камыши стоят сплошною, задыхающеюся стеною и все перевито лианами плющей. Здесь, кроме зверей, могут быть только пограничники, — поэтому товарищ Ю. очень внимательно и очень озабоченно изучал афганский халат, брошенный на дороге, а с ближайшей заставы помчались всадники разыскивать того, кто бросил халат. Когда мало-мальски раздвигались тростники, товарищ Ю. говорил:—рыснем! и по нашим лицам бил тростник. Иной раз под ногами возникали ручьи, мы ехали километрами по воде. Рядом, невидимый, ревел Пяндж. Однажды, когда товарищ Ю. сказал: — рыснем! — и нас хлестал тростник, вдруг фуражка товарища Ю. и круп его коня исчезли передо мною, а через секунду я видел, как уши моего коня покрыла вода и ощутил, как вода сорвала с головы мой шлем. Корни камышей и тростника, сплетаемые веками, крепче земли, — Пяндж подмывает землю под корнями. — и вот Пяндж появляется среди тростников в нежданно-негаданом месте. Я не успел осознать, что я окунулся в воду, как конь мой вынес меня на дерн дороги и понес вперед, карьером, пока не наткнулся на коня товарища Ю. Кони храпели, мы были мокры, как мыши. Мы попали в промоину, сделанную Пянджем, когда Пяндж мог взять нас и снести на сотню километров вниз. Этою ночью по этой тропинке проходили дозоры, — за какие-то часы Пяндж вылез на тропинку из-под земли. Мы выжимали, с'едаемые москитами, воду из нашей одежды и долго ждали товарища Нагорного, который, увидев, как мы ныряли в воду, должен был превра-

титься в путешественника, открывающего новые земли, и вместе с конем искал и прокладывал новую дорогу, рубая камыши шашкой. В тот день к ночи мы добрались до комендатуры, до отдыха, мылись, пили, отдыхали. При нас вернулись первые дозоры с пикетов, и красноармеец в темноте у коновязи, расседлывая лошадь, украинец, на своем языке, стиль которого я не могу передать, рассказывал:

— Еду я в темноте и думаю. Осенью у меня конец службы. Дома у старика хата. А у меня у седла оторвалось крыло. Винтовка за спиной. Крыло в руке. И вдруг из-за куста на меня—прэвэлыкый кит! — пролетел мимо моей груди, над головою коня, — я его крылом по усам хлопнул, а сам подумал: вот тебе и старикова хата!

Прэвэлыкый кит—это я навсегда запомнил—громадный кот!—на красноармейца прыгал или тигр, или барс,—этого не разобрал сам красноармеец, не установив, кого он бил по усам крылом от седла. Мне рассказали тогда, установленное из практики, что, если тигр или барс бросаются на жертву и промахиваются, они оставляют жертву в покое, если сама жертва не нападает на них, как это делают охотники.

Зной! вода!—сколько воды я испил за этот поход! и какой!—я пил из арыков, из луж, пил однажды из лужи в тот самый момент, когда туда мочилась корова. Зной! вода! переутомление похода! — я спал на земле под солнцем, в конюшнях застав, в юртах, в кибитках красноармейцев. По дороге мне показывали:—гору, сплошь состоящую из соли,—место, где красноармейцы-украинцы, криворожцы, нашли каменный уголь и топятя им без всяких заявок,—гору азбеста, — показывали мне речку, где роют кустари-таджики золото. По горам, у рек, в джунглях—на комендатурах, заставах, на пикетах живут замечательные люди, которые называются пограничниками,—живут тем бытом, которому посвящена эта глава. Видел я на границе контрабанду,—и о ней надо сказать, что контрабандисты от нас везут—ситец, мануфактуру, мелкие металлические поделки, — это указывает мне на существенное обстоятельство отсут-

ствия ситцев и прочих мануфактур в странах, которые суть в полном смысле «благословенными» английскими колониями и — двусмысленными полуколониями, в роде...

Видел я на границе моих соотечественников, которые хотели бежать за границу. Их два типа. Тип первый мне симпатичен, вторых мне жалко. Первым по возрасту — от семнадцати до двадцати пяти лет: это люди, начитавшиеся Майн-Рида и Диккенса, фантазеры, охотники за кобрами, иогисты и прочее. Тип второй, — люди обязательно от сорока лет и тоже, должно быть, мечтатели. Я расскажу судьбу одного такого, с которым я разговаривал. Московский бухгалтер, сорок семь лет, немецкая фамилия. Через Москву в течение нескольких лет он пересылал маленькие доллары в Индию. Он покинул Москву, подписав договор на работу в Таджикистане. Он поселился в приграничном городке, работал в кооперации, жил у таджика. На дворе у таджика он вырыл бассейн и в течение полугода учился плавать на турсуке. Он выступал в кооперации завзятым советским деятелем, чтобы отвлечь от себя подозрение. Он изучал таджикский язык, чтобы не пропасть в Афганистане. Еще в Москве он изучил язык английский, чтобы не пропасть в Индии. Все было предусмотрено. В тот час, когда, ночью, с двумя турсуками (один для плаванья, — в другом собраны были вещи, необходимые в пути, спрятанные в турсук, дабы не измокли), — в тот час, когда он разделся на берегу Пянджа, чтобы пянджескою водою смыть с себя прах Союза социалистических республик, — к нему подошел пограничник и сказал заботливо:

— Идемте гражданин Л.!

На последней комендатуре, где помначальствовал товарищ Ю., откуда я покидал границу, я встретился с моим коллегой, с писателем, с человеком, заваленным книгами и книгами бредящим, — здесь, откуда до Москвы ехать три недели и куда почта идет полтора месяца. С товарищем К. я вел там странные разговоры о том, жениться ль ему на таджичке, — он обуславливал эту женитьбу (а оба они любили) возмож-

ностью повезти жену в Москву, чтобы она училась, чтобы затем в Таджикистане была лишняя культурная женщина. В этой комендатуре, уже в горах, где вся красноармейская мебель сделана из ящиков от патронов, где люди живут уже бытом горного, а не долинного Таджикистана, красноармейцы показывали мне школу, которую они сделали для таджикских детей, коконосушилню. И какими замечательными пирогами угощала меня на комендатуре жена товарища Ю.! — никогда в жизни не ел таких на кабановом сале пирогов!..

Товарищ же Максум в штабе отряда, на площади, которая была превращена в ночную чай-хану, рассказывал мне о гадах и об опиуме. Опиум, этот сок мака, который превращает людей в маньков и убивает людей, окружен таинственностью средневековья так же, как пантовые рога и корень жень-шень. Для тех, кто курит опиум, он дороже золота, — потому что опиум можно выкурить, а золото с'есть нельзя, — да и рыночная — черная — цена опиума дороже золота, потому что грамм вареного опиума стоит дороже грамма золота. Разведение опиума запрещено, но опиум разводят: для этого в горах находят потаенные площадки, в непроходимых местах, — поэтому часто в непроходимых местах гор находят истлевшие трупы около опиных площадок, — тех людей, которые сажали опиный мак, но которых проследили другие опишники и убили, чтобы собрать опи. Сырой опи есть сок головок опиного мака. Для того, чтобы опиный сок был хорош, чтобы его не спалило, не испортило солнце, надо надрезы на маковых головках делать в час после заката солнца и надо собирать сок за час до солнечного восхода. Опи несут за границу и приносят из-за границы: афганские и китайские пограничники за унций опиума пропускают через границу кого угодно. Опи имеет специфический запах, — чтобы его скрыть, его вмазывают в глину стен иль прячут в горах. Опи не имеет охраны государственности, и вокруг него всегда преступления, убийства, темные дела. Я курил опиум раза два, — на меня он не действовал никак, — но, должно быть, правильно, что

это самый страшный наркотик, который, подчинив себе человека, разрушает его волю, завладевая человеком всецело, посылая его даже на смерть. Государственность борется с опиокурением, с опиокурильнями, разыскивая и разоряя их, — и: — вот рассказ о гадах. Гады, оказывается, так же, как люди, подвержены силе опиума. У каждой опиокурильни есть свои гады. Опиокурильня разрушена, — опиокурильщики устраивают новую опиокурильню, — и из щелей, из-под лавок вдруг высовывают свои головы черепахи, ящерицы, змеи, чтобы нюхать опийный дым, — гады нюхают воздух, гады вдыхают запахи опиума, гады блаженствуют. Опиокурильня разрушена вновь, гады приходят на новое место. Опиокуренье, как вообще наркотик, есть ерунда и мерзость древности, варварства, варварского отношения человека к самому себе. Опиокурильщики, люди и опиокурильщики-гады — братья!..

Я написал это, чтобы рассказать о быте границы в Таджикистане, пограничной страны СССР, — но начал речь о басмачах: заканчиваю ее рассказом об опи и опийных гадах, потому что опийные гады суть также линия басмачества. С этим надо считаться, потому что это есть в жизни. В горах по границе сейчас строятся богарные красноармейские колхозы. Остров Урта-Джунгал, где мы тонули, сейчас уничтожается, — река Беш-Капу уничтожается, и этот остров джунглей будет отдан хлопку и рису. Я рассказал о том, как Таджикистан граничит со средневековьем и каков самый-самый край СССР.

С границы я приехал в Пархар, чтобы взять оттуда самолет, чтобы, распрощавшись с Майи-Ридом, вернуться к Клондайку.

II. Таджикистанские ночи

И есть третий Таджикистан, кроме горного и долинного. Этот никогда не был Бухарою, отделенный от первобытности эмирских колоний ледниками и арктикой Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского хребтов. Он омывается водами уже не Аму, но Сыр-Дарьи. Он был русской колонией. Его столица — Ходжент, город садов, шелка и истории.

История таджиков этой страны отлична от первобытности гор, и история очень древняя, как древен город Ходжент, — города Каннибадам, Ура-Тюбе. Город Ходжент так же обилён прекрасными памятниками старины, как Самарканд. Город этот известен за две с половиною тысячи лет до нашей эры. Город менял имена вместе с историей: он назывался Кир-эсхата в честь персидского Кира, Александрия-эсхата в честь македонского Александра. Арабы в восьмом веке нашей эры назвали этот город Худжандой. Восточные историки называли Ходжент «невестою государств». Все в этом городе говорит о древности, улицы, мечети, развалины дворца, — и этот город бросает мысли в раздумья о судьбах Стамбула, Smyrny, Яффы, Бухары, Самарканда, похожих на него и имевших общую с ним историю — историю магометанской культуры, ныне умирающей.

Ныне Ходжент — город садов и шелка, как и вся страна, лежащая вокруг него, богатейшая, древняя и нищая, — эта страна, более похожая на Фергану, чем на Таджикистан бухарский.

Я б опустил в моих очерках Таджикистан Ходжента, если б он был только «жемчужиной» Таджикистана, как его там считают, — и я пишу о нем потому, что он есть не только «невеста государств», но и ключ «государств».

Мои дни были очень напряжены в ходжентской стране. Я пробирался туда дрезиной от Сталинабада до Термеза, аэропланом от Термеза до Ташкента, поездом от Ташкента до Ходжента. От станции Ходжент до города, до реки Сыр, двенадцать километров субтропических садов и древности. Я остановился в древнем переулке на коврах товарища Хассанова, литератора и европейца, отец которого ни разу не вышел ко мне, «кафыру», а брат и сестры говорили о мировой революции и русской литературе. Автомобиль бросал меня в Ура-Тюбе — садами, садами, садами, древностью и шелком, шелком, шелком. Сменив часы бодрости полуночью отдыха на обратном пути в тишине дома товарища Хассанова и сменив автомобиль, я поехал в Каннибадам («город миндаля»), опять садами и шелком, го-

рами сушеных фруктов и дынь у складов треста «Флодопереработка» и специфическим, распаренным запахом варимых шелковых коконов. Каннибадам мне запомнился, кроме древности, громадною фруктовою фабрикой. За Каннибадамом идут выжженные солнцем горы. Автомобиль понес нас в них—на Санто, на сантоиские нефтяные разработки. Мы должны были из Санто ехать дальше—в Шураб, на шурабские каменноугольные копи. Но в Санто мы разбили машину, а со мною — —

тот, кто не знает азиатской малярии, тому мне не удастся рассказать. В припадках малярии весь мир становится горьким,—горькое солнце, горькая земля, горький хлеб, горькая вода, — все горько, как хина. Дни от Сталинабада, когда дни уходили на то, чтобы видеть, а ночи оставались для передвижений, все вдруг, сразу спуталось. В Шурабе я не был. Санто я запомнил убитыми нефтью землями, нефтяными вышками, нефтеперерабатывающим заводом, рабочим собранием, разговорами в рабочем бараке, промфинпланом, — зноем, который для меня превращался в нестерпимый холод озноба, гораздо более страшный, чем на ледниках перевала. Меня—в сорока градусах приступа малярии—отвезли в Каннибадам, на фруктоперерабатывающий завод. Завод, на котором работало до тысячи таджикских женщин, заваленный мешками фруктов, залитый электрическим светом и дышащий дыханием машин, как все заводы, — завод спутался в моих ощущениях малярией: когда я, в заводской конторе на походной кровати, поднимал от подушки голову, я видел реальность — заводский двор, палисад, штабеля фруктов, корпуса цехов, — в бреду ж спутывались пространства, время, физическая боль разламывала, раскалывала голову и завод вдребезги,—завод опускался в знойную горечь хины и в холод перевалов. Бреды описывать здесь не место. На утро меня отвезли к железной дороге, поезд отнес к станции Ходжент. Новою ночью меня везли к ташкентскому поезду, чтобы в Ташкенте в меня вливали громадными шприцами жидкий раствор хины.

И тем не менее: — —

Город Ходжент есть город ткачей и делателей шелка, среднеазиатская Брусса и среднеазиатский Иваново-Вознесенск одновременно,—и город Ходжент есть город садов. И все это есть Таджикикия. Иваново-Вознесенск и Бруссу я беру образами: Брусса есть древность и кустарничество,—Иваново-Вознесенск есть машина. Старый Ходжент есть город глиняных улиц, когда на улицы не выходит ни единого отверстия, кроме низеньких дверей. За стенами на каждом дворе обязательно квадратный двор, несколько деревьев тут, арык, две террасы двух половин дома, женской и мужской: — и на каждом дворе есть третье помещение, полутемное и сырое, обязательно сырое, чтобы шелк волгнул,—помещение, где стоят кустарные ткацкие станки и станки для разматывания и скручивания шелка.

В этом брусском Ходженте живет несколько тысяч ткачей-кустарей. Весною женщины носят подмышками грену — яички шелкового червяка, похожие на маковые семена. Теплом подмышек женщины греют грену, чтобы она ожила. Когда из грены возникают микроскопические червячки, их кладут в домах на пол, на доски, на рамы, всюду, куда можно положить, их покрывают листьями тут, для них топят печи, если недостаточно тепло, люди выселяются из домов на эти дни, когда растут червяки. Червяки едят тутовый лист и растут ежечасно. Они миллионами ползают по человеческим жильям. Иногда они миллионами дохнут от повальных болезней,—тогда люди плачут над их трупами, как над пепелищами,—но здоровые червяки, об'ев всю тутовую листву, повисают на потолке, на стенах, на рамах, всюду, где можно повиснуть,—червяки выпускают из себя шелковую паутину и закутывают себя ею. Жилья людей превращаются в пещеры, заполенные арктическим инеем, когда иней коконов, выкрасив жилья в белое, в зное субтропиков напоминает шелковый мороз. Когда червяки окончательно закутаны в шелк своих коконов, люди начинают дело смерти: с осторожностью матери женщины собирают коконы, миллионы жизней,—эти миллионы жизней кладутся на противни и убираются в пе-

чи, чтобы там в медленном удуше умерли бы высохли червяки, создавшие шелк. За делом смерти начинается дело мужчин. Мужчины, уже артелями, в глиняных и в чугунных котлах варят, распаривают убитые коконы. В те дни над Ходжентом стоит удушливый запах распаренного шелка. Ловкостью фокусников мужчины вылавливают в котле одну-две-семь шелковых ниточек, поддевают их на крючки, — крючки отдают шелковинки веретену, — веретено вертится вторым мужчиной, и в воде кружатся, спешат размотаться мертвые коконы. Так день, два, три, пока не размотаны все коконы. Семь шелковинок создают шелковую нитку. Эти семь шелковинок, намотанные на веретено, переходят к другому, от древности пришедшему станку, на котором шелковинки скручиваются, сучатся, окончательно превращаясь в годные к ткачеству нитки. Затем их красят. И тогда их — или растягивают на ткацких станках в виде основы, или перематывают на челноки. На станах ткуются чалмы, материи для халатов и женских платьев, платки, покрывала для одеял, пестрые азиатские ткани, древность, известная миру не меньше, чем брусские шелка.

Те, кто кормит червей и тклет шелк, не носят шелка, эти люди хворают чахоткой и слепотою, — имена иных ткачей в Ходженте надо перенести из цеха ткачей в цех художников, но труд этот нищ и жесток.

Сейчас этот труд побратался с кооперацией, перерастает в артели, и тем не менее — он умирает. Если у него уничтожен враг-скупщик, враг-кредитор, — то у него остался и растет, и сильнеет враг-знание, враг-культура.

В Ходженте есть завод, который похож на лабораторию университетских клиник, — гренажный завод.

Центральный цех этого завода есть громадный зал, где сотня микроскопов контролирует грену. На этом заводе отбирают лучшие коконы. В светлом зале, в комфортабельности на этом заводе из коконов рождаются бабочки. Бабочку-самца и бабочку-самку сажают в отдельную марлеву клетку. Бабочки любят. Бабочка-самка кладет семена — яички,

грену. Бабочки умирают. Марлеву клетку складывают и — в первый раз — идет под микроскоп, где, занумерованная, рассматривается под микроскопом эта мертвая чета, оставившая жизнь в семенах, — порода бабочек, их сложение, их здоровье, их индивидуальности, — здесь же рассматривается их потомство, его количество и качество, эти тысячи яичек, оставленные парой бабочек. Больные марлевые тряпочки уничтожаются. Здоровые марлевые тряпочки идут в следующий цех, там собираются яички, там яички сортируются и изучаются вновь. Когда яички рассыпаны по мешечкам, по породам, по возрастам, по качествам, они идут вновь под микроскоп. Затем эти яички — грена, созданная заводом, — идут жить.

Они отправляются на новые заводы, где для грены, а затем для червячков, приготовлено все, чтобы червячку было тепло, чтобы он был сыт и имел место повеситься. На этих заводах сушатся коконы, распариваются затем и разматываются — машинами, под контролем термометра, — машины здесь обезличивают коконовую смерть, — и машины отсылают коконовую нить на ткацкие заводы, где, машиноюдвигаемые, челноки ткуют многожды лучшие чалмы, материи для халатов и женских платьев, покрывала и знаменитые уже по Средней Азии ходжентские платки.

Гренажный завод, шелкосушильные и шелкомотальные заводы, ткацкую фабрику в Ходженте создала советская власть. Женщины в Ходженте на улицах ходят в паранджах. На фабрике и на гренажном заводе (на гренажном заводе — над микроскопами) работают только женщины — без паранджей. Иваново-Вознесенск не только побивает Бруссу, но он же снимает с женщин паранджу.

Ходжент — Ура-Тюбе — Каннибадам («город миндаля») — суть сплошные сады. Эта страна, «невеста государств», окруженная со всех сторон горами, защищенная от холода севера и от палительного зноя юга, создана природою для виноградов, персиков, гранатов, урюков, дынь, винных ягод, миндаля, фисташки и сотен прочих прекрас-

ных растений. Эта страна подняла перчатку природы, и эта страна есть сплошной сад, сад виноградов, персиков, гранатов, урюков. В Ходженте говорят: «приходите ко мне — не домой, но — в сад». Ходжентские сады древни и прекрасны. В виноградных лабиринтах, когда над твоею головою свешиваются виноградные кисти, можно жить днями, блуждая и блаженствуя. Эти сады древни потому, что урюк богатство, расцвет сил имеет в столетнем возрасте, и девяностолетние урюковые сады считаются молодыми. Эти сады отнимают громадное количество труда, внимательности, и они обязывают к знанию садовой культуры, — эти сады могут жить только водою, пролитой арыками.

Что сделало последнее десятилетие садам и людям, около садов живущим?—в Ура-Тюбе построен виноделательный завод, миллионы виноградных гроздей отдают свой сок вину, и этот сок растекается по прохладе подвалов— не только Ура-Тюбе, но и всего Союза; в Каннибадаме построен (строили по американским образцам и принципам) фруктоперерабатывающий завод, — на этом заводе работает до тысячи таджиков — этот завод машинами сортирует, чистит, моет и сушит фрукты, — и его продукция идет не только Союзу, но и Англии, Норвегии, и Германии, и Ближнему Востоку, — но этот же завод перестраивает человеческие отношения в домах каннибадамцев, когда женщины-жены приносят домой деньги и профсоюзные билеты; в Костакозах построен консервный завод, персики, груши, абрикосы которого также идут по Союзу и на Запад; помимо этого, в каждом кишлаке, в каждом городишке есть отделение фруктовой кооперации, когда кооперация не только собирает фрукты, чтобы рационально продать, когда она кредитует, помогает знанием, снабжает всем нужным и правом на труд; кроме этого, есть садовые колхозы, сейчас строятся садовые совхозы, вооруженные машинами, агрономами и знанием агрономов.

На Сантоиские нефтяные промысла советская власть шлет новые машины, и советская власть сделал нефтепровод до железной дороги.

На Шурабские каменноугольные копи советская власть шлет новые машины, и советская власть провела ветку от копей до железной дороги.

Город Ходжент—древний город, бывший некогда и Кирополем и Александрией. В этом городе древние медресе и мечети. В этом городе есть чтимые «священные» места. Три таких святых места расположены по прямой линии, три могилы святых, на равном расстоянии друг от друга,—мне рассказывали причину такого расположения святых мест: жили два святых старца, и оба они педерастически влюбились в некоего прекрасного юношу,—сей некий юноша, впоследствии ставший святым, страсть старцев разрешил следующим образом, а именно: он поселился как раз на середине пути между квартирами старцев, чтобы старцам приходилось проходить одинаковый путь,—старцы распределили между собою дни посещения сего некоего юноши, все обошлось прекрасно, все трое со временем померли и сделались святыми. На могиле одного из этих педерастов я был и должен сказать, что могила пребывает в запущенности и разрушении,—на этом могильном дворе странным образом поселилась русская,—должно быть, очень бедная — семья, и хозяйка, после стирки, развесила по двору небогатые свои нижние одеяния, мужские и женские. Археолог сказал бы, что могила эта прекрасна по своим архитектурным качествам.

Ходжентский замок — бывший ханский дворец, цитадель феодалов—полуразвален, и там сейчас сельскохозяйственный техникум.

В Ходженте есть эфиромасляный завод.—Духи! запахи!..

Я подхожу к ходжентскому «ключу», который никак не есть ключ к ходжентскому «замку».

На ура-тюбинском винном заводе, на ходжентских заводах (на шелковотекстильной фабрике работает полторы тысячи человек, и двести пятьдесят человек фабрика отослала в Москву и в Иваново-Вознесенск — учиться ткацкому мастерству), на костакозских и каннибадамских (и фруктовых, и коже-

венных) заводах, в Санто, в Шурабе—таджики превращаются из крестьян в пролетариев, все определяя и предопределяя этим, ибо законы истории так же железны, как законы химии.

В Ходженте есть эфиромасляный завод, там расцвела в этом году, впервые в СССР виктория-регия.

Духи! запахи! — запахи есть самое непознанное, самое неясное, что действует на человека, бросая человека в эмоции, в подсознательные ощущения, в «лирику». Писателями написаны томы ощущений, вызванных запахами, и томы историй, предопределенных запахами,—эти истории упираются в литературу порядка Пьера Лоти. От древности среди людей живут полумаги, устраивающие запахи: в Стамбуле, в Смирне, в Каире есть позеленевшие в веках переулочки, где старики таинственно переливают из одной древней посудинки в другую позеленевшую от древности посудинку капли розового масла с Балкан, смешивая их с сеянными вытяжками оленей, называемых мускусными,—эти дела могут показаться священнодейственными,—о мускусах, о лавандах, об амброзиях и нектарах, о полиантусах тубероза можно услышать длиннейшие легенды, предания и достоверности. Духи! запахи! — непознанное, полуощутимое!..

История возникновения ходжентского эфиромасляного завода рассказана выше. Сейчас я ознакамливаю с технологией создания запахов, чтобы разрушить легенду стамбуло-каирских, попросту говоря средневековых, метафизик. Цитаты принадлежат докладу инж. Исаева.

«Получение эфирных масел из растений происходит путем перегонки их с водяным паром в измельченном виде в перегонных аппаратах при давлении поступающего пара в 2,5—3 атмосфер. Время, потребное для полного удаления масел из растений в среднем 3 часа».

«Травы поступают в отделение резки, где подвергаются измельчению на 3 соломорезках».

«Переработанные растения по нижней ленте конвейера переправляются обратно в помещение резки для переработки на брикеты, применяемые силовой станцией завода в качестве отопительного материала».

«Суточная производительность... в переработке на масла 21.000 кило растений».

«Некоторые из эфирных масел для применения в промышленности требуют ректификаций, отделения спиртов, терпенов, кетонов, альдегинов и пр.».

Очень просто! никакой магии и метафизики, но—чистейшая химия!

Я был на этом заводе,—в одном месте на нем по этажам ездят пуки вяленой травы, не знаю ее имени, но такой, которая растет в Ходженте у каждой канавы.—в другом месте женщина в белом халате переливала для меня из аптекарской склянки в склянку какие-то этиловые, бензолые и прочие непонятные масла и эфиры, иной раз препаршиво пахнущие, и из их запахов возникли всяческие мускусы, амбры и прочие древневековые запахи, которыми торгуют стамбульские и каирские чародеи. Фирма «Коти» была непрочь купить ходжентские эссенции. Средневековая алхимия запахов, эмоционального, бросающего в подсознательное, делается сейчас, вываривается, выпаривается на заводах.

Выше я писал о приступах малярии. В те минуты, когда температура идет вверх, к сорока, к сорока и пяти десятым,—даже хорошо на минуты чувствовать то нестерпимое тепло, тот жар, за которым в бреду возникают ощущения, куда более невероятные, чем те, которые даются запахами. Температура при малярии с сорока до тридцати пяти падает в какие-то несколько минут,—озноб тогда ужасен, тогда невозможно поднять голову с подушки,—но если голова поднята, человек в ужасе видит, как с него стекают ручейки испарины, обессиливая человека.

О малярии я написал не случайно, как сознательно я выписывал подробности производства шелка. И не случайно я делал выписки из доклада инженера Исаева о рождении запахов. Я говорю о таджикистанском «ключе»: малярия, грена подмышкой, стамбуло-каирские запахи — суть средневековье, которое должно умереть.

Кому—как,—иным, быть может, нравятся малярия, крик муэдзинов, паранджа, средневековая метафизика запахов и рабство, нечеловеческая жестокость и

глупость замков,—мне больше нравится знать, что запахи делаются из этиловых, метиловых и бензоловых масел и эфиров, а малярия излечивается медицинской. Законы истории есть социальная химия, которую можно знать и можно не знать,—ведь на самом деле в древности убивали мускусных быков и оленей!⁴

Сивобородые старцы, незнание, крик муэдзина, экзотика, жесточайшая не-

справедливость труда, неуважение к труду и к человеку, бездорожье и путь по оврингам на библейских ишаках, библейская пыль, библейская бедность, библейские базары—какие древние «запахи!» — какое «подсознательное» незнание!

Я уезжал из Ходжента в сорока градусах приступа малярии, проклиная ее!—от малярии меня спасла медицина.

⁴) История может танцствовать подобно александрийским запахам — и может делаться, как делаются запахи на ходжентском эфироме-

слином заводе. История социальной химии заводов есть та история, которую сейчас строит Таджикистан.

Литература и искусство

1. Л. АКСЕЛЬРОД-ОРТОДОКС. — Пролетарское искусство и классики. 2. Арк. ГЛАГОЛЕВ. —
О «Новой земле» Ф. Гладкоза. 3. Л. ПОЛОНСКАЯ. — Из еврейской литературы.

1. ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСКУССТВО И КЛАССИКИ¹⁾

Л. Аксельрод-Ортодокс

I

Массовое мировое пролетарское движение представляет собою без всякого сомнения новое, совершенно небывалое в истории человечества явление, открывающее собою новую эру в исторической жизни. Угнетенные классы всегда так или иначе проявляли свой протест против своих угнетателей, всегда велась, как выражается «Манифест коммунистической партии», классовая борьба — скрыто или явно. Но борьба угнетенных протекала стихийно, в общем смысле бессознательно и местно, национально в пределах одного и того же города, общины, государства. Движение современного пролетариата происходит в общем международном, всемирном масштабе, организовано, будучи объединено общей целью, общими задачами и в основе общим мировоззрением, покоящимся на правильном понимании классовых интересов и исторических идеалов. Никогда в истории жизнь и борьба какого-либо класса не достигали такой степени осознания, планомерности и организованности, какую мы видим в пролетарском движении. Буржуазный философ Куно Фишер, несмотря на свой национал-либерализм в политических взглядах, и в качестве идеалиста проникнутый идеалистической философией истории, тем не менее не мог не обратить внимания на это новое подлинно историче-

ское явление массового общественного сознания. Современные массы, пишем историк философии, идут вперед под командой абсолютного духа. Мы не гегельянцы и не верим в существование такого командира. В действительности массы идут вперед под командой социалистического классового сознания, продиктованного все более и более нарастающим противоречием между достигнутым в настоящее время уровнем производительных сил и несоответствующими этому уровню отживающими формами имущественных отношений. Такое всеобщее мировое пролетарское движение с виду преследует как будто исключительно социально-политические цели, в действительности же оно является вместе с тем глубоко культурным творческим процессом во всех областях теории и практики. Многообразные формы организации мирового пролетариата от небольшой стачки до уличных демонстраций или начинаемая местным профессиональным комитетом и кончая мировыми конгрессами; движение, охватывающее все возрасты и оба пола различных национальностей; борьба, которая ведется изо дня в день в течение столетия (считая от лионской стачки 1831 года) со все более возрастающей силой и все большей и большей степенью сознательности, — все это вместе взятое не может не создать и создает на самом деле совершенно новые элементы исторической жизни и тем самым творит новую

¹⁾ Статья печатается в дискуссионном порядке. Ред.

культуру. В этом творческом процессе создаются без сомнения новые человеческие общественные отношения, и рождается новый человек.

Это могучее сознательное творчество, открывая новую эпоху, эпоху социалистического строя, порывает с предшествующими общественными формациями, которыми, по правильному определению Маркса, завершается пред'история (*Vorgeschichte*) человеческого общества. До этого человеческое общество как такое в целом существовало бессознательно, и впервые в истории появляющееся сознательное сверху до низу массовое мировое пролетарское движение и подготавливает тот «скачок из царства необходимости в царство свободы», содержательная формулировка которого найдена Энгельсом с исключительным проникновением в сущность противоположности между историческим прошлым и историческим будущим. Такое коренное различие между историческим прошлым и историческим будущим диктует современному пролетариату проблему отношения ко всему культурному наследию «пред'истории человеческого общества», с которой мы теперь решительно порываем. Впервые в истории человечества эта проблема ставится в таком всеобщем и притом сознательном историческом масштабе, хотя само собою разумеется, что в частном виде вопросы переоценки культурных ценностей имели место и в предыдущие революционные переходные эпохи. Но отличие прежних переоценок от той радикальной переоценки всего исторического наследия, которая осуществляется в настоящее время идеологами пролетариата, заключается в том, что диалектический и исторический материализм смотрит на всю историческую действительность с диалектической точки зрения; другими словами, наше мировоззрение не занимается осуждением истории, т.-е. не дает в этой области нравственных и рационалистических оценок, а старается всюду раскрыть закономерность исторического процесса.

Диалектическое движение истории заключается именно в том, что каждое ее звено преодолевается, т.-е. оно в од-

но и то же время и отменяется и сохраняется.

В этой статье мы ставим себе узкую, ограниченную задачу рассмотреть по мере возможности смысл и значение классической литературы для общественно-политического развития пролетариата. Впервые этот вопрос был поставлен и сформулирован, правда в ограниченном смысле, в Германии в 10-х годах нашего столетия социал-демократическими критиками. Молодое поколение с.-д. критиков поставило эту проблему с точки зрения чистой тенденции в искусстве. Указав на целый ряд классических произведений, общее содержание которых конечно не соответствует пролетарской идеологии, они пришли к заключению, что все превзойденное прошедшее не в состоянии заразить нас художественно, а, поскольку это возможно, такое художественное восприятие может лишь воспитать чисто меццанскую идеологию. Против этого течения выступили с резким осуждением Фр. Меринг, Клара Цеткин и другие социал-демократические критики. Меринг объявил все это мнение левое течение «бесчинством». Но тут же надо сказать, что вопрос, почему должны сохраняться классики для воспитания пролетарских поколений, по существу теоретически не был разработан. Необходимость сохранения классиков скорее подразумевалась сама собою очевидной и потому декретировалась. Полемика эта заглохла под влиянием надвигавшейся империалистической войны, которая двинула с.-д. мысль на совершенно иные пути... Эта полемика, имевшая место в среде германской соц.-демократии, послужила толчком к возникновению той же проблемы в русской с.-д. литературе. У нас эта проблема приняла иной, более общий характер. Вопрос был поставлен так: возможна ли вообще пролетарская культура? Спорящие по этому вопросу разделились на два лагеря; один из них, с Потресовым во главе, отрицал эту возможность; другие же придерживались противоположной точки зрения. И на этот раз полемика оборвалась и также повидимому под влиянием империалистической войны. После октябрьского переворота вопрос о про-

летарской культуре как такой был выдвинут всем ходом революционных событий. В общей постановке вопроса о возможности пролетарской культуры всплыла и частная проблема, которая в свое время была поставлена германской с.-д.; именно — об отношении пролетариата к классикам. Резко отрицательное отношение выразилось в известном в пролетарских кругах стихотворении Кириллова:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
Пусть кричат нам: «вы палачи красоты»;
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
Мы сбросили тяжесть наследья гнетущего,
Обескровленной мудрости мы отвергли химеры;
Девушки в светлом царстве грядущего
Будут прекрасней Милосской Венеры.

Такая оценка значения всей прежней художественной культуры была выражением мнения некоторых активно интересующихся художественной идеологией пролетарских кругов. Постепенно это отношение сглаживалось, вероятно всего под влиянием высказанного Лениным взгляда на пролеткульт, а с другой стороны, сам процесс развития пролетарского искусства бессознательно подсказывал необходимость учиться у классиков. Спустя некоторое время тот же Кириллов пришел к другой оценке значения классиков.

В настоящее время у нас, как известно, постоянно переизданные в миллионах экземпляров сочинения русских классиков читаются пролетариатом, судя по отзывам библиотечных работников, весьма интенсивно и с большим увлечением. Тем не менее такой факт, сам по себе взятый, еще не снимает вопроса об отношении развивающегося пролетарского искусства к классикам. Сущность проблемы сводится все к тому же: что художественные достижения прошедшего потеряли всякое значение для нашего времени, когда строятся совершенно новые формы жизни. Такой односторонний взгляд обуславливается метафизической точкой зрения на историческое развитие вообще и на оценку исторического культурного наследия в частности.

Для решения этой сложной проблемы необходимо прежде всего определить отличие искусства от других идео-

логических областей. Философская или научная мысль каждой данной эпохи сохраняется в общей цепи развития данной области. Но, сохраняясь, она в значительной степени теряет свою индивидуальность, выступая в общем думая сторонами: с одной стороны, каждое достижение научно-философской мысли является объективным звеном в общей эволюции сознания, а с другой — познавательно, это звено дает возможность понять весь процесс развития данной области во всей ее полноте. А такое познание имеет огромное значение для теоретического мышления данной эпохи.

Философское обобщение, сделанное напр. праотцем философии Фалесом, гласящее, что сущностью всего мироздания является вода (по толкованию Аристотеля — влага), потеряло для нашего времени как индивидуальное учение всякое значение. Оно умерло безвозвратно. Однако в историческом смысле и это наивное учение сыграло значительную роль, так как Фалесом впервые была поставлена проблема отношения единства к множеству и объединения всего разнообразия природы в едином материальном веществе. Этот принцип как такой и вошел в историческое развитие философских идей. Полное диалектическое познание современной философии с необходимостью требует усвоения всей исторической эволюции данной области. То же самое относится и к искусству: и в нем историческая преемственность неизбежно должна быть учтена при познании каждого отдельного звена художественного развития. Но между искусством, с одной стороны, и научно-философским мышлением — с другой, существует значительное различие, обусловленное специфическим характером искусства. Философское и научное мышление отвлеченно, т.-е. представляет собою систему отвлеченных идей. Искусство, напротив, конкретно, выражая всю произведенную им действительность как природу, так и общество, как индивидуальные явления, так и общие, понятия и идеи, чувственно, в образах или при помощи образов. Этот специфический характер искусства делает то, что каждое произведение искусства, составляя звено в общей цепи, сохраняет

в то же время свою индивидуальность. «Илиада» и «Одиссея» по своему содержанию не менее наивны и не менее отдаленны от нас, чем философия Фалеса. Но несмотря на это, названные художественные произведения до сих пор сохраняют значение произведений искусства. Сохраняют они свою индивидуальность по той причине, что искусство, как уже сказано, воспроизводит действительность в ее непосредственной чувственной форме. «Илиада» и «Одиссея» дают нам действительность своей эпохи во всем конкретно чувственном ее разнообразии. Художественно образно передаются вещи, формы производства, действия людей, классовые отношения и разнообразные типичные для различных социальных слоев мировоззрения. Эта картина жизни воспроизведена в ее единичных индивидуальных проявлениях и в конкретных очевидных связях. Короче, дана часть всего чувственного комплекса эпохи. Такое чувственно-конкретное воспроизведение дает картину действительности, понимаемой согласно тогдашним классовым воззрениям. Если бы современному художнику удалось, как гласит известная мечта, перенестись в обстановку давно прошедшего, в частности в эпоху древней Греции, то можно быть уверенным, что у него с древнегреческим художником оказалось бы при всех различиях в передаче данного объекта действительности то общее, что небо, земля, солнце, луна, звезды, животный, растительный мир, человек, мужчина, женщина, старик и ребенок и т. д., и т. д. все же оказались бы в общем такими же, как у Гомера. В противном случае, т. е., если бы это было иначе, если бы весь конкретный мир природы и истории представляли бы собою абсолютно нечто другое, по всей линии отличное от нашей конкретной действительности, то восприятие искусства прошедшего вообще и античного искусства в частности было бы совершенно невозможно. Если же представить себе, что современный мыслитель очутился в древней Греции в эпоху Фалеса, то с наименьшей уверенностью можно утверждать, что этот современный мыслитель не

стал бы ни в каком случае защищать положение Фалеса о воде, как сущности всего космоса. Указанное основное различие художественной деятельности от научной вызывает то, что художник данного времени, данной страны и данного класса может достичь высшей степени художественного совершенства. Его уменье может отвечать действительности того времени, которое он воспроизводит. Эмпирическое подтверждение этого положения мы находим не только в древнегреческом культурном мире, но также и в том общепризнанном теперь факте, что выцарапанные на камне изображения животных, относящиеся к палеолитической эпохе, представляют подлинные и притом высокосовершенные произведения художественного творчества. Сущность этого заключена в том, что чувственная действительность в значительной степени сама навязывается художнику, в то время как научно-философское мышление, имея своей задачей отыскание закономерности, не находит их на поверхности чувственно воспринимаемых явлений, а составляет результат накопленного растущего опыта, с одной стороны, и развития мышления — с другой. Художник палеолита прекрасно изображал бизонов, но анатомия и физиология этих животных была абсолютно недоступна человеку той отдаленной эпохи. Благодаря этой специфической особенности искусства, истинно художественные произведения, к какому времени они бы ни относились, способны произвести на нас впечатление художественности и даже служить образцом в смысле степени приближения к действительности: «Одиссея» и «Илиада» переносят нас в древнегреческое средневековье, и мы по прошествии веков видим целые подробные картины жизни, переданные сквозь призму тогдашнего аристократического мировоззрения. Эти поэмы, как и все истинно выдающиеся художественные произведения давно прошедших времен, представляются нам старыми и новыми в одно и то же время: старыми потому, что заключающаяся в них действительность во многих отношениях превзойдена и преодолена, а новыми потому, что они дают возможность жонзать

прошлое в конкретно образном живом и следовательно для каждого данного восприятия новом процессе. Гете говорил о Гомере, что каждый год он перечитывает «Илиаду» и «Одиссею», находя в них все новое и новое. Ясно, что новизна, которую имел в виду Гете, стоявший на высшем уровне знаний своего века, заключалась отнюдь не в новых для него сторонах мировоззрения, открывавшегося ему этим наивным эпосом, а в том, что эпоха древнегреческого средневековья раскрывалась перед ним во все большей полноте своих конкретных образов, тем самым вызывая каждый раз новые формы художественного восприятия.

В этой плоскости должна быть разрешена в общем проблема, поставленная Марксом.

«Трудность,—пишет Маркс во «Введении к критике политической экономии»,—заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают давать нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недостижимого образца».

При этом Маркс справедливо подчеркивает, что греческая мифология, составляющая «не только арсенал греческого искусства, но и его почву», «преодолевает, подчиняет и формирует силы природы и воображения и следовательно исчезает вместе с действительным господством над последними».

Таким образом мифология как мировоззрение отпадает при действительном овладении силами природы, ибо по сравнению с позднейшим уровнем знания оказывается неверной. Между тем «греческое искусство предполагает греческую мифологию, т.-е. природу и общественные формы, уже получившие бессознательную художественную обработку в народной фантазии». Т.-е. неверная с нашей теперешней точки зрения мифология служит необходимым «материалом» (Маркс) для греческого искусства, сохранившего для нашего времени «в известном смысле значение нормы и недостижимого образца». Выходит, что мифология как мировоззрение совершен-

но преодолевается современным уровнем образования и техники; она объективно неверна и никакой роли в современном научном знании играть не может. А между тем стоящее всецело «на почве этой самой объективно неверной для нашего времени мифологии греческое искусство» продолжает давать еще и в наше время «эстетическое наслаждение». Таким образом научно-философская отсталость греческой мифологии, обесценивающая эту древнюю форму идеологии для сферы нашего научного как теоретического, так и практического знания, отнюдь не мешает этому наивному и преодоленному мировоззрению составлять «и почву, и материал того искусства, которое до сих пор играет в известном смысле роль нормы и недостижимого образца».

Как мы уже пытались выяснить, суть разрешения проблемы заключена в самом спецификуме искусства. Искусство передает конкретность, т.-е., отражая даже объективно ложную идею или мировоззрение, оно дает тем не менее картину действительно существовавшей общественной психики данного класса в конкретных условиях его исторического бытия. В этой конкретной передаче даже ложного и подлежащего критике мировоззрения и лежит причина того, что истинное художественное произведение, несмотря на полное преодоление выраженного в нем мировоззрения, все же сохраняется для нас значение произведения искусства. К тому же следует прибавить, что эстетическое наслаждение будет тем интенсивнее, чем ярче действительность, составляющая его «почву и материал».

II

Из изложенного следует со всей отчетливостью признание силы и значения искусства для конкретного познания всего прошедшего. Это во-первых. Во-вторых, искусство именно в силу своего конкретного характера связывает нас с историческим прошлым с большей осязательностью, чем какая-либо другая отрасль идеологического сознания. Рассматривая искусство с этой точки зрения, можно сказать, что все искусство безо всякого исключения сохра-

плет свою индивидуальность, потому что каждое произведение искусства передает ту или иную область действительности и следовательно должно иметь указанные два момента. Но такое всеобъемлющее требование не может быть удовлетворено целиком вследствие обилия материала, частью его недоступности, вследствие утраты памятников и т. п. Однако идеалом историка остается исчерпывающая полнота материала, хотя часто и недостижимая. История человечества впрочем сама ограничивает предметы художественного творчества, выделяя отдельные, считающиеся классическими, экземпляры искусства. Встает вопрос, что же мы называем классическими произведениями и что составляет основные признаки этой категории. Чтобы ответить на этот вопрос, приходится подойти к художественному творчеству с другой стороны. В области искусства, как и в области науки, возможны два направления: чисто эмпирическое и обобщающее. Эмпирическое в области научного познания представляет собою простое описание предметов познания. В области художественного творчества это — воспроизведение предметов во всей их конкретности. В науке таким образом даются индивидуальные факты, а в искусстве — индивидуальные образы. В первом случае это в сущности материал для научных выводов, во втором случае — являясь иногда самостоятельными произведениями искусства, они в то же время дают материал для художественных классических произведений. Обобщающее научное мышление действует на основании общих понятий.

В искусстве же дело обстоит совершенно иначе. Имея своей задачей воспроизведение конкретной действительности в чувственной форме, искусство пользуется разнообразными приемами для осуществления этой главной своей задачи. Создавая типы, оно действует как бы наподобие науки. Оно суммирует отличительные черты определенной социальной психологии данного общественного класса в тех или иных исторических условиях, концентрируя эти черты в конкретных образах. Такими являются например образы Дон-Кихота, Гамлета, в русской литературе —

Хлестакова, Обломова, Базарова, Рудина. В этом случае мы имеем обобщающие образы, послужившие основанием для образования общих понятий: донкихотства, гамлетизма, обломовщины, хлестаковщины и т. д. Такие понятия, вытекающие из художественного образа, обладают всеми свойствами настоящего научного обобщения, так как могут быть рассмотрены с точки зрения анализа синтеза и их взаимоотношений, другими словами, — диалектически.

Но искусство далеко не ограничивается типизацией. Воспроизводя конкретную действительность, оно дает индивидуальные предметы и явления не в оторванном конечно виде, а в их взаимной связи, т. е. в искусстве явления не остаются замкнутыми в их отграниченной индивидуальности. Искусство пользуется неограниченным количеством приемов для воспроизведения конкретной действительности. Главными из них являются: изображение предмета искусства в движении и в действии, изображение посредством контрастов, оттенение предметов искусства при помощи другого предмета, изображение посредством разнообразных взаимоотношений и т. д. Применение этих приемов делает то, что художественное произведение похоже на действительность и в то же время не вполне адекватно ей. Похоже потому, что оригиналом служат предметы и явления окружающей реальной среды, не вполне адекватно потому, что для достижения конкретизации и выразительности художник объединяет и связывает предметы и явления согласно требованию выразительности и полноты конкретизации. Деятельность художника — чувственная, поскольку окружающий мир воспринимается им, как и человеком вообще, конкретно, чувственно, образно, но она в то же время интеллектуальная, поскольку художник совершает отбор материала, комбинируя и объединяя его в общее целое, сопровождающее художественное произведение. Обычное распространенное утверждение, будто художественное творчество является собою бессознательный процесс, — насквозь ошибочное утверждение. Самый незначительный художник делает свое художественное дело сознательно, обду-

манно, ставя перед собою определенную цель, как незначительна ни была бы эта последняя. Бессознательность художника возможна и действительно имеет место лишь в том случае, когда воспроизведенная им конкретная действительность противоречит его общему мировоззрению. Но это противоречие отнюдь не может служить подтверждением мысли, что художник творит бессознательно. Противоречие этого порядка нередкое, как известно, и у деятелей науки и представителей философской мысли. Бессознательность в этом отношении не следует смешивать с бессознательностью творческого художественного процесса, которая сводится к мистической интуиции. Крупные, великие художники творят свои произведения по существу с такой же степенью сознательности, как и научные деятели. Каждое произведение большого художника конкретизирует определенную идею, выражая ее в конкретном образном материале. Сама идея подсказывается художнику данными общественными отношениями, данным классом, идеологом которого он является. Сама идея, следовательно, есть продукт общественно-исторической жизни. С другой стороны, будучи продуктом конкретной действительности, идея реализуется обратно в конкретных формах этой же действительности через искусство. При этом следует заметить, что конкретизация идеи может принять выражение отличное от породившей ее данной конкретно-общественной жизни. Например идея буржуазной свободы, порожденная сознанием общественных идеалов третьего сословия, в исторических условиях его борьбы с дворянством и духовенством выражалась сплошь и рядом в конкретных образах древнегреческой, римской и средневековой мифологии.

Сила, значение и историческое величие крупных, великих художников, именно в том, что их произведения являются выражением идей данной эпохи. Революционный класс порождает естественно революционную идеологию; падающий класс — либо консервативную идеологию, либо реакцию. Великие художники обычно примыкали так или иначе к революционным классам и отражали соответственно их революцион-

ные стремления. Но бывали однако случаи, что художники реакционного или консервативного мировоззрения творили вопреки своему мировоззрению художественные произведения, имевшие и революционное значение. Например Эсхил был по своим политическим убеждениям консерватор и, несмотря на это, создал Прометея, послужившего прообразом революционера в продолжение дальнейшей истории. Или же возьмем пример из нашего времени. Л. Толстой по своему мировоззрению в полном смысле этого слова реакционер, однако в его художественном творчестве мы находим несомненно целый ряд революционных мотивов, воплощенных в конкретные художественные образы. Это противоречие между художником и сидящим в нем мыслителем объясняется опять-таки спецификом искусства. Эсхил в качестве консерватора или даже реакционера был недоволен существующими отношениями и условиями Греции его времени (V век до начала н/э). Недовольный всеми последствиями торгово-капиталистического развития своей родины, Эсхил ищет выхода из создавшегося положения. Он находит желанный выход в сохранении устоев и следовательно в возвращении назад. С этой целью он подвергает критике все существующее. Борьба требует героических личностей. Он и создает своего недовольного, протестующего Прометея. Цель реакционная, а художественное произведение тем не менее революционно. Происходит это по той причине, что вся критика воплощена в совершенно конкретных художественных образах. Тем самым он передает действительность в критической форме, т. е. действительный протест против существующего в бурных революционных условиях древней Греции, коренящихся в конфликте между ростом производительных сил и феодальными формами государства и общества. Поэтому, вопреки субъективным намерениям и мировоззрению великого трагика, Прометей восстает против властителя Олимпа—Зевса, а заслуги свои этот герой видит в том, что он дал Греции новую технику, что он является носителем технического прогресса. Он научил людей астрономии, грамоте, искусству, приручению животных, кораблестрое-

нию и т. д.¹⁾). Выходит стало быть, что то, чем Эсхил в качестве консерватора и реакционера должен быть глубоко недоволен, то именно ставит себе в заслугу пользующийся симпатией Эсхила его герой — Прометей. Как крупный художник греческий трагик передает революционную конкретность своего времени вопреки своему мировоззрению. Революционная действительность побеждает реакционное мировоззрение. То же мы видим и в творчестве Толстого. Дворянин с ног до головы, помещик, крупный землевладелец, уходящий всеми корнями в прошлое крупного дворянства, граф Толстой ясно видит гибель своего класса. Сложным и запутанным, и мучительным путем он приходит к своему религиозно-мистическому мировоззрению, сущность которого сводится к мистическому пассивному созерцанию и непротивлению злу насилем. Но недовольный упадочным состоянием своего класса, Толстой подвергает беспощадной, справедливой критике жизнь, деятельность, интересы и стремления русской аристократии своего времени. По существу эта критика вытекает из приверженности Толстого к своему классу; она следовательно исходит не из революционных намерений, а наоборот, при антисоциалистическом образе мыслей Толстого исходной точкой служит по внутреннему существу желание оздоровить аристократию. Несмотря на это общее стремление, Толстой в своих произведениях дает целый ряд гениальных ярких картин действительности, которые вопреки его ненависти к социализму, внятно и убедительно подсказывают социалистические выводы. Основная причина такого противоречия лежит опять-таки в самом специфике искусства.

Весь материал сферы действий художника — это конкретная историческая действительность, которая естественно воздействует на творчество своими наиболее четкими и яркими сторонами. На Толстого без сомнения оказало силь-

нейшее влияние русское революционное народническое движение и революционная критика господствующих классов, т.-е. как раз то, чему так сильно сопротивлялся в пределах своего религиозно-мистического мировоззрения.

Тут же однако следует заметить, что большие художники с реакционным мировоззрением представляют собою весьма редкое явление в истории. Большинство же крупных художников примыкали к передовым революционным течениям своего времени или во всяком случае делали это в первую часть своей жизни, когда восприятие подлинной жизни еще свежо, когда привычка к существующему порядку не стала второй натурой. Под конец жизни, теряя остроту восприятия и творческую силу, многие из них становятся в конце концов консерваторами. Но в своем лучшем периоде крупные художники стремятся воспроизводить жизнь в ее полноте. Выразить же жизнь художественно, в ее полноте, значит изображать действительность не только в ее данном бытии, но также в ее становлении, в ее движении, в ее развитии, т.-е. в художественном произведении должно быть видно не только настоящее, но и прошлое и будущее. Молодой Гете еще сравнительно задолго до Великой французской революции, в 1773 году, вкладывает в уста своего Прометея формулировку: «Прошедшее и будущее заключено в настоящем». Следуя сознательно или бессознательно этому беспорному диалектическому принципу, классики давали в своем творчестве критику действительности, которая диктует социальные идеалы.

Все классики революционных эпох в цветущую пору своей жизни являлись защитниками интересов класса, ставшего на революционный путь. При этом следует обратить внимание на то, что истинно революционным классом в истории является впервые буржуазия, в противоположность феодальной аристократии, никогда не выступавшей в качестве активной революционной силы и ограничивавшейся в лучшем случае небольшими фрондами, носившими частный и притом в большинстве случаев даже реакционный характер. Объясняется это в общих чертах тем, что феодальный строй явился

¹⁾ Пусть каждую из названных отраслей Эсхил считает полезной, но общим следствием развития всех этих новшеств неизбежно явилось именно то развитие капиталистических отношений, против которых восстает его мировоззрение.

продолжением и усложнением основ родового быта. Окончательно же рвет с остатками родового уклада жизни, покоящегося на земельной собственности, только промышленная буржуазия. Интересы промышленной буржуазии заключались прежде всего в возможностях развития производительных сил, требующего реабилитации всей материальной природы и живого человека, т. е. освобождения природы от мрачных оков католической церкви.

Эта борьба за освобождение природы выразилась философски в критике схоластики и церковной догматики; в искусстве этот же процесс находит свое проявление в живописи и скульптуре по той причине, что эти отрасли искусства наиболее наглядно, наиболее очевидно и наиболее осязательно передают природу и человека. Несмотря на обилие церковной тематики и церковной сюжетности, вызываемых частью заказами самого Ватикана, все эти сюжеты выполняются по своему внутреннему существу не с религиозной точки зрения. Мадонны в большинстве изображены здоровыми, полнокровными женщинами с не менее здоровыми младенцами, протестующими всем своим видом против церковной догмы и свидетельствующими наглядно о том, что святой дух тут был не при чем. Все эти великие творения можно было бы принять за злую насмешку над изможденными, бестелесными иконописными святыми, как бы принадлежащими миру двух измерений и, откровенно говоря, вызывавшими вероятнее всего отвращение даже у самих пап. Во всем этом великом течении ренессанса находила свое осуществление классовая борьба бесправного развивавшегося среднего сословия против власти феодальной аристократии как светской, так и духовной. Но классовая борьба, как известно, есть борьба политическая. При помощи философии и искусства бесправное сословие фактически ведет свою классовую борьбу, но политические цели, которые по существу уже заключены в этих идеологических отраслях, не выражены как определенные общественно-политические задачи. На ряду с этим, в зависимости от процесса развития производительных сил, ведется третьим сословием с возрастающей

силой и специфически политическая борьба, выражающаяся в войнах, крестьянских восстаниях, борьбе национальных республик и городов, в реформации и т. д. Так как художественная литература и в частности драматургия отражают общественно-политическую жизнь с наибольшей выразительностью и наибольшей полнотой, то эта область искусства развивается и растет с развитием и усилением откровенной политической борьбы, которую ведет третье сословие. Наиболее сильное выражение она находит, как сказано, в драматургии, так как в этом виде искусства выражается с наибольшей силой действительность и борьба. На самой высшей стадии революционной мысли буржуазии мы видим также развитие классической литературы, которое находит свое выражение главным образом в драматургии. В Англии в XVII веке и в том же столетии также во Франции, на которую несомненно оказывает влияние английская революция и вся английская идеология, в Германии, где развитие третьего сословия совершается в гораздо более медленном темпе и на которую оказывает влияние в свою очередь идеология Франции, — всюду возникают великие классические произведения, преобладающим жанром которых также является драматургия. Что касается России, то литература по существу протестующего характера, появляющаяся значительно позже, принимает форму романов, повествований и поэзии; что же касается драмы, то ее развитие не может идти в сравнении с этими литературными жанрами, что объясняется поздним и сравнительно слабым развитием капитализма в России. Крупное явление в русской драматургии — произведения Островского — связано с торговым капиталом и царским абсолютизмом и рисует особые, по-своему острые формы классовой борьбы, развивавшейся на почве торговых отношений. Но эти произведения, равно как и предшествовавшие два значительные русские театральные представления XIX века, — «Горе от ума» и «Ревизор», — порождены критическими задачами и в подавляющем большинстве лишены положительных идеалов. Вся же литература революционной буржуазии Запада, заключая

себе критику исторического прошлого и отживающего настоящего, создавала соответствующие типы борцов за идеалы будущего. Если обобщить идеалы, выразившиеся в литературе революционной буржуазии, то они сводились к требованию буржуазной свободы. Это требование проявлялось в совершенно различных формах, в разных ситуациях. Почвой могли быть и общественные и даже индивидуально-романтические отношения, которые часто были завуалированы и скрыты в индивидуальной психологии, и тем не менее основным мотивом все же была та же свобода.

В «Ромео и Юлии» Шекспир выразил в самой высшей форме чувство страстной романтической любви двух молодых людей. С этой исключительно точкой зрения рассматривают знаменитую трагедию все историки литературы. По их мнению, Ромео и Юлия погибли именно от страстной любви. Отсюда нередко делается тот пессимистический вывод, что истинно великое чувство любви обязательно, неизбежно кончается гибелью любящих. На самом же деле юные герои Шекспира гибнут не от любви как таковой, а от отсутствия социальной свободы. Если бы эта свобода была осуществлена в эпоху Монтекки и Капулетти, и если бы следовательно члены двух враждующих между собою аристократических домов могли беспрепятственно встречаться и соединяться друг с другом, то никакой трагедии у Шекспира не получилось бы даже в случае еще большей страстности чувства двух влюбленных. Хотя историки литературы не могут не обратить внимания на вражду двух влиятельных домов, но этот мотив остается ими в тени, а выдвигается исключительно мотив любви. На самом же деле «Ромео и Юлия» — это трагедия отсутствия свободы, а не трагедия любви.

Коротко: какой сюжет ни трактовался бы у классиков этого направления, — в «Ромео и Юлии» Шекспира, «Полиэкта» Корнеля, «Разбойниках» Шиллера или в любой симфонии Бетховена и т. д. — основная идея всех — это общественная свобода. Эта общая идея, пронизывающая все произведения классиков, была вызвана освободительными

стремлениями третьего сословия. Что означала свобода победившего третьего сословия, это выразил довольно энергично в художественной форме Маркс, сказав, что лозунги свободы, равенства и братства, стоявшие на знаменах революционной буржуазии, были заменены новыми: кавалерия, артиллерия и пехота. Тем не менее, как учил тот же Маркс, стремления и задачи революционного третьего сословия охватывали в то время всю нацию, за исключением привилегированных. В художественной литературе классиков отразилось то общее, которое охватывало всю непривилегированную массу. Так как художественному творчеству свойственно передавать общее в индивидуальном, то общие идеалы третьего сословия находили выражение в деятельности различных героев классических произведений. Если мы теперь, *post factum*, знаем, что идеалы революционной буржуазии впоследствии осуществились в свободной конкуренции и в капиталистическом обществе, то ни Гете, ни Шиллер, ни Бетховен, разумеется, этого не подозревали, а чувствовали и сознавали борьбу третьего сословия как борьбу за освобождение всего человечества. Гетевский Прометей поднимает бунт против властителя Олимпа, и когда Минерва старается защитить богов, указывая на их вечное существование, на их силу, на их мудрость и на их любовь, то Прометей отвечает:

Haben sie das All! doch nicht allein!
 Ich daure so wie sie. Wir allein sind ewig!
 Meines Anfangs erriner' ich mehr nicht
 Zu enden' hab ich. Keinen Beruf
 Und seh' das Ende nicht.
 So bin ich ewig, denn ich bin!
 Und Weisheit! — Siehe diese Stirne an!
 Hat mein Finger nicht sie ausgeprägt!
 Und dieses Busens Macht
 Drängt sich entgegen
 Der allanfallenden Gefahr umher¹⁾.

¹⁾ Но это все

Не им одним досталось:
 И я бессмертен, как они.
 Мы вечны все!
 Начала своего не помню я
 И кончиться не чувствую стремленья.
 Конца не вижу.
 Я вечен, потому что существую!
 А — мудрость...
 Взгляни на этот лоб!
 Не мой ли перст
 Его отметил?
 А сила этой груди рвется
 В борьбу с опасностью, всему грозящей.

Так восстает Прометей против существующего господства. Как далека эта речь от артиллерии, пехоты, кавалерии, которые до сих пор служат во всех капиталистических странах защитой существующего капиталистического порядка. И дальше тот же Прометей поднимает свой грозный и смелый голос против того же Юпитера:

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des Geängsteten?¹⁾

Бунтующий и борющийся герой равняет себя божеству. Он также мудр, он так же вечен, более того, он ставит себя даже выше божества, упрекая божество в жестокости и бессердечии. Серьезно говоря, здесь в старой мифологической форме ведет борьбу человеческая индивидуальность за свое достоинство, за свою самостоятельность и за свою свободу. Этой индивидуальностью была, как нам теперь известно, буржуазная индивидуальность. И не отдельная индивидуальность, а третье сословие как такое. Только сильное историческое движение общественной массы могло подсказать большому поэту гордый и решительный вызов на поединок, — вызов, сделанный Прометеем самому властителю Олимпа. В обращении Прометей к Юпитеру (1773) слышится уже победный возглас Сиеса (1788):

«Qu'est-ce que c'est le tiers état? Il n'était rien, maintenant il doit devenir tout»²⁾

Вряд ли Гете сознавал, что он предвосхищает Сиеса. Вероятнее всего, о судьбах третьего сословия, как такового, поэт и не думал, несмотря на то, что Гете неоднократно высказывал мысль и не однажды ее подчеркивал, что творчество поэта является продуктом коллектива в широком смысле этого слова. Привычка к тому, что творчество осуществляется отдельными индивидуумами, всегда служит препятствием к обна-

ружению и пониманию истинных источников его содержания. Размеры этой статьи лишают нас возможности подвергнуть подробному анализу ряд классических произведений с этой указанной точки зрения. Но нет никакого сомнения, что все классики революционной буржуазии выявляют в различных формах и под различными покровами одни и те же исторические задачи. В художественном творчестве исторические задачи выражаются в конкретных индивидуальностях, которые являются обобщением требований известных групп и определенных классов. Жизнь, мысль и деятельность этих конкретных индивидуальностей служат агитационным воспитательным средством и действующими образами. Достигается это именно тем, что художественный образ конкретно, чувственно воспринимаем.

С другой стороны, революционная идея эпохи, воплощенная в конкретный образ, выходит за пределы эмпирической данной действительности, приобретая тем самым длительное существование. Идея буржуазной свободы, вытекавшая из отрицания зависимости социальных условий данной ступени исторического развития и представлявшая собою в сущности отрицание зависимости, сохраняет именно благодаря этому своему отвлеченному характеру значение и для последующих эпох. Происходит это по той причине, что отрицание зависимости выражено художественно-образно в борьбе и протесте. Этим именно объясняется роль и значение тех художественных произведений, в которых на основе отрицания конкретного настоящего намечаются тенденции нового будущего и которые непременно заключены как элемент в настоящем.

Чем шире кругозор и чем полнее мировоззрение художника, тем глубже его творческая сила способна проникнуть в общее целое, как и в детали своего времени. Тут можно сказать словами Гете: «Тот, кто все сделал для своего времени, тот работал для вечности», или, выражаясь нашим точным языком — «тот работал для истории».

Далее среди классических произведений, выражающих свою эпоху и сохраняющих в этом смысле длительное зна-

¹⁾ Мне чтить тебя? За что?

Бывало ль, что скорбь ты утолил обремененного?

Когда ты слезы осушал у угнетенного?
(Сочинения Гете в русском переводе под редакцией В. В. Гербеля).

²⁾ Что такое третье сословие? Оно — ничто, но должно стать всем.

чение, существуют некоторые художественные явления весьма обобщающего характера. К таким творениям относятся например Дон-Кихот, Гамлет и т. п. Каждое из этих произведений обусловлено, как и всякое произведение, общим состоянием того класса, социально-психологическим выражением которого оно является, оно следовательно подсказано конкретными соотношениями классов данного времени. Но они сосредотачивают в себе такие черты, которые свойственны в той или другой степени разным революционным эпохам. Дон-Кихот есть несомненно результат разложения феодальной системы и падения романтической идеологии рыцарства. Дон-Кихот воодушевлен именно этим романтическим элементом. По существу он реакционер в героической оболочке. Вследствие полного несоответствия его идеологии нарождающимся общественным условиям, его сознание абсолютно оторвано от действительности. Вследствие этого он принимает одни вещи за другие: стадо баранов за полчища рыцарей, с которыми он сражается, таз цирюльника за шлем героя рыцарского романа, постоялый двор за рыцарский замок, и деревенскую девушку, не отличающуюся никакими особыми качествами, — за принцессу, первую в мире красавицу, во имя которой он совершает все свои подвиги. Самоотверженный смелый фантаст, готовый в каждый час дня и ночи ставить свою жизнь на карту во имя блага человечества, он, принимая одни вещи и одни отношения за другие, пытается всех избивать и остается каждый раз сам позорно побитым. В своей замечательной трагикомедии Сервантес показал с изумительной силой, к каким результатам приводит общественная деятельность, когда она противоречит историческому ходу вещей. Сила обобщения в типе Дон-Кихота, как известно, настолько велика, что его имя стало нарицательным, обозначающим определенный общественно-психологический комплекс, встречающийся в разные времена.

В конкретном образе полусумасшедшего рыцаря Сервантесом раскрыта великая философская проблема о корнях идеализации вообще. Такие обобщающие художественные образы появляю-

тся при особенно резко выделяющихся классовых отношениях, когда отживает целая историческая формация. Такие моменты дали почву для трагикомедий, трагедия которых заключается в том, что поставленный и фанатически проводимый идеал — неосуществим, а комедия — в том, что этот возвышенный идеал общественно реакционен и не соответствует данному уровню производительных сил и обусловленных этим уровнем общественных отношений.

Такую же обобщающую силу мы находим в Гамлете: философская проблема, раскрытая этим гениальным и художественным творением, заключается в конфликте между теорией и практикой, между рефлектирующим рассудком и волей к действию. Этот именно конфликт и носит нарицательное название гамлетизма. Психологический конфликт Гамлета характеризует собою определенные группы интеллигенции, принадлежащие по своему происхождению к господствующему упадочному классу, сознающие это упадочное состояние, но в то же время лишенные силы воли для того, чтобы примкнуть к революционному классу.

Гамлетизм, как и донкихотство, выражая собою повторяющуюся ситуацию в классовой борьбе, представляет собою длительную историческую категорию, которая проявляется в различных конкретных формах в зависимости от данного содержания общественных классов и их взаимоотношений.

III

Вернемся теперь к основной теме нашей статьи — к вопросу об отношении пролетариата к классическому искусству исторического прошлого. Как было отмечено выше, мнения по этому вопросу в с.-д. среде разделились. Одни считали возможным существование пролетарского искусства, отрезанного от всего прошедшего, и требовали полного разрыва с классиками; противники же этого воззрения утверждали вообще невозможность возникновения пролетарской культуры как таковой. Последние мотивировали свое отрицание тем, что пролетариат поглощен всецело и исключительно социально-политической борьбой, лишаящей

возможности творить какие-либо другие культурные ценности. Это—во-первых. Во-вторых, искусство является такой отраслью культуры, которая требует наличия материальных благ, высокой степени умственного и эстетического развития и вообще особенно благоприятной обстановки. Рабочий класс лишен всех этих возможностей, а потому нет почвы для возникновения, культивирования и развития искусства. А поэтому то, что можно назвать новой стадией в искусстве, может быть осуществлено только в социалистическом обществе. Эта точка зрения в русской литературе была защищена главным образом Потресовым, а впоследствии Троцким.

Противоположная точка зрения нешла себе, по нашему мнению, настоящей аргументации и принималась в сущности как догматическое утверждение самостоятельного существования и возможности развития пролетарской культуры. Лишь в области литературы проводились доводы против классиков.

Первая точка зрения — об отсутствии пролетарской культуры — безусловно ошибочна. Вторая может считаться правильной лишь постольку, поскольку ею признается существование и развитие пролетарской культуры в период досоциалистический. Доводы первой категории поверхностны. Они свидетельствуют, во-первых, о незнании исторического развития искусства; во-вторых, о непонимании сущности и содержания искусства; в-третьих, о недостаточном проникновении в процесс и историю пролетарской борьбы. Политическая борьба пролетариата вовсе не ограничивается политикой в старом избитом смысле этого слова — в смысле государственных и правительственных распоряжений в буржуазном государстве. Все движение и политическая борьба пролетариата подсазаны многосторонними интересами и вытекают из глубин жизни, действий, стремлений, надежд, страданий, солидарности, социальных идеалов и исторических задач рабочих масс. Во всяком политическом действии пролетариата можно раскрыть эти стороны. Такая политическая борьба, такие политические действия дают беско-

нечное количество новых сюжетов для всех видов искусства. Второй довод — что искусство требует наличия материальных благ, воспитывающих массы эстетически, и досуга для развития специальных способностей, — включает в себе долю истины, но не всю истину. Отсутствие материальной и эстетической культуры у пролетариата компенсируется силой, свежестью и новизной выраженных пролетарскими художниками процессов жизни, что составляет выгодный контраст по отношению к упадочной продукции буржуазного общества. Кроме этих соображений принципиального свойства, доводы Потресова—Троцкого грешат и против фактического положения вещей. В действительности пролетарская культура в течение ряда десятилетий накапливает вопреки бешеному противодействию буржуазии множество как материальных, так и эстетических и интеллектуальных ценностей. Разве вся марксистская мысль, начиная с классического «Манифеста коммунистической партии» и кончая всей марксистской литературой наших дней, не является крупнейшим культурным богатством пролетариата? Сказанное относится ко всемирному пролетариату. Что же касается в частности Советского союза, то здесь у нас создана колоссальная материальная база для развития пролетарской культуры и пролетарского искусства в частности. Советское государство и коммунистическая партия осуществляют художественное просвещение масс в невиданных в истории масштабах. Для капиталистических же стран всякое просвещение масс означает ускорение гибели буржуазного общества. Кроме того, следует заметить, что буржуазное искусство насчитывает несколько сот лет развития, причем деятели искусства преимущественно являются выходцами из того класса, в руках которых отнюдь не были скоплены все материальные богатства—именно из мелкой буржуазии и примыкающей к ней интеллигенции. Крупная буржуазия в подавляющем большинстве случаев была потребителем искусства; это значит, что художники обслуживали количественно незначительный контингент потребителей, между тем потребителями пролетарского искусства являются ши-

рокие массы. А это несомненно огромное преимущество.

После всего до сих пор сказанного является возможность подойти еще ближе к существенному вопросу о том, какое значение имеет буржуазное классическое искусство для пролетарской культуры. В вышеуказанной полемике немецкой с.-д. Шпербер и другие ополчились с большой энергией против классиков, указывая и подчеркивая тот, по их мнению, несомненный факт, что все классические произведения литературы прошедших эпох, во-первых, не в состоянии заразить пролетариата чувствами и мыслями, в них выраженными, так как пролетариат придерживается совсем другого мировоззрения и смотрит вообще иначе на вещи и людские взаимоотношения. Во-вторых, если и поскольку эти произведения могут заразить, то такое заражение имело бы отрицательное значение, так как могло бы вселить и привить пролетариату буржуазно-мещанские чувства и воззрения. Иначе говоря, идеи художественных произведений буржуазных классиков могут оказать вредное воспитательное влияние на пролетарские массы. Какое дело пролетарскому читателю или зрителю до трагедии Гретхен, которая душит своего ребенка? — спрашивает Шпербер. Никто не станет в настоящее время сражаться и умирать за честь своей сестры, потерявшей так называемую невинность. Такое дело разрешится при нынешних условиях совершенно иначе.

Возьмем, независимо от Шпербера, еще пример из классической литературы — «Короля Лира». Король отдал свое наследство при жизни дочерям, а дочери изгнали отца из его бывших владений. Какое, спрашивается, дело современному пролетарию или идеологу пролетариата до такого рода трагедий. Короли и троны сняты со сцены истории, их судьба не может тронуть в настоящее время передового человека, т.-е. социалиста. Поскольку же возможно противоположное, то оно может оказать только отрицательное действие, и т. д. На первый поверхностный взгляд эти соображения могут показаться вполне убедительными. Но только на первый и только поверхностный взгляд. В действительности же дело обстоит иначе.

Во-первых, искусство, отражающее исторический процесс, восстанавливающее конкретную обстановку, — жизнь, быт, людей, общественные идеи в их взаимной связи, — это искусство дает нам познание исторических явлений, и не только рациональное познание. Художественное познание связывает нас с объектом исторического прошлого через эмоцию, расширяя наш кругозор и обогащая нашу индивидуальность. Как беден кругозор и как неполна индивидуальность человека, не имеющего ни малейшего представления об исторических связях, лишенного познания прошлого, обладающего памятью на события, не превышающие длительности человеческой жизни! Что же касается возможности эстетических переживаний на основе восприятия произведения отдаленного прошлого, то эта возможность зависит всецело от творческой силы художника. Если художнику удалось увидеть, пережить и воспроизвести действительность своей эпохи, то художественное произведение имеет эстетическую ценность и для нас, поскольку оно переносит нас в ту эпоху, из которой взята данная тематика.

Далее, совершенно неверно утверждение, будто от истинно классического произведения одной эпохи ничего не остается для другой эпохи. Возьмем трагедию Гретхен. Верно то, что в указанных выше оценках трагедии с нашей современной точки зрения совершенное Гретхен преступление и его причины — убийство ребенка из-за «незаконного» сожительства — превзойдено нашей эпохой, и в особенности не имеет убедительности для пролетарского зрителя. Но трагедия Гретхен далеко не исчерпывается этим убийством. Сущность трагедии состоит в том, что Гретхен оставлена Фаустом. А оставлена она вследствие конфликта между мужичиной и простой девушкой, дочерью народа. Для Гретхен любовь к Фаусту есть цель, смысл, полнота всего ее существования. Для Фауста же это одно из многих средств на пути к удовлетворению его жадной, многосторонней и ненасытной требовательности к жизни. Исчерпав это средство, он идет дальше, а ей идти некуда, и поэтому она гибнет. Этот конфликт не изжит и в наше время. Корни его лежат в социально-историче-

ском положении женщины. Конфликт этот может исчезнуть лишь в социалистическом обществе, и именно в том его состоянии, о котором Энгельс говорит, что классовое строение общества будет не только уничтожено, но и забыто. Поэтому вся конкретно-историческая обстановка вместе с воспитанием Гретхен, говоря термином Гегеля, «снята» историей, но идея конфликта сохранилась, выражаясь в других конкретно-исторических формах, более, разумеется, смягченных. Кроме всего отмеченного, трагедия Гретхен выражает собою непосредственно классовый момент, сохраняющий все свое значение и в настоящее время в капиталистическом обществе. Мефистофель выбирает для разорванной психики Фауста близко стоящее к природе, цельное, наивное, ничем испорченное существо, которое отдается Фаусту беззаветно, повинувшись своему глубокому, цельному, непосредственному чувству. Фауст пользуется этим чувством без всяких размышлений в значительной степени потому, что перед девушкой из народа он несет меньшую ответственность, и потому же он ее жестоко и безжалостно оставляет. Можно не сомневаться в том, что Фауст не поступил бы так бессовестно с принцессой, как он сделал это с бедной Гретхен.

Далее посмотрим на содержание «Короля Лира». Если смотреть на эту трагедию только как на конфликт между королем, отдавшим своим дочерям в наследство трон и скипетр, и дочерьми, изгнавшими отца из дому, — то пьеса теряет для нашего времени всякий интерес. Но такой взгляд является чисто формальным, и трагедия замыкается, остается исключительно в своей эпохе. В действительности конфликт короля Лира имеет место не только в этом исключительном положении, но простирается гораздо дальше за его пределы. Если например молодая женщина отдает свою красоту, силу и молодость мужчине, который через некоторое время ее оставляет, — разве это не положение короля Лира? Если философ, ученый, поэт, крупный общественный деятель отдает все творческие силы, все помыслы, весь напряженный труд и страданье обществу, а впоследствии, как это часто бывает, всеми оставлен, забыт

и одинок — разве это не положение короля Лира? Если рабочий производит общественное богатство и каждый раз может быть выброшен безжалостной рукой капиталиста на улицу — разве это не положение короля Лира? Виндельбанд замечает, что философия, овладевшая когда-то всеми областями науки, отдала все это богатство положительному знанию и сама осталась в положении короля Лира. Этот конфликт между философией и положительным знанием может конечно волновать и трогать только метафизика. Но такая аналогия четко показывает, как далеко простирается конфликт трагедии Шекспира. Можно быть уверенным, что великий драматург, избрав своим сюжетом конфликт короля, не думал, что конфликт имеет только местное ограниченное значение. На самом деле Шекспир выбрал образы короля и его приближенных потому, что эти образы для его времени более яркие, более убедительны и более сильны; король, изгнанный своими дочерьми, произвел во времена Шекспира большее впечатление, чем произвел бы на ту же публику образ лица другой, более скромной, более честной и более производительной профессии. В общем можно сказать, что крупный художник избирает такие социально-психологические отношения своего времени, которые сохраняются и в следующих исторических периодах, но находят свое конкретное выражение в иных конкретных образах. Трагические конфликты, подобные трагедии Гретхен и короля Лира, являются общими понятиями, выраженными в образах, и охватывающими все конфликты этого порядка. Историческая дальновидность классических произведений объясняется таким образом, с одной стороны, конкретным характером искусства, а с другой — исторической длительностью социальных условий, определяющих их общее идейное содержание.

Одно из плодотворных и великих положений исторического материализма

гласит, как известно, что «история всего предшествующего общества есть история борьбы классов». «Свободный и раб, патриций и плебей, барон и крепостной, цеховой мастер и подмастерье, короче, угнетатели и угнетенные находились в постоянной вражде друг с другом, вели непрерывную то скрытую, то явную борьбу, которая каждый раз кончалась революционным переустройством всего общества или совместной гибелью борющихся классов». И дальше читаем мы в том же «Манифесте»: «Но какую бы форму она (эксплуатация — Л. А.) ни принимала, эксплуатация одной части общества другою является фактом, общим всем прошлым столетиям. Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря на все различия и на все разнообразие, врадалось до сих пор в известных общих формах, формах сознания, которые исчезнут совершенно лишь с полным уничтожением противоположности классов.

Таким образом, вопреки распространенному ныне вульгарно-релятивистскому взгляду, выдаваемому обычно за самый подлинный марксизм, утверждающему одну изменчивость форм классовой сознания, без раскрытия диалектического единства в этой изменчивости, с общей постоянной основой идеологии, которая обусловлена непрекращающейся до нашего времени классовой борьбой, — вопреки этому вульгарному взгляду «Манифест Коммунистической партии» подчеркивает, на ряду со всеми различиями и всем разнообразием, непрекращающееся до сих пор существование известных общих форм сознания, характерных для всей истории классовой борьбы в целом. Возможность исчезновения этих общих всем классовым обществам форм сознания «Манифест» видит только лишь в «полном уничтожении противоположности классов», т.-е. в социализме. Отсюда следует, что художественные произведения, заключающиеся в конкретных формах данного времени общую идею классовой борьбы, обладают обобщающим значением. Этим и обьяняется длительное историческое действие упомянутых выше классических произведений: Прометея Эсхила и Гете, короля Лира, трагедии Грехен и т. д. Выражая собою обобщаю-

щую идею конфликтов, возникающих в конечном счете на почве классовой борьбы, этого рода произведения играют роль стимула для революционных классов будущих эпох.

Мы видим таким образом связанные между собою изменчивость и постоянство, как диалектическое движение исторического процесса классового общества. Гегель свел бы это единство и эту устойчивость, выражающиеся в классовой борьбе и классовых противоречиях, к идее, как таковой, а все конкретные проявления этих общественных процессов оказались бы с точки зрения абсолютного идеалиста одною лишь видимостью, проявлявшейся для полноты идеи. С нашей же материалистической точки зрения единство исторического процесса, выражающееся в классовых противоречиях и в классовой борьбе, сводится к конкретной материальной основе, состоящей в принадлежности орудий производства господствующим классам, а видоизменение конкретных форм классовых образований и классовой борьбы и всех форм общественного сознания определяется ростом и развитием производительных сил. Этот диалектический процесс, определяя собою состояние и борьбу классов, классовую психологию, обуславливает в свою очередь всю идеологическую надстройку вообще и искусство в частности. Искусство, выражающее этот же самый диалектический процесс, сущность которого в художественной области сводится к раскрытию единства во множестве, является великой воспитательной школой для развития и совершенствования пролетарского художника. У величайших мастеров-классиков нужно учиться видеть и воспроизводить всю полноту объектов и связей действительного мира, т.-е. нужно учиться передать отрезок той действительности, с которым художник имеет дело, передать его так, чтобы взаимная связь выходила за пределы этого отрезка, открывая собою те же связи в иных конкретных отрезках. Таким образом оба возражения против значения классического искусства для пролетариата, приведенные в начале этой главы, падают — первое потому, что изображенная в классиче-

ских произведениях конкретная обстановка не отживает постольку, поскольку она сохраняет для нас идеи и связи, сохранившие свое значение и до нашего времени; второе же потому, что классические произведения, выражая общую идею антагонизма классов, тем самым заражают передовой революционный класс современности пролетариата не мешанством, как думает Шпербер, а напротив, общественной действительностью и героикой. Современный зритель, слушатель и читатель из пролетариата, воспринимая «Разбойников», «Прометея» и др., обогащаясь восприятиями исторической обстановки, в то же время идейно освобождались от нее, подставляя мысленно нынешнюю ситуацию классово-войны.

В связи со всем написанным мне живо вспоминается то сильное, глубокое действие, которое оказывало на революционную молодежь 80-х годов «Жанна д'Арк» Шиллера в превосходном исполнении Марии Николаевны Ермоловой. Эта буржуазно-национальная трагедия, совершенно чуждая по своим идеям революционным стремлениям 80-х годов, производила тем не менее огромное революционное впечатление. Революционная молодежь придерживалась космополитических, как тогда выражались, идей, ко всякого рода национализму она относилась со свойственным молодежи фанатическим отвращением. Короли были самыми презренными и ненавистными существами, с не меньшим отвращением она смотрела на войны, для которых она не искала никаких исторических оправданий. И несмотря на все это, трагедия вызывала революционные эмоции. Чем же, какими сторонами этого произведения вызывалось революционное действие? Оно вызывалось героизмом, порывом к подвигу, готовностью жертвовать собой во имя общественной идеи, действовал благородный пафос, драматический язык, драматическая ситуация, диалектика конфликта и вообще напряженная настроенность всей трагедии. А затем проникновенное исполнение Ермоловой, которая выступала как настоящая героиня. Великая артистка была героиней всерьез, действительной Жанной д'Арк.

Молодежь пропускала мимо своего

внимания неприемлемую для нее идеологию эпохи Жанны д'Арк, она проникалась героикой, и под общим героизмом, если можно так выразиться, под алгебраической героикой она подставляла свои конкретные арифметические цифры. Героическое усилие, страсть, темперамент и, если угодно, мученичество требовались всеми тяжкими условиями подпольной революционной борьбы, и революционная молодежь воспринимала эти именно стороны в классической трагедии, оставляя в стороне все то, что не отвечало ее идейным стремлениям, она инстинктивно относилась все не соответствующее данному времени к историческому прошедшему, на которое она смотрела, согласно тогдашнему господствующему мировоззрению, как на сплошное заблуждение и варварство.

Исполнители артисты хотя и перевоплощаются, погружаясь в ту историческую эпоху, откуда взяты те или другие сюжеты, тем не менее они более чем кто-либо из художников других жанров связаны со своим временем. Находясь, можно сказать, ежедневно лицом к лицу со своими потребителями, деятели сцены проникаются их настроениями, а живое, эмоциональное настроение более всего свойственно публике с передовыми идеями. Вследствие этого артисты обычно подчеркивают из классических пьес те мысли и те выражения, которые доходят до публики и которые соответствуют стремлениям и задачам данной эпохи.

Та же самая Мария Николаевна Ермолова вела на сцене во всех ее героических ролях энергичную, действительную, успешную агитацию против царской власти. Такая же борьба против царской власти велась и на сцене Художественного театра, ставились ли произведения Шекспира, Ибсена, Чехова или других классиков.

Шиллер и Лессинг были того убеждения, что искусство призвано перевоспитать род человеческий. Настоящее, подлинное искусство должно и может, по мнению этих великих просветителей, сделать человека более содержательным, более гуманным, более просвещенным и более совершенным существом.

Марксистское мировоззрение отвергает самым решительным образом такую идеалистическую точку зрения. Истори-

ческий материализм учит нас со всей научной убедительностью, что ни одна идеологическая область не в состоянии перевоспитать человеческую индивидуальность. Лишь и исключительно коренное переустройство общества, полная и завершенная организация общественных отношений сделают возможным усовершенствование человеческой породы.

Тем не менее и согласно историческому материализму искусство имеет огромное, всестороннее воспитательное значение. Влияние искусства пронизывает собою все поры общественно-исторической жизни. Влияние это до такой степени многообразно и до такой степени разносторонне, что оно не поддается ни малейшему учету.

Исторический материализм ничего общего не имеет с анархическим нигилизмом, объявляющим весь культурно-исторический процесс отрицательной величиной, которую следует отбросить, как досадно мешающую ветوشь. Марксистское мировоззрение представляет собою полную противоположность шпенглеровской метафизике, согласно которой каждая стадия исторического процесса представляет собою изолированный, законченный индивидуальный организм, который рождается, живет и умирает, не оставляя после себя никакого следа. Материалистическая диалектика рассматривает историю человечества в общем как связанный, единый и неразрывный процесс, каждая ступень которого, говоря словами Гегеля, «снимается» и в то же время сохраняется. Конечно не в абсолютном смысле гегелевской теодицеи, сообразно которой история осуществляет плановый целесообразный процесс.

С этой именно диалектической точки зрения следует подходить ко всякой отрасли культуры вообще и к искусству в частности, идет ли речь о научном объяснении данной отрасли или о практическом целесообразном использовании тех или иных ее элементов для настоящего или будущего. С этой же диалектической точки зрения надобно смотреть и на отношение классического искусства к новому, пролетарскому искусству. Содержание классического искусства во многих отношениях и смыслах исторически превзойдено, но оно в то же

время сохраняет — и не только в качестве исторических памятников — живое, плодотворное значение и для современного революционного пролетариата. Энгельс писал в письме к Лассалу: «Полное слияние большой идейной глубины осознанного исторического содержания с шекспировской живостью и насыщенностью действия будет достигнуто, пожалуй, только в будущем». Элементы из шекспировского творчества сохранятся, стало быть, по мнению Энгельса, и в историческом будущем. Есть таким образом, по мнению Энгельса, чему учиться пролетарскому художнику у Шекспира. Ясно, что не только у Шекспира и не только «живости и насыщенности действия», но и у всех других великих мастеров-классиков и многим другим сторонам художественной деятельности.

Художник не есть особенное, субстанционально отличное существо. Он не является к нам, смертным, из иного потустороннего мира, как тому учат идеалисты, начиная с Платона и кончая Кантом и кантианцами включительно. Художник отличается от нехудожника, от обыкновенного среднего человека лишь большей степенью восприимчивости к конкретной окружающей действительности. Метафизическая точка зрения, утверждающая качественно, т.-е. субстанциальное отличие художника, оставлена даже некоторыми идеалистами под очевидным влиянием современного естествознания, с одной стороны, и массового революционного движения, обнаруживающего зависимость идеологического творчества от специально исторической обстановки — с другой. Вот что например пишет по этому важнейшему коренному вопросу эстетики идеалист эстетик Бенедето Кроче: «Только количественную разницу можем мы признать и существенным моментом смысла слова гения или художественный гений в отличие от не-гения, от обыкновенного человека. Говорят, что великие артисты открывают нас нам самим. Но как было бы это возможно, если бы наша фантазия не была по природе своей тождественна с их фантазией и если бы различие не касалось только одного количества. Вместо того, чтобы говорить:

poetā nascitur (поэты рождаются), следовало бы сказать: homo nascitur poetā (человек рождается поэтом). Одни—поэтами незначительными, другие—поэтами великими. Сделав это количественное различие качественным, тем самым расчистили место для культа и суеверия гения¹). Но за то—как это тоже следует здесь заметить—со всей возвышающейся над человечностью позиции художественный гений низвергается и становится ниже человеческой природы трудами тех, кто думает, что его собственным свойством является бессознательность, «и артистическая гениальность, как и всякая другая форма человеческой активности, всегда сознательна. В противном случае она знаменовала бы собою слепой механизм. У артистического гения может отсутствовать единственно лишь рефлекслирующее сознание, добавочное сознание историка или критика»¹). Такой же взгляд на сущность природы художника высказал известный искусствовед Гирн, а также и некоторые другие эстетики.

Если верно, что отличие художника от обыкновенного человека сводится к количественным отношениям, если верно, что творческий процесс состоит из сознательных актов,—а сомневаться в этом может лишь метафизик и мистик,—то совершенно очевидно, что крупные достижения художественного таланта или гения обуславливаются соответственным воспитанием, развитием потенциальной силы восприятий, суммой воспринятых впечатлений, усвоенных образов и продуманных идей. Вполне очевидно таким образом, что из всех идеологических областей наибольшее влияние на художника оказывает искусство. Классические произведения мастеров являются его истинными учителями. Чтение и работа над классическими произведениями расширяют кругозор, дают образцы больших масштабов, указывая, какими сложными путями достигается воспроизведение художественного единства в разнообразии. Истинно классические произведения, воспроизводящие общественно историческую действитель-

ность в больших масштабах, всегда скрывают в себе неразрешенные проблемы. Разве «Дон-Кихот», разве гетевский «Фауст», разве «Гамлет» или «Война и мир» не заключают в себе ряда проблем, требующих своего объяснения, своего освещения и своего разрешения с точки зрения диалектического материализма и идеалов коммунизма. Истинно художественное произведение, отражающее процессы действительности, всегда диалектично, а диалектическое движение никогда не выступает и не может выступить в абсолютно законченном виде. Наше время знает донкихотство и Дон-Кихотов, и в наше время существуют Фауст и Гамлет и т. д. И все эти проблемы не чужды современному пролетариату, и они требуют своего художественного разрешения и художественного разрешения согласно нашему мировоззрению. Мне могут возразить, что в таком случае классическая литература сохраняет интерес лишь своей проблематикой. Нет, не только проблематикой, Постановка и разрешение той или иной крупной проблемы в прошлом намечает пути к разрешению ее согласно условиям настоящего времени. Никто из марксистов не станет в настоящее время отрицать значение классической политической экономии, французского материализма XVIII века, системы Гегеля и философии Фейербаха для создания диалектического материализма.

Гораздо большее, несравненно большее значение имеет классическое искусство для искусства пролетарского. Классическое искусство, как это было развито выше, сохраняет свое значение не только в смысле исторической преемственности и диалектического преодоления, но и также с точки зрения индивидуальной ценности. Вот эта именно индивидуальная сохраняемость классического искусства может и должна оказать необходимое воспитательное действие на борющийся пролетариат и на пролетарских художников. Борющемуся пролетариату, не только европейскому, но и нашему, предстоит большая, бурная и жестокая борьба за осуществление идеала социализма и коммунизма.

В этой борьбе потребуется немало жертв, немало героического упорства, потребуется высокий эмоциональный

¹) Бенедето Кроче «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика». ГУС. Перевод В. Яковенко. 1920 г., стр. 18.

подъем, стальная воля и самый сильный практический идеализм, т. е. исключительная способность жить осуществлением будущего, ощущать это будущее как настоящее. А для этого революционное коммунистическое искусство должно уметь развить идеалы социализма во всей их величине, красоте, силе. Классическое искусство, во-первых, может содействовать эмоциональному подъему своими историческими масштабами, своей революционностью и своей действенностью. А с другой — оно должно стать школой всевозможных навыков воспроизведения всей полноты конкретной действительности в художественных образах и формах. Поэтому совершенно прав был Ленин, когда прямо и ясно высказался в пользу усвоения прежней культуры: «Без ясного, — писал он, — понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не решить»¹).

Тем не менее классическое искусство не должно быть нами принято без исторической и социально-политической критики. Критически должна быть обнаружена вся буржуазная природа классического искусства; должны быть со-

¹) Плеханов хотя непосредственно этой проблемы не касался, но из всего отношения его к классикам ясно видно, какое значение он им придавал.

рваны все религиозные покровы и критически преодолены религиозные элементы, окрашивающие, за очень редкими исключениями, эмоциональные моменты у классиков. Для буржуазных классиков религия являлась сферой высших субъективных ценностей, исканием субъективного смысла жизни; иначе говоря, религия заполняет субъективную область сверх личного и возвышенного. Поэтому отсутствие религии означает для такого мировоззрения отсутствие идеальной сферы вообще; без религии жизнь становится с их точки зрения плоской, бессодержательной в высшем смысле, лишенной высших целей. Но для революционного пролетарского сознания религия целиком снимается мировоззрением диалектического материализма; субъективные же ценности даются не небесными сонмами, не мистической темной бездной и не загробным миром, а возвышающим познанием космических законов, идейным содержанием исторического процесса и его высшего завершения — коммунистического общества. Они даются переживанием того великого исторического момента, когда «место старого буржуазного общества с его классами и антагонизмом классов займет ассоциация, в которой свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех».

Искусство пролетариата должно проникнуться мировоззрением диалектического материализма в его всеобъемлющей форме и полном его значении.

2. О „НОВОЙ ЗЕМЛЕ“ Ф. ГЛАДКОВА

Арк. Глаголев

«...Хорошо-то как, вольготно-то как!.. Цвет-то какой!.. Рясно...

Аксюта тоже цвела весною, и в душе у меня волновалась нежность к ней.

— Аксюта! ты наряжайся каждый день. По-праздничному. Ты такая молодая, весенняя.

Она покраснела, посмотрела на небо, на сад и пошла от меня легкими, девичьими порывами».

И этой радостью бытия, «весенним прибором», солнечной молодостью пронизано целиком все повествование Федо-

ра Гладкова. Ароматом буйного цветения жизни веет со страниц «Новой земли». Легкие, прозрачные зарисовки, акварельные краски перемежаются с густой и пряной «фламандской» живописью. Плотское, материальное обильно наполняет произведение Гладкова. Жизненное полнокровие — основная, характерная черта его художественного облика. Жирный запах плодородной земли, «сырой и распаренной», «дышащей, как беременная женщина», насыщает атмосферу повести.

Перед нами целый художественный гимн «рождающей земле», плещущей «необозримыми бархатами пашен, целыми морями зеленого шелка озимей, а летом — океанами янтарно-золотой зыби, пылающей пламенными волнами», гимн земле, освобожденной от раздиравших ее «клиньев, квадратов» мужицких «полос» и «душевных наделов». С особой художественной силой «фламандское», телесное, материальное выражено в главах «Скотий мир», «Сосунки», «Матери». В «крутых покатых бедрах» могучих золотистошерстных першеронов, в «тяжелых розовых бурдюках вымени» плюшевых коров, в «свалке живых сахарных булочек» — четвероногих существ с «курносими мордочками» художник восторженно отмечает ту же «обильную, жирную кровь», тот же «рокот радости», ту же «жизнь, нерушимое, бессмертное, полное горячей любви и жажды размножения материнство», ту же материальную первооснову жизни, что и в «беременной и рождающей земле». В теснейшем родстве с этой зацветающей землей и переполненным «горячей влагой» «скотым миром» находится в повести Гладкова и человек. «Наш фруктовый сад — весь в цвету, и душа моя тоже пылает цветами» — говорит педологичка Галя. Расцветающей жизнью, полнотой бытия, сочной молодостью, торжеством плоти веет от яркого образа Луши. «Сосунки» и «матери» мира двуногих близки «сосункам» и «матерям» мира четвероногих, их объединяет единая «материнская поэзия». Это — единый «мир матерей, мир радостного кормления и любви к детенышам». Художник остро ощущает чувственно-материальную сторону жизни и умеет сочно и ярко изобразить ее перед читателем. Повесть Ф. Гладкова — сплошной дифирамб «здоровой красоте тела».

Но весь этот «биологизм» в художественной методологии Ф. Гладкова вовсе не является чем-то самодовлеющим, как это случается у многих наших «биологистов», для которых пышная «фламандская» живопись, культ извечной природы служит лишь только ширмой, заслоняющей их бегство от современности и от нашей сегодняшней боевой действительности, заслоняющей их аполитичность, служит дорожкой к

буржуазному либерализму, к гуманизму, «кнут-гамсуновщине» и т. п. У автора «Новой земли» иной путь. Биологический материализм у Гладкова тесно связывается с социальным, «биология» не заслоняет классовой борьбы. Плодородие земли, поэзия «скотьего мира», цветущая плоть, блещущая радостью жизни молодость — все это художественно берется писателем не как нечто извечное, нечто совершенно независимое от желаний и стремлений человека, от его социальной практики, но именно как результат последней, как завоеванное и завоевываемое новым человеком в упорной классовой борьбе и рассматривается писателем как результат победы пролетарской революции.

Основанная в «тяжелые дни голода» коммунистами-партизанами и крестьянской беднотой, выросшая из «голода, мук и смерти», прошедшая через ряд многих и многих трудностей, коммуна «Новая земля» к моменту повествования Гладкова предстает значительно окрепшей, достигнувшей ряда крупнейших успехов как в области хозяйства, так и в деле формирования нового быта и нового человеческого сознания. Классовая борьба, борьба собственного человеческого уклада жизни с коллективистическим, социальная битва за нового человека на новой земле, сопровождавшая рождение коммуны в годы ее начального существования, однако продолжается. Она идет и вне и внутри коммуны. Коммуну окружает атмосфера подпольного вредительства кулаков и подкулачников, слепого недоверия середняцкой массы крестьян, «упрямых в своих мужицких привязанностях к собственному логовищу»: «В колхоз — это не сходно. Не выросла еще такая дубинка для этого загона. Работать на чужого дядю, на лодыря-пьяницу дураков нет... нет, мила-ай!» Активу коммунаров приходится «возиться с мужиками упрямо и неустанно». В самой коммуне гнездится еще немало старого, ожесточенно сопротивляющегося новой жизни. Внутренними противоречиями наполнена семейная жизнь одного из организаторов коммуны Ветрова, жена которого, подкулачица Матвевна, яростно бунтует против коммуны. Поданный художественно весьма четко образ этой Матвев-

ны социально резко контрастирует с образами новых женщин-коммунарок. Цепляется за прошлое, колеблется и сомневается и ряд других женщин коммуны, только после значительного общественного перевоспитания становящихся подлинными коммунарами—к этому ряду например относится Жижикова, облик которой, при всей своей эскизности, предстает перед читателем живым и убедительным. Рвущейся к новой жизни молодежи противостоят «крысы», Лукьянычи, Уляхи, ведущие двойную игру. Наконец и основной образ — энтузиастка Галя — наглядно демонстрирует борьбу старого и нового. Рядом конкретных деталей (эпизод с зеркалом и ряд других) художник выразительно показывает освобождение этой Гали от индивидуалистического прошлого и постепенное превращение ее в коллективистку. Многие жанровые сцены отчетливо передают ту социальную борьбу, те внутренние конфликты, коими проникнута жизнь коммуны, таковы например главы: «Общественная столовая», «Суд над Ветровой», «Ревность», «К борьбе», «Хирургия Прохора» и другие. Среди них надо особо отметить замечательную, надолго остающуюся в памяти читателя, просящуюся на киноэкран сцену бабьего бунта против тракторов. Таким образом нет основания для упреков автора «Новой земли» в «сплошном панегирике коммуне», в «идеализировании» «наших коммун» («не допустимейшим образом», подчеркивает нами Арк. Г.), как это было заявлено однажды одним из критиков повести Гладкова. Если в отличие от гладковской коммуны в «комнату яслей» многих коммун сегодняшнего дня входят пока еще и без белоснежных «изоляционных халатов», а в столовых коммун и отсутствуют «букеты» цветов, «карточки меню», «какао», — впрочем даже и это вовсе уж не одна только беспочвенная романтика: этого нет сегодня, но это будет завтра, — то все же в целом говорить о подмене автором «Новой земли» диалектического подхода к действительности упрощенческим смазыванием противоречий последней нельзя. Подчеркиваем: многообразие женских образов — от Гали до Матвевны, от Луши до «бобылки», от Чушкиной до Жижиковой и т. д.

— например определенно свидетельствует о наличии элементов диалектики в творческом методе Ф. Гладкова. Автор не скрывает трудностей на пути своих коммунарок.

«Бурная весна и «ликование», царящие в «душе» энтузиастки Гали и окрашивающие всю повесть Гладкова, не превращаются в ходульную и претенциозную патетику, но дышат тем великим социальным энтузиазмом новых людей, без которого невозможно построение новой жизни на новой земле.

Вместе с этим произведение Ф. Гладкова не без недостатков.

Автор «Новой земли» конечно ясно понимает все те глубочайшие социальные связи, которые имеются у его коммуны с пролетарским городом, с революционной коллективизирующейся деревней, он связывает социальную борьбу внутри коммуны с общей классовой борьбой, происходящей вне коммуны. Ф. Гладков четко указывает, что например жена Ветрова, Матвевна, является непосредственным агентом кулаков. Гладков упоминает об «ударных бригадах», организованных коммунарами для «работы среди всего населения по вопросам коллективизации», он упоминает о классовой дифференциации окружающего коммуны крестьянства, говорит об отношении к коммуне этих различных социальных слоев крестьянства, от середняков-единоличников до колхозников включительно. Но все же здесь можно было бы развернуть более художественно широкую картину, даже более полный конкретно художественный показ, напр. взаимоотношений коммуны и близлежащего колхоза, коммуны и единоличников. Несмотря, повторяем, на ряд хорошо художественно выполненных, конкретно поданных массовых сцен, отражающих отношения коммуны и деревни (в главах «Завоевание полей», «Огненный сад» и в некоторых других), кое-что, например работа «ударных бригад» коммуны в деревне, тот же соседний колхоз, кулацкая шайка Буракова, лишено развернутого художественно-конкретного показа взаимоотношений коммуны с пролетарским городом. Пребывание коммунара Гуляки в городе на агрономических курсах выпадает из

конкретного повествования. Полутрагическое отсутствие Гали в городе расценивается Ветровым как особый плюс (в главе «Порыв Ветрова»). В то же время усиленно выпячивается наличие бюрократически-мещанских элементов в городе. О «городской жеманности... увилывании» говорит член коммуны Прохор Кириков. «Городскую заразу — индивидуализм» усиленно подчеркивает Ветров. В своем справедливом негодовании против вредительства бюрократических чинуш, «этих городских фараонов», Ветров однако как-то забывает о пролетарском городе. «Радость» и «надежда», вспыхнувшие в Ветрове при отправке пяти молодых коммунаров в город на учебу «в рабфаки», недостаточно определенно рассеивают недоверие Ветрова к городу.

Тенденция к отрыву «центра» от «периферии», «столицы» от деревни, неумение диалектически подойти к «городу», остатки старого мужицкого недоверия к городу все еще проглядывают в произведениях некоторых наших беллетристов и даже очеркистов — представителей середнячко-крестьянской психологии (можно было бы указать целый ряд таких произведений). О представителях кулацко-буржуазной литературы мы уже и не говорим: злостное сочинительство якобы непреодолимой противоположности города и деревни — их давнишняя специальность. Пролетарские писатели, Федор Гладков в том числе и в первую очередь, должны поэтому с особым вниманием освещать взаимоотношения революционной деревни и пролетарского города. Их произведения должны служить надлежащим примером для представителей крестьянской революционно-художественной литературы.

Если женские образы в повести Гладкова отличаются большой художественной выразительностью и в своей совокупности свидетельствуют о наличии в подходе Гладкова к действительности элементов диалектики, то некоторые из мужских образов даны с меньшим мастерством, в изображениях наблюдается известная художественная беглость, недорисованность. Так например надо было бы уделить большее внимание «выскальзывающему председателю производственного совещания» — «практическому

хозяину», апологету революционной дисциплины («...он никогда не упускал случая приводить в пример дисциплину партизан и Красной армии») и большому любителю книг «о войне, о революции, об открытиях науки и техники» — Чушкину. Это — социально очень интересная фигура. Развернутый художественный показ образа Чушкина весьма обогатил бы повествование. Не до конца художественно разрешены внутренние противоречия жизни Ветрова. О недостаточном четком показе его отношений к городу мы только-что говорили. Недостаточно четко показывается и преодоление Ветровым своих провалов и поражений в области «психики», «человеческих чувств». Навсегда порвав все последние «нити», «связывавшие» его с бывшей женой Матвевной, с которой он по существу никогда не имел ничего общего, Ветров все-таки сходит со страниц повести с «психикой», с личной жизнью, не вполне «подчиненными» его «организаторскому таланту». По крайней мере именно к такому восприятию образа Ветрова нас усиленно подталкивает автор «записок» — Галя:

«...Вот ты все организуешь и регулируешь. А человек — своенравная штука, организовать и рационализировать его нутро тебе никак (даже «никак»!?) — Арк. Г.) не удастся. Не так это просто, Ветров. Хороший ты парень и чудесный хозяйственник, а человеческие чувства не подчиняются твоему организаторскому таланту. Психика складывается помимо всякой твоей рационализации. В этом у тебя — сплошные неудачи... Он, обесиленный и бунтующий, не отрывал от меня глаз, и мне казалось, что он не выдержит и застонет».

Относить ли эту довольно-таки резкую характеристику Ветрова на счет субъективизма Гали, ее «специфически» «женского» пристрастного отношения к Ветрову (вытекающего до некоторой степени из ее физиологической нейтральности к Ветрову), или же признать ее объективно верной, правильно истолковывающей внутреннюю природу и поведение Ветрова как не освободившегося еще от остатков прошлого, — все же нужно подчеркнуть, что для более четкого и ясного читательского восприятия образа Ветрова не хватает нескольких

авторских художественных штрихов. О, разумеется не о внешнем, механистическом устройении личной жизни Ветрова, не о схематической «рационализации» Ветрова толкуем мы. Автор очень хорошо сделал, что открытие электростанции коммуны не сопроводил «семейным союзом» Гали и Ветрова, не превратил заключительные сцены своей повести в показ «счастливой» «парочки» на фоне открытой электростанции. Такой «счастливый конец» (обычно предподносимый нам халтуристами, начинающими понемногу угощать читателя «электрифицированной» пошлятиной) знаменовал бы весьма большое художественное несчастье для писателя. Не поддаваясь такой антихудожественной дешевке, — выдающийся писатель, Ф. Гладков был всегда очень далек от этого, — автор «Новой земли» должен был бы с большей художественной настойчивостью подчеркнуть всю внутреннюю и социаль-

ную возможность для Ветрова полной ликвидации его «психических» «сплошных неудач». Несколько недорисован и художественный образ Банкина. Впрочем и тут некую «дискуссионность» этого образа надо отнести не столько за счет подлинной социальной, психондеологической природы Банкина, сколько за счет субъективизма Гали. Вообще этот субъективизм записок Гали в известной степени сказывается на всем повествовании Ф. Гладкова. «Специфически» «женское» проявляется и в подборе, и в характере того материала, с помощью которого показывается победа нового мира над старым. «Младенцы», «матери», «женщины», «проблема сердца», проблема «новой любви», «ревность» и т. п. особенно выдвигается на первый план, хотя это и не умаляет социальной значимости произведения Гладкова «Новая земля».

3. ИЗ ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Л. Полонская

Еврейская художественная литература до недавнего прошлого была посвящена по преимуществу жизни еврейского местечка Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, — тех уголков России, куда царизм загонял еврейскую массу, обрекая ее на прозябание и голод. Население еврейских местечек жило в обстановке непрерывной погромной травли. Оно, не имея опоры в промышленности, принуждено было заниматься мелким ремесленничеством и торговлей, что обеспечивало при скученности населения в черте оседлости в лучшем случае лишь полуголодное существование. Политическим результатом такого положения являлось то, что еврейская местечковая масса сплошь и рядом шла на поводу националистических идей своей буржуазии.

Незначительные слои еврейского пролетариата также находились в сильной зависимости от мелкой кустарной цеховщины, испытывая при этом непрерывное давление усилению насаждаемого правительством антисемитизма. Так создавались националистические

настроения и в пролетарской среде, толкая ее наиболее политически активные элементы в лучшем случае лишь в ряды «Бунда».

Именно здесь заключалась основная причина того обстоятельства, что еврейская художественная литература до Октябрьской революции вся была пропитана национализмом, «национальной скорбью», отчаянием безысходности кочующего и отовсюду гонимого «вечного жида». Центральной фигурой еврейских художественных произведений был несчастный, голодный, но «как-то» изворачивающийся, ухитряющийся «из воздуха» добывать скудные средства для существования кустарь, ремесленник, «балагула», торгаш.

Изредка звучало художественное слово рабочего и о рабочем. Но оно также сковывалось националистическими тенденциями, освободиться от которых автор, поэт и писатель, был бессилён. Но и в таком далеко не выдержанном с точки зрения пролетарской идеологии «одеянии» оно, как правило, не видело печати, — оно подвергалось двойно-

му цензурному воздействию: царской цензуры и цензуры, господствовавшей в ту пору в литературе группы буржуазных националистических писателей. Если в русские учебные заведения еврей попадал по процентной норме, то еврейский пролетарий-писатель в свою литературу попадал еще с большими трудностями. Блестящим примером может служить писатель Юдл Иоффе, выходец из рабочей среды, еще до революции отразивший эту среду в своем творчестве и сознательно «затираемый» буржуазно-националистической литературой.

Таким образом, несмотря на наличие еврейского пролетариата, дореволюционная еврейская художественная литература остается мелкобуржуазной и националистической. Она прекрасно пользуется еврейской буржуазией в ее интересах, играя роль одного из «винтиков» буржуазно-идеологического воздействия на широкие массы.

Октябрьская революция впервые понастоящему поставила и разрешила национальный вопрос, в том числе и еврейский. Сокрушительный удар нанесен шовинизму, великорусскому прежде всего. Такой же сокрушительный удар нанесен и антисемитизму: в безвозвратное прошлое отошли погромы, трудящиеся еврейские массы, как и все остальные малые народности, населяющие СССР, получили неограниченный доступ к производственному труду, — в промышленность и сельское хозяйство. Они получили доступ к техническим знаниям и культуре, они завоевали человеческое существование. Вместе с тем с корнем вырвана та почва, которая так обильно возвращала среди трудящегося еврейства национализм, скорбь национальной безысходности.

Большая часть буржуазных еврейских писателей уже в первые дни Октябрьской революции сбросила маску национализма, открыв свое подлинное, искаженное озверелой ненавистью, контрреволюционное лицо. Теперь эти писатели «вечно гонимого народа», обретшего наконец свободу, право на жизнь и труд, оказались не со своим народом, а — как и следовало ожидать — со своим классом, со своей бур-

жуазией, с теми, интересы которых эти писатели защищали в своем творчестве.

Не выдержали испытания Октябрьской революции и те еврейские писатели, которые являлись действительными представителями обездоленного мещанства: страх лавочника, мелкого хозяйчика и кустаря потерять наличные крохи частной собственности загнал их в лагерь контрреволюционной эмиграции. Лишь немногие из дореволюционных еврейских писателей, отдав творчество Октябрьской революции, помогают социалистическому строительству своим художественным словом.

Еврейская советская литература развивается с каждым годом, занимая все более заметное место в общем литературном движении народов СССР. Еврейская советская литература крепнет как в художественном отношении, так и в отношении своей классовой выдержанности и идейной насыщенности. Ряды еврейских советских писателей растут за счет пролетарского еврейского молодняка.

Одной из колоритнейших фигур среди этой новой плеяды художников слова является талантливый рабочий-коммунист М. Альбертон, оценку одной из книжек которого мы включаем в настоящую статью¹⁾. В эту же статью мы включаем оценку книги Переца Маркиша «Из века в век»²⁾ и Юдла Иоффе «На нэповском подворье»³⁾.

Три приведенные работы характеризуют основные этапы, пройденные советскими еврейскими массами за годы революции: от февральских дней до дней великого строительства реконструктивного периода.

Роман Переца Маркиша «Из века в век», как узнаем из предисловия И. Нусинова, является только первой частью

¹⁾ М. Альбертон — «Биро-Биджан». Перевод С. Брук. Предисловие М. Лирова. Госиздат. 1930 г. 296 стр. Ц. 1 р. 75 к. Серия «Творчество народов СССР».

²⁾ Госиздат. 1930. 271 стр. Ц. 2 р. 50 к. Пер. с евр. Б. Маршака. Под редакц. и со вступит. статьей И. Нусинова. Серия «Творчество народов СССР».

³⁾ «На нэповском подворье». Предисловие Б. Оршанского. Госиздат. 1930. 175 стр. Ц. 1 р. 30 к. Серия «Творчество народов СССР».

большого трехтомного художественного полотна, вторая часть которого должна отразить эпоху военного коммунизма, а третья — начало нового строительства. В романе «Из века в век» автор дает картину жизни еврейского местечка в годы империалистической войны и в первый период революции. П. Маркиш изображает еврейское местечко не как нечто национальное единое. На ряду с фигурой Иойне Бермана — богача и эксплуататора, основательно награвшего руки на военных поставках, а в дни революции определившего свое место в рядах ее ненавистников, с большой теплотой и сочностью дан яркий образ еврея-ремесленника, старика Менделя. Автор прекрасно понимает, что время Бермана и Берманов кончилось, что будущее не за ними, что в огне революции доигрываются «последние аккорды бермановской мечты о счастье золотой золы и заводских ям, о больших подрядах, о сапогах, седлах, юфтах и о пьяных медовых месяцах войны и грабежа» (стр. 64).

Автор понимает также, что будущее и не за Менделями. Здесь П. Маркиш — один из левых «попутчиков», один из немногих дореволюционных еврейских писателей, занявших место в рядах еврейской советской литературы, — делает еще один значительный шаг вперед. Его националистический радикализм получил первый глубокий удар еще во время гражданской войны, когда белые банды повсюду, где бы они ни проходили, организовывали массовые грабежи и погромы еврейского населения. Именно там был получен П. Маркишем предметный политический урок, доказавший ему, что только советская система со всей пролетарской беспощадностью борется против погромов, широко открывая двери творческой и общественно полезной деятельности всем трудящимся, вне зависимости от их национальной принадлежности.

В произведении П. Маркиша проходит целый ряд интересных фигур местечковой еврейской бедноты, — и тех, кто еще полон пассивного недовольства, приниженности, покорности, и тех, кто еще продолжает рассматривать свои неудачи и нужду как неизбежное «еврейское» горе. Автору особенно удаются эти

типы: они полны теплоты и колорита. Но если П. Маркиш с достаточной социальной четкостью рисует сложившиеся отношения между еврейскими богатыми и беднотой, то в отношении еврейской бедноты он все еще не отрешился от старого «обще»-еврейского «подхода». Беднота в зарисовках П. Маркиша выступает не столько в виде определенной социальной категории, сколько в виде «традиционных» «гонимых евреев» бедняков...

Гораздо слабее П. Маркиш в показе других своих героев: остатки националистического радикализма еще застилают глаза художника. Отсюда сухость и схематичность в изображении революционеров — большевиков и прежде всего. Эзры, сына Менделя. Он лишен той теплоты, той живой конкретности, которые чувствуются в изображении Менделей, Мотылей и других бедняков местечка. Эзра дан настолько широкими общими мазками, что до читателя он доходит не как живой человек, а как какой-то отвлеченный символ революции, символ нового пути трудящегося еврейства.

Большевики, которые встречаются в местечке с «хлебом-солью», для П. Маркиша все еще «незнакомые гости», и путь их лежит, говорит он, вместе с ночью, которой пришли они в местечко, «далеко далеко, неведомо куда».

Указывая на эти идеологические недостатки П. Маркиша, являющиеся осколками его прошлого националистического радикализма, мы всячески должны отметить, что он, Маркиш, — один из тех, кто безусловно заслуживает «бережного отношения», т.-е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их (попутчиков. — Л. П.) перехода на сторону коммунистической идеологии¹⁾.

П. Маркиш несомненно — и смело — идет по этой дороге.

Роман Ю. Иоффе «На неповском дворе» начинается с изображения еврейского местечка в обстановке царской России. Один из героев романа —

¹⁾ Из резолюции ЦК о художественной литературе.

Энахль Коробейник, студент-меньшевик. После поездки за границу он возвращается в отцовский дом уже законченным ренегатом. В Февральскую революцию он пытается взять руководство местечком в свои руки.

Пустые фразы о национальном единстве еврейского народа быстро обнажаются, правильно классово оцениваясь большевистски настроенной группой рабочих во главе со старым большевиком, глухим Нотеле, и сестрой Энахля — Эстер. С. Энахлем мы встречаемся дальше уже в городской обстановке первого периода нэпа, когда начинает расцветать «частная инициатива», когда дутое, спекулятивно-рваческое самодовольство нэповского подворья несколько заслоняет перспективы развития страны Советов даже кое-кому из рабочих-большевиков. Спекулят Энахль Коробейник полон силы и веры в свои жизненные успехи. Все это однако довольно быстро сменяется полным крушением надежд. Бегство за границу — единственное спасение Коробейника. Вместе с ним исчезает и примазавшийся к партии рвач, директор завода Макс, пытавшийся использовать нэп для собственной «улады».

Интересно показаны писателем положительные типы еврейского большевистского рабочего движения. Правда эти персонажи в той или другой степени смущены появлением нэповского подворья, и некоторые из них попадают даже в его плен, чтобы сделаться затем легкой добычей троцкистской фразеологии. Все же идеологические шатания героев-большевиков Ю. Иоффе побеждаются и изживаются. Его герои выходят из схватки с нэпом политически закаленными и окрепшими, продолжая в дальнейшем путь борьбы за социализм вместе с партией как ее беззаветно преданные члены.

Вот старый большевик-рабочий Нотель. Он «фанатичен и слеп как крот» — таково мнение о Нотеле Коробейника, ибо для Нотеля «ни Мартов, ни Плеханов не авторитетны. Авторитетен только Ленин».

С большим чувством любви и симпатии воспринимается читателем Эстер, воспитанница Нотеля — страстная и честная натура работницы-революционерки.

Будучи выброшена из движения болезнью еще во время гражданской войны, она теряется в новой, сложной обстановке нэпа. Ей не может помочь и растерявшийся от «свобод» нэпа Нотель. Она — вне партии, но с тем, чтобы, физически оправившись, после долгих мытарств поступив наконец на фабрику, снова стать активисткой, а затем и членом партии.

Вот другой герой — живой и яркий комсомолец Арка. Его также смущает на первых порах нэп. Он, молодой и увлекающийся, хочет «заработать себе на пару сапог и кожаную куртку, его теперешнего заработка ему не хватает даже на то, чтобы раз в неделю побриться, а другие ребята обжираются пирожными». Этот дурман нэповской разряженной улицы Арка переживает со свойственным ему темпераментом, мучительно. Все же из этого дурмана выпутывается и он.

Тяжело и мучительно принимает нэп большевик Нохем. Седина — яркий свидетель его страданий. Многие непонятно, многое становится понятным лишь после мучительных дум, после сделанных ошибок. Их осознание снова приводит Нохема в партию. Классовое чутье переходит в крепкое классовое сознание. «Он исключен из партии. Он уже прозевал губком, но есть Харьков, и если надо будет, он будет апеллировать в Москву, раз он пролетарий и коммунист как прежде».

Слабы и не удаются Ю. Иоффе русские персонажи. В их изображении нет той четкости и колорита, которыми автор легко наделяет еврейские типы. Это явление мы склонны расценивать не как случайное. Здесь все еще дает себя знать известная доля национальной ограниченности, мешающая художнику понять и принять жизнь во всем ее интернациональном разнообразии, во всей ее глубине.

Ю. Иоффе должен еще поработать не только над архитектуркой своих произведений, на что указывает и автор предисловия, он должен окончательно побороть имеющиеся в его психике националистические элементы и по-настоящему выйти на широкую дорогу художественного творчества, национального

по сюжету, по языку, но интернационального по существу.

Если творчество П. Маркиша отображает жизнь и строительство в Советском союзе через призму идеологии лезого «попутничества», то творчество М. Альбертона целиком рождено пролетарской диктатурой и органически слито с ней.

Только Октябрьская революция создала прочные условия широкого вовлечения еврейских трудящихся масс в промышленность в качестве наемной рабочей силы. Только Октябрьская революция без остатка ломает все преграды на пути вовлечения трудящихся евреев в сельское хозяйство. Индустриализация и аграризация — вот те два начала, с помощью которых развертывается социалистическое переустройство жизни еврейских трудовых масс Советского союза. А в процессе этого переустройства в корне меняется лицо еврейского местечка. В былом своем понятии оно умирает безвозвратно. Сотни и тысячи местечковых евреев-бедняков, тех, кто в безнадежной погоне за «еврейским счастьем» буквально погибал от голода, потянулись теперь к новому: на производство, на металлургический завод, на угольную шахту, стали батраками в совхозах, членами колхозов, потянулись на освоение нетронутых еще земельных массивов, среди которых первое место — за далеким, но богатейшим Биро-Биджаном.

Местечко — на колесах, оно во главе с молодым, и днятым и вскор-

мленным Октябрьской революцией, целиком в борьбе и движении, — такова основная тема произведений М. Альбертона. Эта же тема является центральной и в его книге «Биро-Биджан».

Нам хочется еще остановиться на манере письма М. Альбертона. Для того, чтобы художественное слово в наших условиях доходило до читателя как созвучнее гигантской социалистической стройке и тем темпам, которыми движется жизнь в Советском союзе, для этого оно должно быть в известной мере публицистичным. Это почувствовано молодым автором, это составляет то своеобразие творческой его манеры, которая придает его произведениям особую свежесть, особую политическую напряженность, темпераментность. М. Альбертону удается органически сочетать методы публицистики и настоящей художественности.

М. Альбертон — молодой и несомненно талантливый писатель. Но кому многое дано, с того многое и спросится...

Три разобранных нами произведения обнаруживают заметный рост советской художественной еврейской литературы и правильно намечают пути ее дальнейшего развития. Жизнь круто идет вперед. Надо, чтобы художественное слово не только шло в ногу с этой быстро шагающей жизнью, но чтобы оно помогало ее перестраивать, помогало вливать в нее новое коммунистическое содержание. Первые шаги на этом пути уже сделаны еврейской советской литературой.

Наука и жизнь

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ О ПОВЕДЕНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

Проф. Н. А. Подкопаев.

I

Проблема психики, в частности психики человеческой, является одной из самых древних проблем. Общеизвестно, что этим вопросом усиленно занимались еще древнегреческие философы. Что же касается египтян, вавилонян и т. д., то хотя систематических сочинений на эту тему у них пока не найдено, тем не менее их законченные и детально разработанные религиозные воззрения позволяют сделать заключение о способе разрешения и проблемы психики человека. Такие же выводы мы можем сделать и относительно решения этой проблемы у современных дикарей. Весь этот исторический материал показывает нам, что проблема психики человека (и животных) была решена в плоскости дуализма, в плоскости разделения человека на тело и душу, при чем под последней в противоположность телу понималась некая нематериальная сущность, субстанция, не подчиняющаяся законам «неодушевленного» мира.

Это дуалистическое воззрение сопровождало человечество с самой его колыбели и до очень еще недавнего времени. Постепенное накопление огромного количества знаний об окружающем мире и о самом человеке, возникновение ряда точных отраслей естествознания с их строгими и точными методами и данными, добытыми путем эксперимента и наблюдения, — все это не оказывало в сущности никакого влияния на дуалистическое разрешение проблемы психи-

ки. Ярким примером этого служит состояние той науки, которая занялась этой проблемой, т.-е. психологии. Еще в 60-х годах XIX в. мы видим повсеместное господство рациональной или метафизической психологии, которая, резко ограничивая себя от естествознания, ставила основной своей задачей разрешение вопроса о «душе».

Однако стремительное развитие естественных наук, в частности науки о животном, биологии и физиологии, материалистическая философия, наконец ряд причин социально-политического порядка привели к сдвигу и в области психологии. Возникает новая, эмпирическая психология, отвергающая вопрос о «душе» и объявляющая предметом своих исследований проблемы сознания как основного предмета в ряде душевных явлений, в психологию вводится наконец основной метод естествознания — эксперимент (80-е годы прошл. столетия).

В самом начале 80-х годов прошлого столетия два немецких физиолога (Гитцинг и Фритч) делают крайне важное открытие, заключающееся в том, что кора больших полушарий головного мозга является возбудимой под действием электрического тока. Благодаря этому приему открылся путь для изучения значения коры мозга и связи ее с другими участками организма, выполняемый по обычной объективной методике физиологии. В ряде многочисленных работ, продолжающихся и в наше время, было установлено наличие в коре головного

мозга участка, заведывающего движениями отдельных мышечных групп (сгибание, разгибание конечностей, повороты головы, глаз и т. п.), и их точная локализация, а также наличие и невозбудимых, вернее не дающих видимого эффекта участков мозга. В 90-х годах прошлого столетия немецкий физиолог Гольцц публикует результаты своей полуторалетней работы над собакой, лишенной обоих больших полушарий.

В 70-х же годах крупный русский физиолог И. М. Сеченов опубликовал брошюру под заглавием: «Рефлексы головного мозга», где он (пока чисто теоретически, но, как увидим далее, с гениальным предвидением) категорически высказывается в пользу рефлекторного характера работы головного мозга человека. Наконец, на пороге нашего века в 1900—01 годах появляется первая работа из лаборатории акад. И. П. Павлова, проведенная по только-что открытому им методу условных рефлексов.

Огромное значение и широко распространенная известность метода условных рефлексов и заключается как раз в том, что, возникнув как один из отделов физиологии, он вскоре перерос эти рамки и является в настоящее время стройным и обширным учением о законах и механизмах поведения. Это не означает однако того, что учение об условных рефлексах представляет собою нечто универсальное и диктаторски господствующее. Об этом пункте мы еще поговорим ниже, а сейчас займемся ознакомлением с сущностью этого учения.

II

Для того, чтобы вполне ясно представить себе основное значение условных рефлексов, необходимо иметь четкое понимание нескольких общебиологических фактов. Главным из них в данном случае является следующий: всякое живое существо, начиная от простейшего одноклеточного организма—амебы — и до человека включительно, находится в постоянном взаимоотношении с окружающей данное живое существо средой или обстановкой. Эта внешняя окружающая нас среда состоит из огромного количества разнообразнейших агентов: химических, физических, биологических и т. п. Понятно, что, чем

выше развит организм, тем набор агентов, могущих воздействовать на него, делается все большим и большим. Внешний мир собаки например во много тысяч раз сложнее и обширнее, чем внешний мир инфузории. Но, кроме этого обстоятельства, важно еще и то, что окружающая животных организм среда не является чем-то неподвижным и застывшим, а наоборот, находится в беспрерывных и иногда очень резких колебаниях. Всякое колебание окружающей живое существо среды носит название раздражителя, и мы легко можем представить себе то огромное количество раздражителей, которое постоянно падает на организм. Все эти раздражители можно все же, несмотря на все их разнообразие, разбить на две основные группы: во-первых, на раздражители, нужные для организма, полезных и благоприятных ему, и, во-вторых, на раздражители вредоносных, опасных, неблагоприятных.

Ясно сразу, что всякий организм для того, чтобы существовать, поддерживать свою целостность и индивидуальность, непременно должен избегать или активно устранять вредные раздражители и приближаться или активно захватывать полезные. Без этого жизнь организма невозможна была бы даже в течение самого короткого времени. И действительно, мы знаем и ежедневно видим, что живые существа не остаются безразличны к окружающей их обстановке, а все время как-то действуют, обнаруживая по отношению к этой обстановке определенное поведение. И вот одной из грандиознейших задач человеческого ума и является познание законов и механизмов поведения всех живых существ, поведения, рассматриваемого как целостная и единая реакция всего организма в ответ на всевозможные внешние и внутренние (возникающие в самом организме) раздражители. Уяснение себе этой проблемы во всей ее широте дает нам возможность определить и место, и объем влияния отдельных наук, так или иначе занимающихся вопросом изучения поведения. Для нас, во-первых, сразу же станет ясно, что разрешение проблемы поведения не может быть сделано какой-либо одной, отдельной наукой. Успешное раз-

решение встающих в этой области труднейших задач станет возможным только путем тесного кооперирования методов и материала целого ряда дисциплин. Ни психология, с ее методом самонаблюдения, с ее приложимостью лишь к тем ступеням животного мира, где мы имеем появление сознания как особого свойства высокоорганизованной материи, ни учение об условных рефлексах, с его исключительно об'ективно-экспериментальным методом и отказом проникать в суб'ективные переживания, — не могут претендовать на исключительное господство в области изучения поведения. Только тщательная критическая взаимопроверка обеих этих наук и постоянный контакт между ними в форме хотя бы физиологического анализа психологических переживаний, накладывания их, так сказать, на канву основных фактов, добытых учением об условных рефлексах, может впоследствии дать разрешение всей проблемы поведения.

Нашей задачей сейчас однако является ознакомление с современным состоянием именно учения об условных рефлексах. Вернемся поэтому несколько назад и зададимся следующим вопросом: каким же образом, при помощи какого механизма осуществляют животные и человек свою основную жизненную задачу — постоянного, тонкого и точного уравнивания себя с окружающей их и непрерывно колеблющейся внешней средой? Первенствующую и главнейшую (хотя и не исключительную) роль в этом отношении у высших животных и человека, интересующих нас здесь, играет нервная система. Слагаясь из огромного количества нервных клеток, она разделяется на центральную и периферическую нервную систему. Основным строительным элементом нервной системы является, как сказано, нервная клетка. Это — многоугольная клетка со многими отростками, из которых один — очень длинный — носит название нейрита, а масса других, коротких и ветвящихся, называются дендритами. Тела нервных клеток вместе с дендритами составляют основную массу центральной нервной системы, прикрытой костями черепа и позвоночного столба и делящейся (в направлении сверху вниз) на головной мозг с его двумя полушария-

ми, подкорковые узлы, мозжечок, продолговатый и спинной мозг. Выходящие повсюду из центральной нервной системы длинные нейриты, слагаясь то в более толстые, то в тоненькие блестящие белые нити, называемые нервами, пронизывают все уголки тела, соединяя органы и ткани его с центральной нервной системой. На фоне этой анатомической структуры и разыгрываются те сложнейшие функциональные нервные процессы, которые дают во-вне свое выражение в виде тех или иных форм поведения. Как же протекает динамическая работа нервной системы?

III

По самой сути дела ясно, что для осуществления механизмов поведения, т. е. правильных ответов на падающие на организм разнообразные раздражители, необходимо прежде всего их воспринять, заметить. И действительно, мы видим, что на внешней, обращенной к миру поверхности животного имеется целый ряд воспринимающих аппаратов, то более сложных, например глаз, ухо, нос, то более простых — кожа, язык и т. п. Каждый такой воспринимающий аппарат или рецептор принимает и перерабатывает в процессе нервного возбуждения какой-нибудь один сорт раздражителей: глаз — световые, язык — растворенные химические, нос — взвешенные в воздухе химические раздражители и т. д. Нервное возбуждение, возникшее в рецепторе в момент раздражения, проводится далее по периферическому центростремительному (афферентному) нерву в тот или иной участок или этаж центральной нервной системы, в определенную группу воспринимающих нервных клеток. Весь вышеописанный прибор, воспринимающий раздражители из внешнего мира и дающий сведения о них в центральную нервную систему, носит название анализатора.

Ясно однако, что этой части механизма для осуществления всей задачи поведения конечно недостаточно. Нужно и важно не только воспринять изменение в окружающей обстановке, но и ответить на нее. И действительно, мы находим в нервной системе дальнейшее усложнение этого механизма.

Иногда рядом, а иногда вдалеке от воспринимающей группы нервных клеток (нервного центра) лежит другая, связанная с ней группа клеток, дающая начало нейритам, которые проводят возбуждение от центра к периферии, к тому или иному рабочему органу, т.-е. мышце или железе, подводя к ней возбуждение по так называемому центростремительному нерву. Таким образом воспринятое раздражение от рецептора идет в данные центры, а от них к рабочим приборам тела, могущим так или иначе ответить на воспринятое раздражение.

Весь этот путь от рецептора по центростремительному нерву через центр и центростремительный нерв к рабочему органу получил название рефлекторной дуги (впервые довольно ясно описанной Декартом около 300 лет тому назад). Ответная же реакция организма, осуществляемая при посредстве рефлекторной дуги, носит название рефлекса.

Мы знаем теперь тот организм, при помощи которого организм осуществляет свою важнейшую биологическую задачу,—отвечать на воздействия внешней среды. Этот механизм есть рефлекс, рефлекторный акт. Было бы неправильным конечно изображать отдельный акт поведения как изолированный нервный процесс, пробегающий по изолированной нервной дуге. При каждом отдельном случае поведения организм всегда отвечает как единое целое, и каждый акт поведения затрагивает в большей или меньшей степени все отделы его деятельности: и дуги нервной системы, и железы внутренней секреции, и дыхательную и кровеносную системы, и т. д. Но, помня об этом, надо все же сказать, что только такое схематическое представление о поведении как совокупности рефлекторных актов дает возможность в настоящее время плодотворно исследовать проблему поведения.

IV

Вся огромная масса рефлекторных актов может быть с пользой для дела легко разбита на две основные группы: во-первых, рефлексы безусловные и, во-вторых, рефлексы условные. Характерными признаками первой группы являются: 1) их унаследованность, т.-е.

тот факт, что безусловные рефлексы являются готовыми, имеющимися налицо с момента рождения животного на свет; 2) то, что центральная часть дуги безусловных рефлексов проходит через любой этаж центральной нервной системы, кроме больших полушарий головного мозга, и 3) то, что для своего возникновения они требуют сравнительно небольшого числа условий, проявляясь при их наличии в строго постоянной, однообразной форме. Степень сложности безусловных рефлексов различна в зависимости от их, так сказать, высоты. Рефлексы, дуга которых проходит через нижний этаж центральной нервной системы — спинной мозг, являются наиболее простыми. Таковы например: одергивание конечности при приложении к коже болевого (разрушительного) раздражителя и т. п. Рефлексы, проходящие через центры продолговатого и среднего мозга, уже сложнее и захватывают большие участки тела: дыхательный, глотательный рефлексы, рефлексы, удерживающие тело в равновесии при ходьбе, и т. д.

Наконец рефлексы, центры которых находятся в подкорковых узлах, в непосредственной близости к большим полушариям головного мозга, являются уже весьма сложными, хотя и безусловными по своей природе. Эти сложнейшие безусловные рефлексы, носящие обычно название инстинктов, охватывают при своей деятельности весь или почти весь организм, пользуясь для своего выражения также и теми рефлекторными дугами, которые лежат ниже, т.-е. рефлексами продолговатого, среднего и спинного мозга. Находясь под сильным влиянием между прочим химизма крови, в частности желез внутренней секреции, эти сложнейшие безусловные рефлексы обнаруживают гораздо большую подвижность и изменчивость, чем спинномозговые, но сохраняют вместе с тем все свойства безусловных рефлексов: унаследованность и стереотипность. Классификация инстинктов до сих пор является очень неудовлетворительной, но для нас сейчас важно перечислить лишь главнейшие из них. Это—половой, пищевой, самоохранительный (активно и пассивно оборонительный) и ориентировочный безусловные рефлексы.

Организм, имеющий в своем распоряжении все вышеперечисленные группы безусловных рефлексов, не в состоянии все же справиться с окружающей его средой. Как показали опыты с удалением коры больших полушарий у собак (впервые Гольц, затем Зеленый, Ротман), такое животное является совершенно беспомощным инвалидом, могущим существовать лишь при тщательном за ним уходе. Ясно, что в течение эволюции над грубыми и стереотипными безусловными рефлексами должны были вырасти новые, качественно отличные от них, хотя и связанные с ними формы поведения. Как показал акад. И. П. Павлов и его школа, эти точные и тонкие формы поведения осуществляются благодаря работе высшего этажа центральной нервной системы — коры больших полушарий головного мозга, работающей также по принципу рефлекса.

Как же возникают эти корковые или условные рефлексы? Общим правилом для образования условного рефлекса является следующее: если в нервной системе появились одновременно два пункта возбуждения, то между ними устанавливается связь, и возбуждение из одного пункта перетягивается во второй. Один из этих возбужденных пунктов должен быть непременно в больших полушариях, должны быть слабее и появиться несколько раньше, чем другой, более сильный и более поздно возникший очаг возбуждения. Этот последний может находиться как в коре, так и в подкорковых узлах, но непременно должен быть связан уже с какой-либо деятельностью организма, каким-либо инстинктивным актом.

Наиболее простым случаем образования условного рефлекса будет например такой: перед животным пускают в течение 15—30 секунд какой-либо раздражитель (например звук звонка) и затем тотчас же дают ему еду (т.-е. возбуждают безусловный пищевой рефлекс). Тогда, после нескольких совпадений звонка с едой, звук звонка, не имевший никакого отношения к еде, станет за время своего изолированного действия (т.-е. еще до подачи еды) вызывать полную пищевую реакцию: движения по направлению к еде, слюноотечение

и выделение желудочного сока. Звонком таким образом стал сигналом еды, ассоциировался, связался с безусловным пищевым рефлексом благодаря тому, что нервное возбуждение из «звонкового» пункта больших полушарий проложило путь к безусловному пищевому центру.

В соответствии с различными способами действия условных раздражителей можно образовать самые различные рефлексы: запаздывающие, если время изолированного действия условного раздражителя велико (напр. 2—3 мин.), следовые, если действие условного раздражителя прекращается до начала безусловного, так что этот последний подкрепляет лишь след от условного раздражения, оставшийся в больших полушариях после 3—5-минутной паузы по его окончании, и условные рефлексы 2 и 3 порядка, если новый индифферентный раздражитель подкрепляется в связывается не с безусловным, а с ранее выработанным условным раздражителем.

Условные рефлексы в противоположность безусловным очень гибки и подвижны. И нигде, быть может, их подвижность не обнаруживается так ярко, как в процессе так называемого учащения. Если повторять условный раздражитель через короткие паузы, не сопровождая его подкреплением безусловным, то на наших глазах через 8—10 раз этот условный раздражитель перестанет вызывать соответствующее поведение — «угаснет». Это угасание основано на развитии в коре полушарий особого, очень важного и постоянно действующего процесса — торможения, которое по своему жизненному значению прямо противоположно процессу возбуждения. Торможение прекращает начавшуюся деятельность или не допускает его вовсе. На торможении основаны такие важные элементы поведения, как различение сходных раздражителей (дифференцировка), наступление сна и т. п. Сонное состояние есть не что иное, как распространившийся на все полушария (и часто спустившийся и на подкорковые узлы) процесс торможения. Мы видим следовательно, что процесс торможения может двигаться по большим полушариям. Многочисленными опытами показано, что как возбуждатель-

ный, так и тормозной процессы не остаются в точке своего возникновения в коре, а двигаются по ней, разливаясь, иррадируя из очага своего возникновения, а затем снова сталкиваясь к исходному пункту, концентрируясь. Сконцентрированный же нервный процесс вызывает вокруг себя возникновение процесса обратного значения: возбуждение вызывает вокруг себя процесс торможения и наоборот (правило взаимной индукции).

V

Мы набросали в самых общих чертах те закономерности, по которым работает кора больших полушарий и которые могли быть установлены только благодаря введению в науку акад. И. П. Павловым метода условных рефлексов. Благодаря ему этот высший орган нашего поведения включился в сферу чи-

сто физиологического, строго объективного изучения. Однако значение учения об условных рефлексах далеко превосходит узко физиологические рамки. Оно дает основную канву для исследования и человеческого поведения, а также базу для таких наук, как психиатрия, педагогика, психотехника и т. п.

Мы подошли в последние годы вплотную к изучению поведения человека на строго научной объективной базе. И есть все данные утверждать, что тщательный и осторожный синтез субъективных явлений и физиологических закономерностей, т.-е. синтез объективной психологии и учения об условных рефлексах, даст человечеству возможность «познать самого себя», открыть все законы его поведения и следовательно овладеть им в целях построения нового, истинно человеческого общества.

За рубежом

1. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.— 2. И. ТАЙГИН. Японские силуэты.

1. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

Семь пунктов Тардье.—Победа канцлера Брюнинга.—Мутное болото английской политики. Когда география бывает классовой.—Заклочения Альбера Тома.—После конференции „круглого стола“

Семь пунктов Тардье

Во Франции имеется на 40, а 100 миллионов жителей. Но так как французы этого не сознают, то они ведут крохоборческую политику, не соответствующую роли Франции как великой державы.

Такое открытие сделал 31 января бывший французский премьер Тардье. На страницах журнала «Illustration», который обычно высокой политикой не занимается, неожиданно появилась статья этого высокопоставленного автора, имевшая характер не то манифеста, не то нового политического кредо. Кредо это на деле никакой политической новизной не блещет, но статья интересна, поскольку она характеризует настроения довольно влиятельных кругов французской буржуазии.

Общий тон статьи оптимистический, даже подчеркнута оптимистический: кризис, который переживает Франция, обязан своим происхождением только неумению развернуть присущие ей потенциальные силы. Если бы французы знали, насколько они сильны, как велика и населена их империя, они не тратили бы время в бесплодной борьбе партий (подразумевается — не свергали бы правительство такого государственного мужа, как Тардье), а явили бы миру зрелище сплоченной и непобедимой нации, — нации не из 40, а из 100 миллионов человек, потому что столько их имеется на французской территории. И это сознание своей силы и своего величия, внушая спасительный страх возможным соперникам Франции, отбидо бы у них охоту меряться силами с таким противником, а значит содействовало бы и упрочению мира.

Исходя из этих предпосылок, Тардье устанавливает 7 тезисов, которые приблизительно могут быть сформулированы следующим образом:

1. Франция имела два сильных правительства, сумевших объединить вокруг себя нацию: Клемансо — в 1917—1918 гг., благодаря которому она выиграла войну, и Пуанкаре — в 1927 г., благодаря которому она одержала финансовую победу;

2. Франция обладает великой империей, но

3. вследствие отсутствия морального под-

ема продолжает мелкую политику на узкой парламентской базе. Вместо того, чтобы заняться судьбой 100 миллионов человек, она уделяет свое внимание только 40 миллионам человек, между которыми вдобавок идет постоянная грызня.

4. Обладать великой империей еще мало — надо выработать себе сознание великой имперской державы.

5. Так же необходимо поднять во Франции понимание того, что такое государство.

6. Государство упало во Франции до уровня «королей-бездельников». На ряду с этим государством создались мятежные феодалы: партии, ассоциации, крупные финансово-экономические концерны.

7. Государство должно подчинить этих феодалов своей власти.

Смысл этих семи пунктов хорошо передала итальянская газета «Corriere della Sera». К этим семи пунктам, пишет парижский корреспондент этой газеты, обязательно надо прибавить восьмой: о том, как их осуществить. Выдвинуть идею «сильного государства» не хитро, но как осуществить эту идею в условиях парламентской демократии? Фашизм условия для этого дает: при нем нет борьбы партий, нет независимых от государства ассоциаций, и даже магнаты капитала находятся под контролем государства.

По существу конечно концепция Тардье носит чисто фашистский характер, отражая тенденцию крупного финансового капитала и связанной с ним тяжелой индустрии. В этих кругах с излюбленным относится к «борьбе партий» или, точнее говоря, к оппозиции радикалов и социалистов, отражающей недоверие мелкой буржуазии и зажиточного крестьянства к политике мировой экспансии французского капитала и их боязнь возможных международных осложнений, связанных с этой политикой. Проведение великого железнодорожного пути через Сахару ничего не говорит нормандскому мужику, на армию и флот он склонен давать деньги в пределах того, что ему представляется необходимым (чтобы не напали немцы или итальянцы), но строить великий флот, чтобы посрамить Италию или обеспечить защиту французской колониальной

империи, представляется ему гораздо менее заманчивым делом, чем жаждающим военных заказов трестам, объединенным вокруг Комите де Форж. Бесплодные запасы золота в Банк де Франс его тревожат мало, если цены на хлеб путем таможенной защиты остаются высокими, и давать займы Румынии и Польше он склонен лишь под достаточное обеспечение, а подготовку Румынии к нападению на Советский союз он считает не коммерческой операцией.

Но сам по себе французский помещик или крестьянин не выступил бы против «сильного правительства», пока оно обеспечивает ему спокойное существование: оппозицию создают лишь «идеологи» мелкой буржуазии — радикалы и социалисты, которые к тому же, как все мелкобуржуазные партии, никогда не выступают принципиально против великодержавной политики крупного капитала, но сталкиваются с ним обычно по отдельным пунктам. Отсюда ненависть политиков типа Тардьё к «парламентской грызне» и тоска по сильной власти, стоящей «над партиями», как это имеет место в Италии. «Сильное государство» — это лишь заманчивая вывеска над диктатурой крупного капитала.

Точку зрения радикалов отразил в своем ответе Тардьё не менее его известный бывший мин. финансов Кайо. В статье, помещенной в газете «Oeuvre» от 4 февр., он поспешил заявить, что он конечно не против империи, — хотя самое это слово он допускает лишь за отсутствием другого подходящего термина, — он против попыток свести Францию к роли только европейской державы с 40 миллионами жителей, и против бросания словами в роде «империя с 100 миллионами жителей». Кайо вспоминает, что во Франции имеется при 100 миллионах жителей только 40 миллионов граждан. Кайо напоминает Тардьё, что Римская империя начала разваливаться именно с того момента, как она даровала право гражданства всем своим подданным. Ссылаясь на Тацита, Кайо предпочитает пользоваться методом Цезаря, который при покорении Галлии вовлекал в состав римских граждан лишь сливки туземного населения.

Кайо в принципе и за сильное государство, но он требует внимательного отношения к запросам всех коллективов, входящих в это государство — муниципалитетов, департаментов, общественных учреждений. В то же время государство должно бороться «против феодалов финансов, промышленности, прессы, демагогии, иначе они разорят мир».

В этой фразе характерно, что наряду с стремлением установить контроль за феодалами финансов и промышленности Кайо говорит также о борьбе против «демагогии». Под этим милым словечком он подразумевает компартию, ненависть к которой у радикально-социалистического лагеря не менее сильна, чем у их крупно-капиталистических конкурентов. И совершенно резонно указал коммунистический депутат

Кашен во время парламентских дебатов при образовании правительства Лавала, что и правые правительства типа Тардьё или Лавала, и «левые» типа Стага сходятся в своей ненависти к коммунистам и к Советскому союзу. В отношении Советского союза имеется пожалуй некоторый нюанс: политики в роде Пуанкаре готовы в этом отношении итти напролом, ставя все на карту для скорейшего свержения советского правительства вооруженной силой, тогда как радикалы боятся слишком открыто выявить свое интервентистское лицо и предпочитают оперировать методами бойкота и блокады, рассчитывая, что интервенция вытечет оттуда, так сказать, сама собой.

Но пока суд да дело, «французская империя» остается лишь географическим термином, не находящим еще адекватного выражения в области мировой экономики, а «сильное государство» остается мечтой французской буржуазии. Ибо экономический кризис обострил парламентскую борьбу, столь ненавистную Тардьё, до крайности.

Лидер радикальной партии Даладьё дает в газ. «Republique» от 6 февраля довольно неприглядную картину состояния французского народного хозяйства: «Вся французская промышленность поражена кризисом. Отрасли массового производства переживают сейчас те трудности, которые уже раньше обрушились на промышленность, изготовляющую предметы, рассчитанные на изысканного потребителя. В металлургии прекратили работу уже 20 доменных печей. После того как наша внешняя торговля пострадала от иностранной конкуренции, теперь сокращается и объем нашей внутренней торговли. Постоянный рост розничных цен давит на наши оптовые цены и мешает нашим продуктам конкурировать с иностранными даже на нашем внутреннем рынке, несмотря на все таможенные барьеры. Наши официальные ораторы говорят нам о миллионах безработных в Германии, но они забывают прибавить, что торговый баланс Германии в 1930 г. дал активное сальдо в 2 млрд. фр. и что Германия продала нам товаров на 5 млрд. фр. Дефицит жел.-дор. компании превышает 1,5 млрд. фр. Они требуют повышения ж.-д. тарифов на 12 проц., тогда как в других странах, напр. в Италии, тарифы понижаются. Число наших торговых судов бездействующих в портах, все более увеличивается. А в это время наш славный Банк де Франс продолжает выпускать дополнительные миллионы банковых билетов. За 4 года Банк де Франс выпустил и продал для закупки золота и иностранной валюты 40 млрд. фр. Его баланс — чудовище инфляции, хотя и гарантированной, но все же опасной, ибо он превышает сумму, необходимую для народного хозяйства страны».

Два момента особенно заслуживают внимания в этой картине французской экономики, нарисованной Даладьё: это вопрос о росте розничных цен и о золотой инфляции Банк де Франс. Не подлежит сомнению, что

выпуск бумажных денег, хотя бы и для закупки золота, оказывает инфляционное влияние на народное хозяйство страны, ибо избыток денег порождает их дешевизну, ядл, что то же самое, дороговизну всех товаров. Но рост розничных цен на внутреннем франц. рынке порождается не только политикой Банк де Франс, но и аграрным протекционизмом правительства. Как известно, именно вопрос о хлебных ценах лежал в основе парламентских дебатов, приведших к падению министерства Стэга.

Начало резкого усиления протекционистской политики во Франции было положено в 1929/30 г., когда цены на хлеб в связи с прекрасным урожаем этого года значительно понизились. К весне 1930 г. цена на хлеб на франц. рынке упала с 160 до 120 фр. за квинтал. Хотя при этой цене иностранный хлеб, обложенный пошлиной в 35—50 фр. за квинтал, не мог конкурировать с французским хлебом, ввозные пошлины были повышены декретом 19 мая 1930 г. до 80 фр. за квинтал. Кроме того, уже в дек. 1929 г. была установлена экспортная премия в 40—50 фр. за квинтал (при экспортном контингенте в 6 млн. квинталов).

Благодаря этим мерам, а также в связи с плохими перспективами урожая 1930 г. цена на хлеб поднялась к июлю 1930 г. до 160 фр. Но так как на мировом рынке цена на хлеб упала до 60 фр., то даже при пошлине в 80 фр. иностранный хлеб мог конкурировать с французским на внутреннем рынке Франции. Чтобы устранить эту опасность, Тардье провел ограничение ввоза иностранного хлеба во Францию определенным контингентом — не свыше 10 млн. квинталов, в связи с чем цены вновь поднялись до 170 фр.

Эта протекционистская политика не встречала особого сопротивления, пока мировой кризис капитализма не распространился и на Францию. Но когда французская промышленность столкнулась с затруднениями в области экспорта и с ростом безработицы внутри страны, в промышленных кругах обнаружилась оппозиция против политики искусственного повышения хлебных цен, приводившего к общей дороговизне, а значит и росту себестоимости и невозможности бороться с иностранной конкуренцией.

В кабинете Стэга на этой почве произошло столкновение между товарищем мин. земледелия Боре, заявившим о намерении правительства добиться повышения хлебных цен до 175 фр., и другим членом кабинета Мейером, протестовавшим против этого заявления. Любопытно при этом, что ни радикалы, поддерживавшие Стэга, ни их противники не решились занять по этому вопросу определенную позицию, и атака против кабинета шла, как это подчеркивали его противники, не по существу вопроса, а лишь о форме выступления Боре, которая способствовала спекуляции на хлебном рынке. Нерешительность всех буржуазных партий в этом вопросе объясняется боязнью потерять поддержку крестьянства

на выборах весной 1932 г. Но так или иначе, а французская правительственная экономическая политика находится на распутье между интересами промышленности и требованиями аграриев. Разрешить эту проблему представляется не легким для всех буржуазных партий Франции.

Победа канцлера Брюнинга

На ряду с вопросом об аграрном протекционизме кардинальное значение для французской экономики имеет вопрос об использовании бесплодных запасов золота в Банк де Франс. В принципе все французские политики и экономисты отдают себе отчет в том, что задачей дня является вложение этих золотых запасов в иностранные займы. Претендентов имеется немало: Англия ведет переговоры о помощи Банк де Франс против отлива золота из Англии во Францию; Польша и Румыния рассчитывают за счет щедрости своего патрона поправить свои финансы, расстроены ростом вооружений; Югославия думает, что Франция возьмет на себя кредитование хлебного экспорта из создаваемого под покровительством Франции антисоветского аграрного блока придунайских стран; наконец Германия испытывает острую нужду в иностранных займах, чтобы справиться с экономическим кризисом и выполнять свои репарационные обязательства.

При этих обстоятельствах у французских политиков естественно явилась мысль использовать французское золото для упрочения международного положения Франции. Докладчик бюджетной комиссии во французском парламенте Шадэлен заявил без обиняков: «Мы должны во что бы то ни стало занять наше прежнее место в мире и, предоставляя наши капиталы в распоряжение заграницы, укрепить наше эконом. положение и наше политическое влияние». Известный французский журналист Зоэрвен, очень близкий к Бриану человек также написал в «Matin» статью, в которой полагает политические компенсации.

Но политика не всегда совпадает с коммерческим расчетом, и проекты займов вассалам Франции, в частности Румынии, вызвали со стороны биржевиков довольно холодный прием в виду плохой платежеспособности этих претендентов на заем. Финансовые переговоры с Англией также подвигаются туго, ибо кабинет Макдональда и в частности мин. фин. Сноуден не особенно склонен идти на ту компенсацию, которой добивается французская дипломатия, а именно: поддержку Англией французской внешней политики, в частности в ее борьбе против пересмотра Версальского договора.

Наиболее реальным оказался при этих условиях вопрос о предоставлении займа Германии. С точки зрения своей платежеспособности Германия, даже в настоящем трудном ее положении, не может вызывать сомнений. Политическое же значение зай-

ма было бы огромно, ибо вопрос о междуна-родной ориентации Германии в настоя-щий момент, когда Италия пытается соз-дать блок государств, требующих пересмо-тра Версальского договора, и воссоздать в расширенном виде бывший Тройствен-ный союз, представляет для Франции пер-востепенную важность.

Интересно отметить, что французская печать с величайшим интересом относилась к происходящей в Германии борьбе пар-тий, проявляя большое сочувствие полити-ке Брюнинга. Ибо внутренняя политика пра-вительства Брюнинга, направленная в ос-новном к финансовому «оздоровлению» Германии за счет снижения жизненного уровня трудящихся, тесно связана с его внешней политикой, при чем приводным ремнем являются соц.-демократы, которые оказывают Брюнингу поддержку в его антирабочей политике, ориентируясь в то же время в сторону сближения Германии с Францией.

Накануне открытия германского рейхстага «Temps» (от 3 февр.) с удовлетворением констатировала, что «кабинет Брюнинга имеет теперь лучшие шансы осуществить задачу, которую он себе поставил, и что он найдет в рейхстаге большинство, которое окажет ему поддержку благодаря с.-д., которые вынуждены приспособить свою тактику к обстоятельствам... Происходит поворот в сторону методов Штреземана, сторонником которых является теперешний мин. ин. дел Курциус... В Германии начинают понимать, что систематическая агитация против пла-на Юнга не приведет ни к чему, что никто за пределами Германии не даст застрахат себя неосуществимыми угрозами, постра-дать от которых может только германский кредит за границей... Канцлер Брюнинг безусловно понял это. Отсюда новый дух в его последних речах в Хемнице и в Кельне».

О том, каков этот «новый дух» Брюнинга, можно судить по следующей выдержке из его кельнской речи: «Наши финансовые беды происходят не только от тяжести ре-парационных платежей, но в значитель-ной мере и от того, что мы воображали, что общественные учреждения и частные лица могут жить лучше, чем раньше, несмотря на проигранную войну».

«Частные лица», которые должны отка-заться от претензий жить лучше, это ко-нечно в первую голову рабочие. За счет снижения их зарплаты Германия должна избавиться от кризиса и безработицы. «Не должны ли 18 млн. работающих протачить за собою 3 млн. безработных и не должны ли мы попытаться разделить между 21 млн. работающих имеющийся фонд заработной платы» — так заявил мин. труда — он же лидер христианских профсоюзов — Штегер-вальд. С аналогичным предложением обра-тился к правительству и «вождь индуст-рии» Крупп-фон-Болен, призвавший «капитал и труд заняться совместно разреше-нием этой проблемы»

И наконец сам канцлер Брюнинг патети-чески заявил: «неужели в Германии не ока-жется возможным, что работодатель и рабо-чие, движимые чувством солидарности, раз-работают совместную программу труда. Не-ужели такой одухотворенный и этически так высоко стоящий народ, как немецкий, в ре-шающий момент своей судьбы, в годину ве-личайших бедствий не выработает себе подобного мирозозерцания» («Kölnische Zei- tung» 1 февр.)

И тут у буржуазии вся надежда на социал-демократов и руководимые ими «свободные» профсоюзы. Это для них Брю-нинг произносит свои речи об «этике» и чувстве ответственности, ибо чувство от-ветственности перед капиталистическим отечеством у германских с.-д. действитель-но высоко развито. Начиная с ноября 1918 г., они непрерывно спасают капитализм в Германии от грозящего ему краха. Но если в первые годы после войны они спасали капитализм путем Веймарской конститу-ции, подымая знамя демократической рес-публики, то в настоящее время они доволь-ствуются § 48 этой конституции, приме-няемым для снижения заработной платы рабочих. В своих газетах с.-д. кричат о борьбе против фашистской опасности, но спасение от победы фашизма они видят лишь в осуществлении той программы за-кабаления пролетариата, которую несет с собой фашистская диктатура

После того как фашисты заявили о своем уходе из рейхстага, с.-д. окончательно стали главной опорой правительства, «оздоровля-ющего» Германию за счет нищеты проле-тарната. Социал-фашизм занял место нацио-нал-фашизма.

Небезынтересно в связи с этим остано-виться на внешней политике германской с.-д. партии, ибо по этой линии шла внешне-расхождение между нею и гитлеровцами.

После возвращения Гранди из Женева римский корреспондент с.-д. информацион-ного агентства «Socialistischer Pressdients» писал о том, что в Италии придают особое значение сотрудничеству с Германией в Лиге наций и что германское правитель-ство охотно идет этому навстречу. Против этой тенденции резко высказался офици-альный орган с.-д. партии «Vorwärts». В номере этой газеты от 28/1 мы находим сле-дующие знаменательные строки: «Автори-тетные германские круги решительно отри-цают, что Германия изменила направление своей внешней политики. Итальянская прес-са ликует по поводу этого мифического по-ворота. Цель этой кампании ясна — нас хотят скомпрометировать перед всем све-том, чтобы теснее привязать нас к колесни-це дуче... Может случиться, что по отдель-ным вопросам германская и итальянская точки зрения сойдутся, тогда как Франция не хочет отступать от своей эгоисти-ческой точки зрения... Но мы в Германии слишком сознательны, чтобы быть игруш-кою в руках Муссолини в его борьбе против Франции».

Предоставляемый французскими банками Германии заем имеет целью укрепить в Германии курс на сближение с Францией. В тот момент, когда пишется настоящая строка, заем еще не оформлен, но, повидимому, в основном между сторонами достигнуто соглашение. Французская финансовая газета «Information» от 10 февраля сообщает, что вопрос уже обсуждался во французском совете министров. Передовик этой газеты Фернанд Бринон, возражая против поднятой частью французской прессы шумихи о том, что Франция поддерживает своего противника, указывал на следующие преимущества этого займа. Во-первых, заем краткосрочный, и первые платежи по нему должны поступить уже в июле месяце. Во-вторых, он обеспечен привелированными облигациями германских железных дорог. А самое главное, заем предоставляется германским кассам социального страхования, без чего правительство Брюнинга может оказаться перед опасностью отказа от выдачи установленных пособий. «Можно ли себе представить, — пишет де-Бринон, — те социальные потрясения, которые могли бы быть в связи с этим в промышленной стране, пораженной кризисом, стране, где имеется свыше 4 млн. безработных».

Франция применяет к Германии политику кнута и пряника, — таков вывод из этой характеристики предоставляемого Германии французскими банками займа. Германский социал-фашизм с жадностью ухватывается за этот пряник, ибо он должен, по их мнению, несколько ослабить боль от тех ударов бича, которым по требованию кредиторов угощает германских пролетариев канцлер Брюнинг.

Мутное болото английской политики

В то время как французский империализм пытается разрешить свои внутренние затруднения политикой «золотого наступления», а германское правительство при поддержке с.-д. решительно берет курс на снижение жизненного уровня трудящихся, кабинет Макдональда в Англии топчется на месте, живя, так сказать, от случая к случаю.

Известный английский публицист Гарвин в помещенной в газете «Observer» (от 25 янв.) статье «Мутное болото» так характеризует тактику Макдональда: «Правительство питает надежду, что если ему удастся продержаться до конца сессии или вообще возможно дольше, то что-нибудь обернется в его пользу. В расчете на этот шанс оно с величайшим христианским смирением после каждого получаемого им удара подставляет другую щеку. И самое поразительное — в этом состоит фарс английской политики — это то, что в конце концов эта тактика может увенчаться значительным успехом».

Причину этого Гарвин видит в том, что ни одна из двух других партий не в состоянии в настоящий момент использовать слабость правительства. «Либералы

потому, что они больше всего на свете боятся роспуска парламента, а официальные руководители консерваторов в своем невероятном самообольщении сами упустили возможность добиться обращения к голосу народа. И не исключено, что Болдуин окажется лучшим избирательным агентом рабочей партии на следующих выборах».

Оправдывая Ллойд-Джорджа, который естественно не стремится свалить Макдональда, чтобы посадить на его место Болдуина, Гарвин весь свой гнев обрушивает на этого последнего. «Болдуин, — пишет он, — сам свой худший враг. При трудных обстоятельствах он бывает осмотрителен и настойчив, хотя и в этих случаях он не всегда бывает мудр. Но как только он близок к успеху, он становится одержим невероятным самомнением. Он считает тогда, что только он один — настоящий человек. Он рассматривает консервативную партию, как свое частное предприятие. Он принимает диктаторский тон, которого никогда не позволял себе его предшественники. Он не понимает, какими мерами добиться единства партии. Наоборот, у него дар превращать временные разногласия в постоянные антагонизмы. А между тем сгладить эти разногласия является первой необходимостью»:

Надо однако взять Болдуина под защиту от его яростного критика из его же собственного лагеря. Пожалуй мудрость консервативного лидера и состоит в том, что он не спешит свалить Макдональда. Экономическое положение Англии сейчас таково, что всякое буржуазное правительство (к этой категории относится и правительство Макдональда), находясь у власти, должно терять свою популярность. Ибо в рамках капиталистического строя выход может быть лишь в снижении жизненного уровня трудящихся. Эту основную задачу английской буржуазии в момент кризиса выполняет в конце концов и правительство рабочей партии, хотя, быть может, и с меньшей решительностью, чем это делало бы консервативное правительство.

Об этом достаточно говорят официальные статистические данные. По данным бюллетеня министерства труда за январь 1931 г., заработная плата за время пребывания правительства Макдональда у власти неизменно снижалась. В 1929 г. заработная плата повысилась для 137,5 тысяч рабочих, понизилась для 915 тыс. рабочих. Наиболее пострадавшими районами оказались Ланкашир и Йоркшир. В 1930 г. 760 тысяч рабочих получили увеличение зарплаты в общем на сумму 58 тыс. фунтов стерлингов в неделю, а 1.058 тысяч рабочих потерпели снижение зарплаты в общем на 115,8 тысяч ф. стерлингов в неделю. В итоге общее снижение зарплаты английских рабочих в 1930 г. составило 58 тыс. ф. стерлингов в неделю. Снижение зарплаты коснулось главным образом строительных рабочих и текстильщиков.

Тот же курс на снижение зарплаты продолжается и в 1931 г. С 1 февраля снижена

на 6½ проц. зарплата металлистов Южного Уэльса на основе колдоговора, предусматривающего снижение зарплаты в случае падения цен на сталь. С 1 марта снижается зарплата государственных служащих. Принимая делегацию государственных служащих, Сноуден предупредил их о предстоящем сокращении т. наз. прибавки на дороговизну на 5 проц, а может быть, и на 10 проц. При этом Сноуден грозно заявил делегатам, что на всякую попытку сопротивления правительство ответит самыми суровыми мерами. Угрожающий тон Сноудена ошеломил делегатов, которые вышли от него под впечатлением, что никогда еще ни один английский министр не разговаривал с ними в таком тоне.

Большой интерес с этой точки зрения представляет история неудавшегося для хозяев локаута данкаширских текстильщиков. Локаут этот закончился в середине февраля отказом предпринимателей от своих требований и возобновлением работ на прежних условиях. Но в исходе этом рабоче правительство не повинно, — поражение капиталистов явилось результатом героического сопротивления текстильщиков.

Локаут этот, начавшийся 17 января, был объявлен в виде ответа предпринимателей на забастовку текстильщиков в Бернли. Забастовка эта началась в связи с переходом на работу на 8 станков (вместо прежней работы на 4 станках), при чем предложенная рабочим прибавка не находилась ни в каком соответствии с увеличением интенсивности труда.

Объявляя локаут, предприниматели пытались выступить в роли защитников технического прогресса, чему якобы мешают профсоюзные организации. Фактически однако локаут был вызван в первую голову желанием сбыть накопившиеся запасы, ибо уже до объявления локаута данкаширские фабрики работали не более чем на 50 проц. своей мощности. Для достижения этой цели фабриканты не постеснялись оставить без работы свыше полумиллиона рабочих. Хотя непосредственно пострадали от локаута только 250 тысяч рабочих, но закрытие ткацких фабрик повлекло за собой закрытие ряда других текстильных предприятий с общим числом 200—300 тыс. рабочих.

Обвинения капиталистов в том, что профсоюз текстильщиков противится техническому прогрессу, вызвали со стороны профсоюза решительное опровержение. На собрании в Манчестере комитет текстильщиков принял резолюцию, в которой говорится следующее: «союз текстильщиков никогда не думал противиться введению автоматических и полуавтоматических станков и до сих пор сотрудничал с администрацией предприятий в деле введения новых машин. Но если у хозяев нет денег для их введения, то это не наша вина». В резолюции указано, что путь к снижению себестоимости лежит через слияние предприятий, стандартизацию и введение массового произ-

водства, но предприниматели Ланкашира отступают перед этим выходом, ибо он повлек бы за собой уничтожение мелких фабрик.

Интересно отметить, что это мнение разделяет и председатель Вестминстер Банк — одного из 6 крупнейших банков Англии. «Трудно отрицать, — заявил он, — что излишне высокая стоимость производства во многих отраслях промышленности вызывается недостаточностью технической подготовки глав предприятий, боязнь отказаться от устаревших методов производства и старыми традициями, мешающими образованию более крупных производственных единиц» («Stampa» 30 янв.)

Локаутированные рабочие проявили исключительную стойкость. Проведенный среди них референдум дал большинство 90.770 против 44.990 голосов за запрещение профсоюзным чиновникам вести с хозяевами переговоры на основе предложенных хозяевами условий. Выступивший в качестве посредника мин. вн. дел Клайнс выразил сожаление, что исход референдума мешает правительству принять соответствующие меры. Ссылаясь на то, что другие страны захватывают английские рынки сбыта, Клайнс призывал к восстановлению мира. Призыв его не оказал действия, и Макдональд вынужден был лично взяться за улаживание конфликта. Уладить конфликт для английского «рабочего» правительства значит добиться от рабочих уступок требованиям хозяев. Но и Макдональд потерпел неудачу, и текстильщики уладили конфликт по-своему, заставив хозяев капитулировать.

Разрыв между политикой Макдональда и рабочими массами Англии зашел уже так далеко, что Макдональду приходится иметь дело уже не только с оппозицией макстоновской группы, но и с недовольством профсоюзных верхов. Само собой разумеется, что профсоюзные лидеры, как впрочем и макстоновская группа, ни в какой настоящей левизне не повинны, но они непосредственно испытывают давление рабочих масс и потому требуют от Макдональда если не защиты интересов пролетариата, то по крайней мере видимости этой защиты.

Это расхождение сказалось особенно ярко в связи с прохождением билля, отменяющего проведенный Болдуином антипрофсоюзный закон. Эту отмену рабочая партия обязалась провести во время избирательной кампании, но тот закон, который внес на место болдуиновского творчества Макдональд, никого не удовлетворил. Либералы высказались против него, но по предложению Ллойд-Джорджа воздержались от голосования (кроме 8 человек, примыкающих к группе Саймона). Министерство было спасено, но победа Макдональда, как пишет либеральный «Economist» (от 31 января), ни в какой мере не означала победы нового закона. Ибо в третьем чтении этого закона он несомненно будет окончательно приспособлен к требованиям либералов. Но уже во втором чтении закон был редакти-

ровав так, что осталось невыясненным, запрещает ли он объявление всеобщей стачки или нет. На поставленный ему по этому поводу вопрос Макдональд ответил уклончиво. Между тем председатель генерального совета трэд-юнионов Хэйдей заявил без обиняков, что если макдональдовский закон о профсоюзах хоронит всеобщую стачку, то трэд-юнионам не нужно этого закона («Times», 5 февраля). Большое недовольство парит в рядах профсоюзников также бездеятельность правительства в борьбе с безработицей.

Возвращаясь к статье Гарвина, надо признать, что Болдуин прав, не торопясь с свержением Макдональда, ибо популярность последнего тает с каждым днем. И не Болдуин окажется пособником избирательных успехов рабочей партии, как это утверждал Гарвин, а наоборот, политика Макдональда окажется водой на мельницу консерваторов и либералов, в сторону которых оттолкнутся лейбористские обыватели. Передовая же часть рабочего класса отойдет от рабочей партии к коммунистам.

«Мутное болото» английской политики, о котором говорил Гарвин, сильно напоминает ту неустойчивость германской правительственной политики, которая существовала до прихода к власти правительства Брунинга с его платформой «параграфа 18». В Англии назревает серьезный политический кризис, который по своему социальному размаху не будет уступать германскому.

Когда география бывает классовой

Во всем мире буржуазия чувствует приближение надвигающейся грозы. Кайо в новгородной статье пишет о том, что «небо покрыто тучами». Ллойд-Джордж с своей стороны констатирует в «News Chronicle» (от 3 янв.), что «континент Европы представляет собой кипящий котел подозрений, ненависти и опасений. Дискуссия о разоружении была постыдной. Ни одна страна серьезно не думает о своем разоружении. Когда советский представитель предложил сократить вооруженные силы и разрушить заготовленный военный материал, неумный председатель конференции не допустил этого предложения к обсуждению. Дстойный председатель этой нелепой комиссии!»

Ллойд-Джордж указывает дальше, что весь мир разделился на два лагеря: за и против пересмотра мирных договоров. К первому лагерю принадлежат Италия, Германия, Австрия, Венгрия Болгария; ко второму — Франция, Бельгия, Польша, Чехословакия, Югославия, Румыния. Фактором мира является СССР, ибо, выступая против Версальского мира, советское правительство, занятое своим хозяйственным строительством, не помышляет о войне. А без него сторонники пересмотра мирных договоров слишком слабы, чтобы решиться на войну.

В этой насыщенной противоречиями атмосфере собрался Совет Лиги наций и пан-

европейская комиссия. Как известно, заседание этой комиссии закончилось манифестом министров ин. дел 27 государств о том, что они одушевлены мирными намерениями и что опасности войны не существует. Но конечно самый факт, что занимавшиеся вопросом о создании европейской федерации дипломаты ощутили потребность в выпуске подобного манифеста, показывает, что атмосфера в Европе напряженная. Только о серьезно больных людях врачи выпускают бюллетени, что «жизни больного непосредственная опасность не угрожает».

Вся работа пан-европейской комиссии, несмотря на благодушный характер происходивших на ее заседаниях ирений, показывает наличие осложнений как в области международной политики, так и внутренней жизни европейских государств. Начать с того, что даже географические термины оказались неясными для участников комиссии. Создают федерацию, которая должна охватить всю Европу, и спорят о том, какие государства имеют право на наименование европейских. В моменты кризисов даже география становится сугубо классовой наукой!

По существу вопрос стоял о том, пригласить ли СССР участвовать в работах пан-европейской комиссии или нет. В расчеты господина Бриана это не входило, и еще за день до того, как вопрос этот был разрешен в комиссии, французский официоз «Temps» высказывался против приглашения СССР, политический и экономический режим которого не гармонирует с режимом других европейских государств. Но когда Италия, Германия и Англия в порядке географического усердия вспомнили, что СССР составляет добрую половину Европы, Бриан соблаговолит выдать СССР печатное звание европейского государства. Но лишь наполовину — СССР был приглашен участвовать только в рассмотрении экономических вопросов, связанных с существованием пан-европейской федерации, но не политических. Это явно противоречило здравому смыслу, ибо между тенденциями экономического развития СССР и капиталистических стран точек соприкосновения очень мало, установление же политического модуса вивенди представляется особенно необходимым при различии экономического строя во избежание возможности вооруженных столкновений. Но хотели ли действительно избежать этой опасности те, кто выносили половинчатое решение об участии СССР в пан-европейской комиссии?

В отношении кое-кого из инициаторов пан-Европы в этом позволительно усомниться. Ибо даже экономические вопросы подбирались таким образом, чтобы острием своим они были направлены против СССР. Примером может служить создание комиссии о хлебном экспорте государств Центральной и Восточной Европы, что в переводе с дипломатического французского языка на обычный означает создание базы для борьбы против советского хлебного экспорта. И очень характерно, что «Petit parisien»

в заведомо инспирированной статье поспешила заявить, что приглашение СССР участвовать в рассмотрении экономических вопросов не связано с участием его в комиссии по вышеназванному вопросу.

Не останавливаясь более подробно на вопросе об антисоветском характере бриановской пан-Европы, — он достаточно освещен в нашей ежедневной печати, — укажем лишь, что вопрос об СССР самым тесным образом связан с вопросом о разногласиях между капиталистическими государствами относительно пересмотра мирных договоров. Несмотря на то, что советское правительство проводит мирную политику, самое существование нашего Союза, строящего пятилетку, воспринимается французским империализмом как угроза для осуществления своих целей. А наш выход на мировой хлебный рынок, а также успехи нашего лесозэкспорта дают благоприятную почву для собирания вокруг французской политики всех тех сил, которые имеют основания бояться нашего экономического расцвета.

И не случайно то обстоятельство, что немедленно за окончанием работ пан-европейской комиссии последовало усиление анти-советской кампании во всех странах: от Франции и Англии до Югославии и от Испании до Аргентины. Страх перед успехами пятилетки самым причудливым образом переплетается в этой кампании с предсказаниями неизбежного краха большевиков, а указания на применение в лесозаготовках труда заключенных — с заявлениями, что в СССР вообще весь труд принудительный. Но суть не в этих «критических» упражнениях капиталистических публицистов и буржуазных государственных мужей, а в той цели, которую они себе ставят: сорвать строительство социализма в СССР. Французский офидиоз «Temps» в новой своей статье писал совершенно откровенно: «Русская язва на боку Европы остается величайшим несчастьем нашей эпохи, и, пока эта язва не зарубцуеться, мир будет находиться в состоянии смуты и тревоги». Но стремления капиталистов избавиться от этой «болячки» наталкиваются на величайшее упорство строителей социализма в Советском союзе и на противоречия в лагере самих капиталистов.

Злоключения Альбера Тома

С заседанием пан-европейской комиссии почти совпала сессия Международного бюро труда, которой предшествовало заседание комиссии по вопросу о безработице. В момент разгара мирового кризиса и небывалого роста безработицы работе Международного бюро труда было уделено очень много внимания. Беседы с директором этого бюро печатались и перепечатывались самыми крупными экономическими газетами.

Беседы эти, в которых Альбер Тома попробовал выступить в наряде защитника рабочих интересов, наделали немало шума.

В «Information» от 25 янв. он заявил: «Мое мнение о размерах безработицы? 15 миллионов совершенно безработных, из которых огромная часть находится в САСШ. Что касается частично безработных, то число их не поддается даже приблизительному подсчету. В общем, за исключением некоторых стран — в роде Франции, — весь мир поражен этим бедствием. Считая с семьями, около 50 млн. человек не имеет в настоящее время средств к существованию. А если принять во внимание все бедствия, порожденные этим кризисом, который, увы, не подходит еще к своему концу... то надо прийти к выводу, что на человечество обрушилось самое большое бедствие, которое только можно себе вообразить, кроме войны».

Хотя цифры безработных в этом интервью преуменьшены, а Франция напрасно отнесена к числу счастливых исключений, ибо, по заявлению французского правительственного делегата на конференции М.Б.Т., во Франции имеется 350 тысяч полностью безработных и 1 миллион частично безработных, но диагноз поставлен Альбером Тома весьма серьезный.

Альбер Тома попытался быть радикальным и в предложенных им средствах к исцелению зла. Он заявил, что так наз. экономические мероприятия в роде урегулирования вопросов денежного обращения и кредита, изменения таможенной политики и т. д. не могут оказать непосредственного действия для настоящего момента. Он решительно осудил замечательную в ряде государств тенденцию к экономии за счет социального страхования, которое, наоборот, должно быть введено и в тех странах, где его в настоящее время не существует. Но наибольшее значение он, Тома, придает предложениям рабочих организаций о сокращении рабочего дня во всех странах, будь то путем введения 7-часового рабочего дня или 5-дневной рабочей недели. Эти предложения он будет решительно поддерживать.

Это заявление Тома встретило гневный отклик со стороны «Temps». В статье «Безработица и Женева» («Temps» от 29 янв.) мы читаем следующие строки: «Выступление директора Международного бюро труда представляется нам поразительным. Собирается комиссия для обсуждения проблемы безработицы. Каковы будут решения этой комиссии, никто не знает... И вот Альбер Тома, чиновник учреждения, простой агент для информации и исполнения принятых решений, заранее высказывает свое мнение... Является ли Тома беспристрастным директором официального учреждения, в котором сталкиваются самые различные мнения, или он считает себя представителем рабочего интернационала?»

Окрик этот оказался совершенно достояточным. Комиссия ограничилась тем, что констатировала расхождение между точками зрения рабочих и предпринимателей и рекомендовала Бюро продолжать изучение этого вопроса. А вопрос о социальном стра-

ховании, с согласия самого Тома, оказался попросту снятым с повестки дня.

Тем и кончилась эпопея Альбера Тома. Как «беспристрастный директор» учреждения, где представлены самые противоречивые интересы, он удовлетворялся в момент величайшего, по его признанию, мирового бедствия протокольным постановлением: слушали, постановили изучать вопрос. Нельзя впрочем предполагать, что тем самым он отказался от претензии представлять интересы желтого рабочего интернационала. Для последнего постановления вопросов о расширении социального страхования и сокращении рабочего времени имела исключительно рекламное значение. Ибо, как мы видели, и в Англии, и в Германии партии Второго интернационала следуют заветам буржуазной мудрости и пытаются спасти капитализм от кризиса за счет улучшения положения рабочего класса.

После конференции „круглого стола“

«Итоги конференции «круглого стола» знаменуют конец имперского периода в Индии» — пишет журнал «Foreign Affairs», издаваемый известным пацифистом Норман Энжелем. «Преобразование общественного мнения было почти волшебным, — пишет журнал «Spectator», — и мы не сомневаемся, что большинство британских избирателей настроено сейчас в пользу дарования Индии всех прав доминиона, как только кончится переходной период». И наконец консервативный «Times» в передовой статье, посвященной конференции, признает, что «правительство в лице первого министра и лорда-канцлера заслужило всеобщее восхищение своим умением справиться с трудными задачами «круглого стола». Глубокое удовлетворение вызывает тот факт, что именно рабочая партия находилась у власти в момент разрешения этого вопроса и что Индия спасена, как она никогда не была бы спасена при других обстоятельствах, от перспективы сделаться ареной партийной борьбы в нашей стране».

Только Винстен Черчилль буркнул что-то насчет того, что Макдональд лишает британскую корону ее лучшей жемчужины, но был немедленно дезавуирован Болдуином, который поспешил заявить, что в случае образования консервативного правительства оно будет продолжать в Индии политику Макдональда.

Если вспомнить, что каких-нибудь полтора года назад глухое упоминание о возможности предоставления Индии прав доминиона «в неопределенном будущем» в речи лорда Ирвина, вице-короля Индии, вызвало ряд протестов не только со стороны консервативных, но и либеральных кругов, то поворот в настроении английской буржуазии надо признать действительно поразительным. Британские империалисты пришли к убеждению, что единственный путь сохранить Индию в составе империи — это сговор с индийской буржуазией на почве политических уступок.

Размер этих уступок выявился на конференции. 76 индийских представителей на этой конференции принадлежали к наиболее умеренным, по английской терминологии, или вернее к наиболее реакционным кругам верхних слоев индийской аристократии и буржуазии. Занятая ими позиция показала даже наиболее твердолобым поклонникам политики «сильной руки», что без компромисса обойтись невозможно, ибо на почве прежней политики Англия лишилась бы в Индии всякой опоры.

До последнего времени этой опорой являлись индийские феодалы, главы индийских княжеств, видевшие в англичанах защиту от недовольства своих подданных, и частью верхи мусульманского населения Индии, ибо тактика английских властей в Индии было разжигание религиозной вражды в Индии. За «круглым столом» выяснилось, что эта опора слаба. Индийские принцы сочли необходимым выступать за создание всеиндийской федерации на основе самоуправления, опасаясь, что дальнейшее упорство англичан привело бы к взрыву революционного движения, которое положило бы конец индийскому феодализму. Разжигание религиозной вражды также оказалось более непригодным орудием, ибо с начала кампании гражданского неповиновения религиозные столкновения почти прекратились. И демонстрируя свое единство, индийская делегация избрала своим председателем представителя мусульманского меньшинства Ага-хана.

Задача состояла таким образом в том, чтобы, дав индийским националистам уступку в принципиальном вопросе о доминионе, на практике отложить его введение на возможно более долгое время и сохранить все существенные элементы английского господства над Индией. То одобрение, которое заслужил Макдональд со стороны даже консервативной партии своим руководством конференцией, показывает, что интересы британского империализма он оградил в достаточной мере и не пошел дальше тех уступок, которые были абсолютно необходимы.

Основной смысл тех решений, к которым пришла конференция «круглого стола», хорошо выражен в первом пункте той декларации, которую прочитал Макдональд на заключительном заседании конференции: «Британское правительство полагает, что индийское правительство должно быть ответственно перед законодательными собраниями, центральными и провинциальными, при условии гарантирования определенных обязательств на время переходного периода и сохранения политических прав меньшинств».

Эти гарантии в последующих пунктах декларации формулируются следующим образом: вопросы национальной обороны и иностранной политики находятся в исключительном ведении генерал-губернатора Индии; последний будет обремен необходимыми полномочиями, чтобы обеспечить в случае необходимости порядок и спокойствие

государства; установление ответственности правительства в финансовых вопросах будет находиться в зависимости от некоторых условий, имеющих целью обеспечить соблюдение принятых обязательств и сохранение устойчивости кредита Индии.

Таким образом Англия сохраняет в своих руках руководство армией, внешней политикой, финансовыми вопросами, при чем у генерал-губернатора остается возможность осуществлять свою дискреционную власть и в других вопросах, если это окажется необходимым для сохранения «порядка и спокойствия государства».

Чтобы облегчить однако сговор с националистами, принят принцип постепенного усиления индийского элемента в офицерском корпусе армии. При всей туманности этого обещания сговор с индийской буржуазией в этом пункте будет тем более легок, что не только индийские феодалы и мусульманские круги буржуазии, но даже стоящие левее их буржуазные националисты, группирующиеся вокруг Всеиндийского конгресса, вовсе не настаивают на удалении английских войск из Индии, рассматривая их как необходимую опору в случае возмущения рабочих и крестьянских масс.

Последовавшее за закрытием конференции «круглого стола» освобождение Ганди и виднейших лидеров Всеиндийского конгресса служит явным доказательством того, что отныне начинается эпоха соглашения с этими кругами, стоящими во главе кампании гражданского неповиновения. Несмотря на то, что Ганди и его единомышленники еще пытаются сохранить видимость оппозиционности, не подлежит сомнению, что

соглашение индийской буржуазии с английским империализмом будет достигнуто. Соглашение это будет непосредственно направлено против рабочих и крестьян Индии, страдающих не только от капиталистической эксплуатации, но и от пережитков феодализма.

Тем характернее тот факт, что ренегаты индийской компартии в роде Роя и Канделкара призывают сейчас трудящиеся массы стать под знамя Всеиндийского конгресса. Этот отказ от проведения самостоятельной классовой линии пролетариата тем позорнее, что по существу макиональдовская конституция не предполагает даже превращения Индии в самостоятельную буржуазную страну. Тот факт, что генерал-губернатор сохраняет в своих руках не только военное дело и внешнюю политику, но — в течение неопределенного переходного периода — и контроль над финансовыми мероприятиями, показывает, что Индия остается и теперь английской колонией, экономическое развитие которой будет подчинено интересам английского капитала.

Буржуазные националисты конечно попытаются еще поторговаться с Англией по этому вопросу, но по существу им придется тут уступить требованиям британского империализма, ибо они слишком заинтересованы в вооруженной поддержке Англии против недовольства рабочих и многомиллионных крестьянских масс. Ренегаты коммунизма, пытающиеся подчинить массы руководству Всеиндийского конгресса, скатываются фактически на позицию прямых пособников колониальной эксплуатации Индии британским капитализмом.

2. ЯПОНСКИЕ СИЛУЭТЫ 1)

И. Тайгин

Мне принесли письмо и посылку с Дальнего Востока.

Я вскрыл письмо и едва мог удержаться от горестного восклицания. Товарищ, постоянно живущий в Харбине, сообщал мне о смерти Нила Спиридонова... Нил Спиридонов! Тысячи образов и воспоминаний сразу поднялись и закружились в моей голове...

Я познакомился с Нилом Спиридоновым лет двадцать назад на Волге. Я был тогда еще мальчишкой, а он — уже зрелым человеком и испытанным революционером. В натуре Нила был заложен мощный дух протеста и беспокойства. Почти ребенком он примкнул к рабочему движению. В 90-х гг. прошлого века он прошел суровую школу подпольных кружков, тайных типографий, арестов, ссылки и побегов. Но на этом дело не остановилось. Судьба забросила Нила на Кавказ, — и это сыграло решающую роль в его жизни. На Кавказе Нил вошел в непосредственное восточное, и Восток раз навсегда «отравил» его. Нил глубоко полюбил Восток. Какие-то интимно-духовные нити связали его с Востоком. Нил активно уча-

ствовал в персидской революции 1907 г. и даже чуть не поплатился головой за свою слишком резкую оппозицию шаху. Нил был в Константинополе во время младотурецкой революции 1908 г. Нил незадолго до мировой войны два раза побывал в Индии, знакомясь с положением индусских рабочих и крестьян. После Октябрьской революции Нил перенес свое главное внимание на Дальний Восток. Он побывал в Монголии, Китае, Тибете, Японии. Он бродил из города в город, из страны в страну, везде внимательно присматриваясь к людям, нравам, условиям, учреждениям. Он собирал полезную информацию и печатал интересные статьи в газетах и журналах. Он делал доклады и выпускал книжки. С годами и болезнями (а Нил во время странствований по Востоку растерял немало здоровья) в нем стала ослабевать непосредственно революционная активность, но меткий революционный глаз остался. Когда я встретил Нила года два назад в последний раз, он напоминал больше уже не бойца революции, а ее бытописателя, но страстный интерес и глубокая любовь к Востоку в нем остались...

1) См. «Новый мир», кн. 2, 4 и 10. 1930 г.

И вот теперь я узнаю, что Нил Спиридонов умер! Нила Спиридонова больше нет!

Товарищ из Харбина сообщал, что смерть подкралась к моему другу и учителю внезапно, на пути на Китай в СССР. В чемодане Нила он нашел много всякого рода материалов и рукописей. Перед смертью Нил просил все это переслать мне для использования к моему усмотрению. Я распаковал посылку и погрузился в кипы исписанных бумажек и листов. Это было очень интересное чтение. Я нашел тут очерки, статьи, записи бесед, дневники, случайные заметки, — все о Востоке, главным образом о Дальнем Востоке. В наследстве Нила Спиридонова я нашел и несколько страниц, относящихся к Японии. Я не думаю, что в чем-либо нарушу волю ушедшего товарища, если приведу здесь эти страницы целиком.

Вот что гласила рукопись.

Студент

«Токичи-сан очень торопился. Увлечшись разговором, мы сильно запоздали. Наша «вечеринка» была назначена на 8 час. вечера, — сейчас было уже 8½, между тем до конечного пункта нашего путешествия было еще не близко. Вдруг студенты, с которыми я должен был познакомиться, наскучив ожиданием, разойдутся?.. И потому мы спешили, как могли.

Сначала мы вскочили в маленький голубой автобус, который вытряс у меня все внутренности. Потом пересели на трамвай, который долго крутился по извилистым улицам Токио. Потом промчались галопом три остановки по круговой электрической дороге. Потом быстрым шагом прошли мост, перекинутый через один из грязных и воющих столичных каналов, и наконец углубились в запутанный лабиринт каких-то узеньких, приятно пахнущих японских улочек.

— Здесь Канда! — с каким-то особым подчеркиванием произнес Токичи-сан.

И я сразу проникся совсем особенным настроением. Ибо о Канде я слышал очень много. Ибо Канда — это токийский «Латинский квартал». Здесь живет и учится японское студенчество. Здесь оно читает, думает и пишет. Здесь оно веселится и развлекается. Здесь оно складывается в интеллигенцию. На Канде — сотни книжных магазинов, где постоянно толпятся студенты, ибо многие из них, не имея денег для покупки учебников, штудируют их в лавке под предлогом просмотра. Но на Канде точно также — сотни маленьких японских ресторанов, кафе и всякого рода сомнительных притонов, где учащаяся молодежь ест, пьет, дискутирует, а на ряду с этим отдает неизбежную дань вину и женщине.

Да, Канда — целый своеобразный мир, с своими законами, нравами и обычаями. И потому я хорошо понял Токичи-сан, когда он срыву бросил:

— Здесь Канда!

Еще несколько минут ходьбы, еще несколько крутых поворотов по узким, как две капли воды, похожим друг на друга япон-

ским улицам, и мы наконец достигли цели своих стремлений. Небольшой двухэтажный дом из фанеры и бумаги. Матово-таинственный свет из затянутых бумагой «оконов». Смутный гул голосов, доносящийся из-за тонких стен наружу...

По японскому обычаю снимаем внизу ботинки и в одних чулках по страшно крутой лестнице поднимаемся во второй этаж. Так вот она «вечеринка»!

В низкой, но длинной комнате с открытым балконом плавают сизые клубы дыма. Ни столов, ни стульев. Никакой другой мебели. Пол покрыт дешевыми циновками из рисовой соломы. На циновках — низенькие подушки. На подушках — люди. Их человек восемь. Большинство — студенты университета в своей обычной форме: черные куртки с блестящими пуговицами. Но есть и две женщины. Одна — широколицая, с плоским монгольским носом и узкими косыми глазами, одета по-японски — в комино и таби¹⁾, другая — с упругим и красивым лицом более арийского типа, несомненно «мого»²⁾. Она одета по-европейски, в блузку и короткую юбку, ее волосы изящно подрезаны, и один непокорный локон как-то заодно выбивается па лоб. Все громко говорят и смеются. И от этого сначала очень трудно что-нибудь понять и различить на «вечеринке» японских студентов.

В голове у меня начинают маячить какие-то далекие, далекие воспоминания. На что это похоже?..

Усилие памяти, и вот...

1902 год. Петербург. Наши дымные и шумливые студенческие сборища... Другая широта, другое время, другие лица, но в духе и настроении есть что-то общее с тем, давно пережитым и упевшим в прошлое навсегда.

Впрочем эта «вечеринка» не совсем «вечеринка». Она имеет более глубокий смысл. Всем этим юношам и девушкам до смерти хочется посмотреть на живого, дышащего «большевика» и задать ему целую кучу вопросов. Конечно власти не очень поощряют такой «контакт». Совсем напротив. Участники «вечеринки» рискуют из-за этого даже некоторыми неприятностями. Но именно поэтому они особенно взвинчены и возбуждены. Именно поэтому они засыпают меня (через Токичи-сан, играющего роль переводчика) целым градом вопросов, восклицаний, недоумений. Куда девалась обычная японская сдержанность? Куда исчезла внешняя японская невозмутимость? Предомной живые люди с горячей мыслью и сильно бьющимся пульсом.

Они хотят знать обо всем. Они хотят знать о нашем студенчестве, о наших рафаках и

1) «Таби» — японские носки, которые носят одноклассники мужчины и женщины.

2) «Мого» — японское сокращение для английского «modern girl» (современная девушка). Этим именем сейчас в Японии обозначаются молодые девушки, обнаруживающие склонность к восточному приятию европейской культуры, в частности к ношению европейских костюмов и прически. В параллель с «Мого» в том же смысле употребляется также выражение «Мобо», т. е. «modern boy» (современный мальчик).

вузах. Они хотят знать о нашей культуре и литературе. Они хотят знать о наших пролетарских писателях и о театре Мейерхольда. Они хотят знать о Сталине, Бухарине и Максиме Горьком. Они хотят знать о пятилетке и колхозах, о советской политике, о силе исторического материализма. Не даром также среди профессоров и преподавателей японских высших школ до сих пор еще имеется немало представителей, считающих себя последователями Маркса и Ленина и до чрезвычайности напоминающих собой наших «легальных марксистов» времен Струве и Туган-Барановского.

Да, японский «ленинизм» пока еще носит главным образом интеллигентский костюм. И не случайность конечно, что среди многих тысяч арестованных за последние годы «коммунистов» столь высок процент студенческой молодежи. Не случайность также, что в рядах «левого» студенчества сейчас на ряду с выходцами из мелкобуржуазных и интеллигентских слоев нередко можно встретить и представителей аристократии. Я вспоминаю такой случай. Летом 1928 года министр народного просвещения Мизуно открыл поход против многочисленных «обществ изучения социальных наук», имеющих в каждой высшей школе Японии. Черносотенный министр утверждал, что как раз эти «общества» и являются главными очагами коммунистической пропаганды среди студенчества. Одно за другим закрывались «гнезда крамолы». В числе прочих подверглось закрытию подобное «общество» в университете г. Сендай. И тогда разыгрался страшный скандал. Оказалось, что председателем этого зловредного «общества» состоял собственный сын министра Мизуно, а секретарем — сын министра двора Иски!.. Совершенно очевидно, что в японском студенчестве наших дней еще не произошло необходимого «классового размежевания».

И это опять напоминает... Что именно?.. Ну конечно 1902 год. Петербург. Годы, непосредственно предшествовавшие нашей первой революции.

История не повторяется, и я не хочу утверждать, что нынешнее состояние Японии в целом можно сравнить с состоянием царской России перед 1905 г. Нет, конечно, нет! Но в одном определенном участке японской жизни, в среде высшей школы, в кругах студенчества, сходство с русским прообразом начала нашего века несомненно имеется.

К чему это приведет?

Господствующие классы Японии сейчас сильно встревожены «радикализацией» студенчества. Они бросают вызов силам «коммунизма и революции». Они пускают в ход весь репрессивный аппарат государственной машины. Они арестовывают, изгоняют, подвергают преследованиям «левых» студентов и «левых» профессоров. Они разгоняют «подозрительные» университетские организации. Они конфискуют «коммунистические» книги и журналы. Они вынуждают из-

дателей в произведениях Маркса, Ленина, Бухарина, Сталина то-и-дело многозначительными точками заменять живые и горячие слова. На ряду с этим, они пытаются взять в «патриотическую» обработку мозги учащейся молодежи. Они учреждают в высшей школе особую «полицию мыслей». Они создают в университетах специальные кафедры для идеологической борьбы с «коммунизмом». Они посылают в Англию, Францию, Америку экспертов для ознакомления с наилучшими методами «антиреволюционной пропаганды». Да, господствующие классы защищаются, энергично защищаются против надвигающейся грозной опасности.

И все-таки... По собственному опыту мы знаем, как мало могут сделать «все эти искусственные плотины, когда подымается могучая и полноводная историческая волна.

Но подымается ли такая волна в Японии? Несомненно подымается, хотя и медленнее, чем это многим хотелось бы. И те миллионы заряженных коммунистической идеей печатных листов, которые сейчас жадно поглощаются студенческой и интеллигентской молодежью, сыграют свою роль в этом подеме.

Однако... опасно в наши дни составлять подробные рецепты для кухни будущего. Опыт последних лет показал, что безработная, голодная, протестующая интеллигенция является хорошим материалом не только для революции, но и для фашизма. Вспомним Италию. По какому пути пойдет в ближайшее время основная масса японской интеллигенции — по красному или по черному?

На этот вопрос я сейчас отказываюсь отвечать. На этот вопрос ответит только будущее.

Рабочий

Осака...

Шумная двухмиллионная столица японского текстиля. Громадные серобетонные здания. Сотни высоких, вечно дымящихся труб. Бешеная скачка автомобилей и немолчный гул машин. Густой лес мачт в огромном, пахнущем нефтью порту. Звонки трамваев, гудки автобусов, свистки паровозов. Сияющие витрины магазинов. Черная, копоть вокзалов. Острый смешанный запах угля, пыли и пота. И везде люди, люди, люди. Тысячи, десятки и сотни тысяч людей, бегущих, кричащих, смеющихся, плачущих, никогда не останавливающихся. Настоящий человеческий водоворот, стремительный и лихорадочный.

Хороша Осака! В ней пахнут бурей! В ней мощно и ярко бьется пульс капиталистической Японии. В ней, как в нервном узле, сходятся все экономические и политические противоречия страны. И в ней же в неустанной, повседневной борьбе выживаются вода и сознание пролетариата...

Огромная хлопчатобумажная фабрика. Одна из самых крупных и известных в Японии. 4.000 рабочих и 130 тыс. веретен. Высокие, светлые залы. Английские и американские машины. Гул, треск, жужжание,

стрекотня. Последнее слово техники и науки...

И тут же, на серо-стальном фоне неугомонных машин, робкий силуэт склоненного к станкам кимоно. Изысканные линии и гибкие движения. Сложная головная прическа и звонко постукивающие «гета». Маленькая японочка, почти ребенок, торопливо перебегает от одного веретена к другому, от одной порванной нитки к другой.

Какой резкий контраст! Какое непривычное сочетание! Американская машина плюс древнеяпонское кимоно, — разве это не символ современной Японии?..

Прохожу по бесчисленным залам и корпусам фабрики — почти нет мужчин. Везде женщины. А среди женщин — почти нет взрослых, не говоря уже о пожилых. Везде молоденькие подростки в возрасте 15—18 лет. Справляюсь. Оказывается, из 4.000 рабочих рук только 700 мужчин. Они главным образом — машинный персонал и надсмотрщики. Остальные 3.300 — женщины, в том числе 3.000 в возрасте до 20 лет. Старше 30 лет на фабрике нет ни одной женщины.

Итак, это громадное промышленное предприятие в сущности стоит на нежных плечах девушек-подростков!

Как они живут?

Их мир ограничен высокой каменной стеной, окружающей фабрику. За ворота фабрики они не смеют выходить. Ни родных, ни знакомых они не видят. Это запрещено. Спят они в низких и длинных японских бараках, по 15 душ на комнату. Работают в две смены по 11 часов каждая. Пока одна смена стоит у станков, другая спит. Приходящие с работы ложатся прямо в неостывшие постели уходящих на работу, так что тепло человеческого тела никогда не покидает бараки. Питаются в фабричной столовой, огромной полутемной зале на 2.000 человек. Едят рис, редьку, сою, пьют жиденький японский чай. Покупают все потребное в фабричной лавке. Там можно найти материи, гребни, румяна, бусы, дешевые украшения, сласти и прочее, и прочее, и прочее. «Дерут» в лавке основательно, но работнице деваться некуда. Лечатся в небольшой фабричной больнице. Развлекаются в фабричном кино и фабричном театре, где два в месяц выступают трезьеразные артисты. За все эти прелести работница получает 70—80 коп. в день, из которых не меньше трети идет на оплату квартиры и стюжа. Примерно половина отсылается конторой в деревню родителям девушки. На руки ей перепадает лишь гроши, да и те не в форме настоящих денег, а в форме специальных талонов на право покупки предметов в фабричной лавке. И наконец самое замечательное! Все эти молодые девушки — крестьянские дочери из окрестных деревень, которых родители «сдают в аренду» предприятию на 1, 2, 3 года за определенную, условленную плату. Отец подписывает контракт и получает задаток, а вербовочный агент увозит «заарендованную» живую ду-

шу на фабрику. До истечения срока контракта родители фактически теряют, а капиталист фактически приобретает все права в отношении молодой девушки. Отработав положенное время, дочь возвращается домой и выходит замуж. Предполагается, что за время работы на фабрике она скопила себе приданое, хотя на самом деле это бывает не всегда. Как бы то ни было, но в промышленности девушка навеки не остается. Фабрика для нее — это «отхожий промысел» в годы юности, а деревня для нее — вся жизнь.

Так вот почему я видел повсюду в корпусах и при машинах подростков.

Как прав был немецкий профессор, говоривший мне о существовании женского рабства на японских фабриках! Разве это «аренда» живых душ не отдает средневековым? И разве это «образцовое» текстильное предприятие с его американскими машинами и его «арендованными» живыми душами не является ослепительным воплощением пестрой противоречивости современной японской жизни?..

Фукуока...

Крупнейший центр японской тяжелой индустрии. Горы, долины, водопады. Вишни, бамбуки, криптомерии. Шумные вспешенные речки и тихие зеркальные озера. А среди этого блеска и богатства южной природы, в ярких лучах полуденного солнца, то там, то сям — дымные города и высокие трубы. Здесь расположен крупнейший в Японии металлургический завод Явата. Он принадлежит государству и дает свыше половины всего выплавляемого в стране железа. Здесь черными, насупленными пятнами разбросаны угольные шахты с окружающими их грязными горняцкими поселками. Здесь, именно здесь, на острове Кюсю, бьется промышленное сердце японского империализма...

Я — в мрачном и убогом рабочем селении. На дне широкой котловины быстро крутятся колеса высокой ажурной башни, и быстро бегают вверх и вниз железные «угольные корзины». На глубине 500 метров под землей здесь неумолчно стучат стальные кирпичи горняков. А вокруг ажурной башни во все стороны разбежался черный, закопченный и неумытый «угольный городок». В нем 10.000 населения, одно кино, один деревянный балаган, высокопарно именуемый театром, и одна газета, выходящая три раза в месяц. В кино идут самые сногшибательные японские и американские фильмы («такие, где больше дерутся» — как пояснил мне директор копей), в театре изредка выступают заезжие актеры-неудачники, а в газете со смаком перетряхивается скандальная хроника местечка.

Я приехал сюда для того, чтобы бросить хотя бы беглый взгляд на жизнь и быт японских горняков... Гм! Гм! Это оказывается делом совсем не столь простым. Один крупный японский журналист, взявшийся устроить мне посещение шахт, накануне отъезда заверил меня, что все обстоит в по-

рядке: правление копей предупреждено о моем приезде, дирекция согласна оказать мне содействие, и все готово к моему приезду.

Действительно готово!

На вокзале меня встретила «делегация» из трех человек. Один оказался директором копей, другой — главным инженером, а третий — местным полицейским начальником. Я вздохнул, но вынужден был покориться судьбе. Подали автомобиль. Спустя две минуты, мы все, вчетвером, очутились перед закопченным зданием фабричной конторы. Внутри меня ждали высшие чины управления копей, врач, буддийский священник и еще двое полицейских чинов низшего ранга. Получался целый парад. Мне кланялись, я кланялся, мне улыбались, я улыбался — с оном все было так, как полагается по извечным правилам японского этикета. Затем директор, говоривший довольно прилично по-английски, пригласил всех позавтракать. Я снова вздохнул, ибо знал по опыту, что это означает, но делать было нечего.

Завтрак был сервирован «по-японски», на полу. Все сидели, поджавши ноги, на подушках, и перед каждым стоял маленький, низенький столик из черного лакированного дерева. Однако, принимая во внимание мое европейское происхождение, хозяева решили сделать мне удовольствие по части подбора кушаний. Но кто знает в этой заколустной восточной дыре, как выглядит европейское меню? Больше всего это знал очевидно местный повар. Поэтому созданное им произведение кулинарного искусства ярко отражало на себе все основные противоречия современной Японии.

Рискуя нарушить строгие требования японского этикета, я после чая подымаюсь, низко кланяюсь, усердно благодарю и, разминая затекшие ноги, настойчиво заявляю, что пора приступить к делу. Среди хозяев движение и сенсация.

— Саа! — слышу я справа и сзади от меня!

Директор пытается меня задержать в правлении, заявляя, что сейчас придут гейши, которые будут увеселять столь редкого гостя танцами и музыкой. Я еще ниже кланяюсь и еще усерднее благодарю, но твердо повторяю, что сейчас надо заняться делом. Гейш я охотно послушаю вечером, после того, как мы осмотрим шахты и рабочие дома. Полицейский начальник обращает мое внимание на начинающийся дождик. Однако я остаюсь непреклонным. Буддийский священник предлагает осмотреть его храм. Я веж иво, но решительно отклоняю и эту комбинацию.

Хозяева начинают понимать, что им, видимо, не удастся преодолеть настойчивость названного гостя и покоряются неизбежному. Полицейский начальник делает какой-то знак своим помощникам, — оба бесшумно старшему инженеру, — тот поспешно скры-

вается за дверь. Мы одеваемся и выходим на черную, сырую и скользкую улицу. Наконец-то начинается осмотр.

Гладкие стены конторы. Черные горы добытого угля. Краны, склады, дворы. Стальные члены подъемных машин. Железная «корзина» главной шахты. Тросы, валы, быстро крутящиеся колеса. Скользко-блестящие стенки колодца. Крутое падение вниз и сладковатая резь в нижней части живота. Стуки и огни мимо пронесшихся коридоров. Гул подземных ручьев. Штольни, рельсы, вагонетки, машины. Черные, перемазанные, вспотевшие люди — стоящие, сидящие, лежащие на спине. Голые тела и ярко светящиеся в темноте глаза. И повсюду одно и то же неумолчное:

— Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!

Мы медленно идем, то низко нагибая голову, то резко выпрямляясь во весь рост. Рабочие, больше похожие на дьяволов, чем на людей, с изумлением и любопытством провожают меня глазами. Должно быть, не часто бывают тут европейцы. Во взглядах рабочих я читаю немой, но настойчивый вопрос:

— Кто ты?

Но вот и конец подземному путешествию. Я подвожу итог: шахта богата углем и устроена по последнему слову техники, с врубными машинами, подземными поездками, широко проведенной электрификацией. Такая шахта сделала бы честь Германии или Америке.

Железная «корзина» быстро выносит нас наверх, на свет дня и блеск солнца. Директор с облегчением вздыхает и торопливо приглашает назад в контору, где нас ожидают гейши, чай и разноцветные японские сласти. Но я снова опрокидываю все извечные традиции местного этикета и требую, чтобы мне показали жилища рабочих. Ах, как этого не хочется директору и полицеймейстеру! Они наперерыв начинают мне доказывать, что в жилищах рабочих ничего интересного нет, что сейчас, после дождя, там царит непролазная грязь, что мост через речку, отделяющую шахтерский поселок от конторы, снесло высокой водой и что вообще в ту часть городка три года скачи — не доскачешь.

Но я упрям и непреклонен. Хозяевам вновь со скрежетом зубным и с архивежливой улыбкой на устах приходится подчиниться. Идем. Оказывается, и мост на месте, и грязь не так уж велика. Чем ближе рабочий поселок, тем острее какой-то специфический запах гнили, тлена и бобового масла.

Вот наконец и жилища шахтеров. Длинные и низкие деревянные бараки, почерневшие от времени и непогоды. Дырявые полы. Прогнившие углы. В каждом бараке 10—12 квартир. Но что это за квартиры! Заходим в одну, другую, третью — везде одна и та же картина. Крохотная японская комнатка с маленькими заклеенными бумагой окнами, у двери — каменный очаг с целым ассортиментом каких-то странных японских кухон-

1) «Саа» — японское междометие, означающее недоумение и неожиданность, нечто в роде нашего «вот как!» или «так вот оно что!»

ных принадлежностей. Ближе к окну — куча цыновок и тряпья, должествующая изображать семейной ложе рабочего. Муж, жена и 5—6 человек детей мал-мала меньше. Повсюду грязь, теснота, лохмотья. Горькая бедность, почти нищета смотрят на вас из всех углов. И еще больше — из черных, испуганных глаз обитателей квартиры...

Теперь я понимаю, почему директору так не хотелось пустить меня в рабочие квартиры! Это тебе не Германия и не Америка!

И обращаюсь к хозяину одной из квартир, работающему в качестве забойщика, с вопросом:

— Сколько вы зарабатываете в день?

— 1½ нены¹⁾, — переводит директор.

— Сколько часов работаете в день?

— Девять, — переводит директор.

— Вы состоите членом профессионального союза?

Рабочий бросает на директора испуганно-недоумевающий взгляд

— Здесь нет профессионального союза! — резко бросает директор.

Я прекращаю разговор. Все ясно и понятно. Никаких комментариев не требуется...

Так что же такое представляет собой японский рабочий?

Суммирую вкратце и личные впечатления, и данные, собранные мной из различных источников.

Прежде всего общее число рабочих — оно достигает 6 млн. человек, распределяющихся следующим образом:

Промышленность	2,2 млн.
Транспорт	1,4 »
Торговля	1,0 »
Сельск. хозяйство	0,4 »
Прочее	1,0 »
	6,0 млн.

Вместе с семьями это составит примерно 20 млн. человек, т.е. около трети всего населения Японии.

Теперь некоторые детали. Рабочая статистика в Японии, к сожалению, крайне несовершенна. Поэтому я лишен возможности говорить с достаточной определенностью обо всей 6-миллионной массе пролетариата. Но зато об индустриальных рабочих имеются более детальные сведения. И когда начинаешь с ними знакомиться, невольно широко раскрываешь глаза. Такой своеобразной картины вы не увидите ни в какой другой крупной капиталистической стране.

Промышленный пролетариат Японии в основном, во-первых, текстильный, во-вторых, женский и, в-третьих, на редкость «молодой». В самом деле: из 2,2 млн. индустриальных рабочих 1,0 млн., т.е. почти 40 процентов, составляют текстильщики; далее следуют горняки, составляющие 14 процентов, и машиностроители, составляющие 10 процентов; остальные профессиональные группы значительно меньше. Из 2,2 млн. индустриальных рабочих 1,0 млн., т.е. почти 40 процентов, женщины, ибо 80 процентов текстильного пролетариата — женщины, те

самые робкие молоденькие подростки, которых я видел на хлопчатобумажной фабрике в Осака. Женщины заняты также и в других отраслях производства, даже в горном деле. Здесь они составляют почти четверть всего числа пролетариата, при чем свыше 40.000 их работает под землей. Из 2,2 млн. индустриальных рабочих по крайней мере три четверти не старше 27 лет. Особенно поразительны цифры для женской части пролетариата: 70 проц. работниц моложе 19 лет! А сверх того, в японской промышленности занято свыше 300 тыс. детей.

Где, в какой другой империалистической державе, вы найдете что-нибудь подобное?

Отсюда вывод: когда вы представляете себе японского рабочего, вы должны мысленно рисовать себе ту робкую, крестьянскую девушку-подростка, которую я видел на текстильной фабрике Осака. Именно она составляет основной огряд японского промышленного пролетариата. Легко понять, как это отражается на условиях жизни и труда японских рабочих вообще. Легко понять также, какие колоссальные трудности это воздвигает на пути развития революционной классовой борьбы.

Вот факты. Рабочий день в японской промышленности, по данным официального правительственного обследования, составляет в среднем 10½ часов, при чем среди текстильщиков он достигает 11½ часов. 30 процентов индустриального пролетариата работает свыше 12 часов в день! Средняя заработная плата для мужчин достигает 1 р. 40 к., для женщин — 80 коп. в день. Но японским масштабам это почти нищета. Сотни тысяч рабочих и особенно работниц¹⁾ вынуждены жить в фабричных казармах, о которых речь была выше. Число несчастных случаев в промышленности огромно. Рабочего законодательства почти не существует. Право стачек и союзов за пролетариатом не признано. Фактически пролетариату еще приходится вести упорную войну с государством за это право.

Но это еще не все. Дьявольски жестоки и дьявольски лукавы те методы, с помощью которых господствующие классы страны пытаются стереть главу «революционного змия» — пролетариата.

Прежде всего в ход пускаются самые зверские и беспощадные репрессии. Власти при этом делают мало различия между областью экономической и областью политической борьбы. Кулак и кнут одинаково свирепствуют повсюду. Стачки подавляются с помощью полиции и банд наемных гримил. Профессиональные союзы распускаются, их денежные фонды конфискуются, вожди арестовываются, рабочие терроризируются. Политические собрания рабочих разгоняются, политические работники пролетариата тысячами заключаются в тюрьмы, привлекаются к суду по обвинению в «коммунистическом заговоре», на следствии подвергаются жесточайшим пыткам и в

¹⁾ 1 нена = 83 коп.

1) Свыше 600 тысяч.

конце концов награждаются каторжными приговорами. Таких процессов за последние годы было несколько. В 1928 году в целях борьбы с «коммунистической опасностью» был даже издан специальный закон «о сохранении мира», предусматривающий смертную казнь для «лиц, создающих организацию с целью изменения государственного строя». Итак, за простую принадлежность к компартии — высшая мера наказания! Куда же дальше? Совершенно ясно, что компартия в Японии может существовать только нелегально. Да и не одна лишь компартия. На протяжении последних 30 лет революционные представители японского пролетариата 15 раз пытались создавать легальную «левую» рабочую партию, и 15 раз эта попытка кончалась крахом. Бывали случаи, когда открытая на точном основании закона рабочая партия существовала только один день! Так, «Сякай Минсюто» начала свою деятельность утром 20 мая 1901 г., а вечером того же 20 мая 1901 года она была уже закрыта полицией. «Нихон Хеймито» открылась утром 3 июня 1901 года и была запрещена вечером того же 3 июня. «Родо Номинто» возникла утром 1 декабря 1924 года и пассивно умерла вечером в тот же день. Похоже на фарс, но это фарс трагический, стоящий крови и слез японскому пролетариату.

А на ряду с лесом жесточайших репрессий идут истинно американские подкуп и разложение вождей рабочего движения. Японская буржуазия хорошо научилась это делать. Достаточно какому-нибудь лидеру начать выдвигаться, начать оказывать большое влияние на массы, как ловкие агенты «хозяев» тут как тут. Они льстят ему, оказывают внимание, осторожно приручают подарками, — на первых порах ничтожными но постепенно становящимися все более серьезными, — наконец покупают его хорошим местом, выгодным предложением или просто деньгами. И человек готов. Все реформистское крыло японского рабочего движения глубоко отравлено подобного рода коррупцией. Его вожди — это сознательно продажные лейтенанты капитала. Достаточно напомнить хотя бы имя Бунджи Сузуки. Я видел его однажды — жирная свинья во фраке, с хитро блестящими изпод нависших век глазами. Таких Сузуки — больших и малых — в японском рабочем движении имеется множество, притом не только среди «правых», но и среди «центристов» и даже (в виде исключения) среди «левых». Какое значение это имеет для капиталистов и рабочих, ясно само собой⁴⁾.

Стоит отметить одну характерную деталь.

4) То, что в Японии обычно именуется «пролетарскими партиями», представляет собой конгломерат четырех партий. «Родо Номинто» (рабоче-крестьянская партия) — левая, «Нихон Ровото» (японская рабоче-крестьянская партия) — центр, «Сякай Минсюто» (социал-демократическая партия) — правая и наконец «Нихон Номинто» (японская крестьянская партия) — крайняя правая. Последняя, в сущности не имеет никаких оснований выдвигаться «пролетарской партией», ибо она связана исключительно с деревней. Таким образом на рабочих опираются только три из названных партий: «Родо Номин-

Излюбленная тактика рабочих лейтенантов капитала — это тактика «раскольничества». Пусть только какой-нибудь профсоюз или какая-нибудь политическая партия пролетариата начнут крепнуть и усиливаться, — будьте уверены, в них непременно появится какой-нибудь «вождь», который несогласен с руководством, который создает «опозицию», ведет бешеную борьбу с признанными лидерами организации и в конце концов раскалывает последнюю. Японское рабочее движение, как всякое молодое движение, по самой природе вещей должно страдать «раскольнической» болезнью. Легко себе представить, до чего доходит дело, когда к этому еще прибавляется сознательное вредительство агентов капитала!

Да, бесконечно тяжелы условия, в которых приходится жить и работать японскому пролетариату. Таких не найдешь ни в Англии, ни в Германии, ни в Америке!

И все-таки... И все-таки японский пролетариат ведет борьбу!

Только один пример. В 1927 году вспыхнула стачка на крупной текстильной фабрике «Нихон Босеки» в Осака. Забастовало 4.500 человек, в подавляющей массе женщины. У них не было ни богатых союзных фондов, ни сколько-нибудь крепкой организации. Против них были не только капиталисты, но и власти, и печать, и так называемое «общественное мнение» страны. И все-таки стачечницы держались 3 месяца. И притом в каких условиях!

Крестьянин.

Будьте осторожны, когда вы идете в японскую деревню!

Не потому, что в японской деревне много злых собак. Как раз наоборот: в японской деревне собак почти нет. Не потому, что в японской деревне много болтливых фатов или лошадей, готовых лягнуть вас своим копытом. Тоже как раз наоборот: в японской деревне очень мало скота. На один крестьянский двор здесь в среднем приходится по $\frac{1}{4}$ лошади, по $\frac{1}{4}$ рогатой скотины, по $\frac{1}{10}$ свиньи, по $\frac{1}{30}$ козы и по $\frac{1}{300}$ овец! Даже куры, гуси, утки и другая домашняя птица тут не часто встречаются!..

Вот почему, подходя к японской деревне, вы не слышите той смешанной симфонии ржания, мычанья, хрюканья, блеянья, кулаханья, лая и громких ребячьих криков, которая составляет такую характерную особенность нашей деревни и которая так крепко ударяет вам в уши уже на рубеже сельской околицы. Японская деревня — тихая деревня. Она поражает вас своим спокойствием, своей молчаливостью, ибо даже то, «Нихон Ровото» и «Сякай Минсюто», при чем в «Сякай Минсюто» очень сильно примесь мелкобуржуазных элементов. К этим трем «пролетарским партиям» необходимо прибавить еще четвертую — компартию, существующую нелегально и имеющую сильное влияние на «Родо Номинто». В 1928 г. «Родо Номинто» была распущена полицией, и все попытки восстановить ее легальное существование потерпели крах. Однако, она продолжает работать и бороться в различных полулегальных формах. Профессиональное движение Японии разбито на две основные группы — «левую», примыкающую к «Родо Но-

дети здесь почти никогда не плачут и не кричат.

И все-таки будьте осторожны, когда вы идете в японскую деревню!

У каждого крестьянского дома вы увидите тут небольшое остроконечное, сооружение, крытое соломой, которое издали можно принять просто за маленький стог солей обычной в Японии рисовой соломы. Но горе вам, если вы пойдете к этому сооружению слишком близко или если (что еще хуже) вы вздумаете повалиться на его блестящей желтизне! На вас сразу пахнет тогда таким крепким букетом самого отвратительного зловония, что вы стремительно зажмете себе ноздри. В чем дело? А дело просто в том, что это замалчиваемое остроконечное сооружение является выгребной ямой, в которой в течение всей зимы крестьянин собирает лучшее из удобрений — человеческие и животные экскременты. Они бродят там и дают совершенно нестерпимый аромат. Это отравляет атмосферу японской деревни, но зато это утучняет ее истощенные рисовые поля...

Выгребная яма под приветливой внешностью соломенного стога! Да ведь это не просто «хозяйственная постройка» японского крестьянина, — это настоящий символ современной японской деревни!..

Такие мысли невольно пришли мне в голову, когда в один прекрасный летний день я в сопровождении знакомого агронома Ницхара-сана знакомился с японской деревней в центральной части страны. Селение, в которое забросила меня судьба, по внешности казалось уголком рая. Расположено оно было на берегу темносинего Японского моря. Дома утопали в гуще бамбуков, криптомерий, вишни, каштанов. Вокруг селения теснились невысокие, дивно прекрасные японские горы, с густой зеленью лесов и мягкими, чарующими очертаниями склонов. В котловине и по откосам холмов правильными квадратами разбегались рисовые поля, густо заполняя все свободное пространство. Яркое солнце вверху, неумолчный прибор волны внизу придавали какую-то сказочность всей этой чудной картине, невольно будили отклики и тени каких-то дальних легенд. Хотелось стать здесь и, глубоко вздохнув всей грудью, воскликнуть:

— Мир, как ты прекрасен! Жизнь, как ты хороша!

Но это продолжалось только до тех пор, пока мы с Ницхара-саном, стоя на выступе прибрежного утеса, созерцали деревню на расстоянии полукилометра. Когда же, миновав околицу, мы ступили на «главную улицу» селения, когда мы зашли во

минто» федерацию «Хиогикай», и «правую», при-
мыкающую к «Сякай Минсюто» федерацию «Со-
домей». Кроме того, некоторые второстепенные
организации ориентируются на центристов из
«Нахон Роното». В 1928 г. «Хиогикай» также бы-
ла распущена властями, однако и она в полу-
легальной форме продолжает свое существова-
ние. Общее число профессионально-организован-
ных рабочих в Японии не превышает 300 тысяч
человек. Крупных денежных фондов японские
профсоюзы, как общее правило, не имеют.

двор одного средней руки крестьянского дома, когда мы за чашечкой «сакаэ» побеседовали с несколькими местными жителями... ах, как круто, как резко изменились мои настроения!

Деревня была как деревня. Полсотни японских «избушек на курьих ножках» из фанеры и бумаги с легкими раздвижными стенами. Возле каждой избушки — небольшой огороженный дворик с амбаром, колодецем и крохотным садиком. Кой-где бегают несколько кур, с жадностью глотающих зыбрасываемую им мелкую рыбку. Кой-где под забором лежит собака, лениво твякающая на незнакомых прохожих. Внутри домиков — деревянный пол, циновки, низкие подушки, «футоны»¹⁾, игрушечные лакированные столики, буддийская икона в красном углу, несложная кухонная утварь, самодельная прятка, черный очаг с остатками полунствешего дерева. Непременно ванна — обыкновенное полубочие с небольшой металлической грелкой. Ведь каждый японец, до последнего бедняка включительно, по крайней мере раз в день принимает ванну! В общем чисто, хотя не везде уровень чистоты одинаков: он выше у тех, кто побогаче, и ниже у тех, кто беднее. Поражает почти полное отсутствие мебели, и еще — почти полное отсутствие железа. Во всем домике нет ни железного гвоздя, ни железной скобы, ни железного затвора. Затворов вообще нет. Японская «избушка на курьих ножках» не знает ни крючков, ни замков. Она открыта со всех четырех сторон как для ветров, так и для худого человека. Но — странно сказать! — худых людей тут мало, и воровство в деревне до сих пор еще сравнительно редкое явление. В этом отношении крестьянской Японии нужно отдать справедливость.

Да, деревня была как деревня. И адский труд «рисороба» здесь был таков же, как и в тысячах других японских селений.

Старик-крестьянин с хитрыми глазами и седой головой, с которым мы выпили по чашечке «сакаэ», расчувствовавшись, подробно рассказывал мне, как он взрывается свое рисовое поле примитивной сохой, как удобряет его известью, рыбой и животными экскрементами, как заливает его водой и в течение долгих месяцев следит за ростом, цветением, наливанием, чуть не за каждым вздохом драгоценного злака. Он говорил с жаром, с вдохновением, с какой-то почти мистической проникновенностью, и, слушая его, я невольно вспоминал «власть земли», так потрясающе описанную Глебом Успенским. Другая широта, другое солнце, другое время, но та же «власть земли», всепокоряющая и жестокая.

После нескольких повторных порций «сакаэ» Танака-сан (так звали старика) окончательно расчувствовался и воскликнул:

— Да что тут сидеть в избе! Пойдемте, я покажу вам свое поле.

Сквозь узкий, извилистый переулочек мы вышли на широкую проезжую дорогу, по

¹⁾ «Футон» — матрац, на котором ночью спят японцы. Он кладется прямо на пол.

обеим сторонам которой тянулись залитые водой рисовые поля. Минут через пятнадцать мы свернули с главной дороги на небольшую тропинку, рассекавшую по диагонали большой рисовый прямоугольник с работавшими на нем людьми, а затем по узкой черной меже, на пол-аршина возвышавшейся над поверхностью воды, прошли на поле нашего знакомого.

Поле было небольшое — максимум $\frac{1}{4}$ гектара. Со всех сторон, подобно земляному валу, его окружала высокая межа. Весь квадрат был залит водой, из которого уже подымались нежно зеленые, шелковистые ростки риса. На поле работала вся семья старика — его жена, пожилая японка лет 50, два взрослых сына и молоденькая дочь. В углу поля, там, где при скрещении межей получался маленький кусочек сухой земли, был воткнут деревянный пест, а к шести привязан (чтобы не свалился в воду) хорошенький бутуз лет трех — наследник старшего сына. Мужчины и женщины были одеты почти одинаково. На обоих — короткие темносиние штаны и пышно-неуклюжие плащи из соломы, у обоих головы повязаны белыми полотенцами. О красиво-жеманном японском кимоно здесь не было и речи. Да и как могло быть? Кимоно — это платье безделья, платье чинных, неторопливых движений, а ведь тут людям приходилось работать. И как работать! Босые, выше шиколотки в воде, низко склонившись под пальмами лучами солнца, они прогребали размягченную землю, пололи сорные растения, уничтожали паразитов... В воде плавало много пьявок. Они то и дело подымались по ногам людей и впивались в их почерневшие от ветра и солнца икры. Люди вздрагивали, отрывали пьявок и бросали в горшки с соленой водой, стоявшие около каждого работающего.

— Вот так мы работаем! — со смешанным выражением гордости и горечи воскликнул старик.

— А сколько часов вы работаете каждый день? — спросил я.

— Часов? — усмехнулся старик. — Мы работаем не по часам, а по солнцу — от восхода до захода. Так уж повелось у нас еще при дедах, так продолжается и сейчас.

— И много вы получаете рису? — Старик на минуту задумался с таким видом, точно он произвёл какое-то сложное вычисление, и затем ответил:

— Мы получаем по 2 «коку» с «тана». В хороший год иногда бывает и больше, но редко ¹⁾.

Ницхараса подтвердил, что таков действительно средний урожай риса в стране.

Да, японский крестьянин спит не на розах! По сравнению с его адским трудом труд нашего крестьянина кажется почти удовольствием.

Но беда не только в адском труде. Когда

он окончен и крепкое, белое зерно лежит в амбаре, наступает второй акт в той тяжелой драме, которая называется жизнью японского крестьянина. Начинается «дележ» так дорого доставшегося продукта его труда.

Присевши на корточки, как это любят делать японцы, Танака-сан просто и наглядно стал мне объяснять структуру социальных отношений, под знаком которых жила эта райская деревня.

— У нас, в селе, почти все арендаторы, — говорил старик. — На своей земле работают только три двора. Десятка полтора хозяев имеют по одному своему полю да еще приарендовывают такое же. Иначе не прожить. Все прочие не имеют ни клочка. Берут землю у помещика... У меня вот это одно поле, да есть еще одно, чуть-чуть побольше, вон там...

Танака-сан неопределенно махнул рукой куда-то в сторону.

— Всего у меня под рисом 6 «тан», от того и кормимся. Скота нет, птицы тоже. Поле пашем на себе. Что руки сработают, то и наше...

В тоне старика вновь послышалось смешанное выражение гордости и горечи.

— А у кого арендуете землю?

— Да, вон...

Танака-сан вновь махнул рукой в сторону, но на этот раз более определенно. Вглядываясь внимательно в указанном им направлении, я заметил на склоне зеленого холма, ближе к морю, красивую японскую виллу, обнесенную изящной деревянной изгородью.

— Это наш помещик Кавамура-сан, — пояснил мой собеседник. — У него 25 гектаров земли, и он считается самым крупным помещиком в округе.

Вот как! В этой необыкновенной, густо населенной стране владеет 25 гектаров рассматривается как помещик да еще крупный помещик! Впрочем Япония имеет свои масштабы. К тому же здесь царство рисовой культуры. Это тебе не рожь и не пшеница.

— Сколько же вы платите аренды?

Танака-сан недоумевающе развел своими жилистыми, сухими руками и скороговоркой ответил:

— А это как придется. Год на год не похоже. Я вот плачу за свои поля 6 «коку» ежегодно. Пошлет бог хороший год, — выходит половина урожая. А в плохой год заплатишь две трети, почитай что три четверти урожая. Да еще свежи рис Кавамура-сану в амбары, да еще подарок принеси, как полагается. Не то обидится, зверем станет смотреть на тебя, придирается будет... А чем я своих-то восемь ртов кормить буду?

Я быстро подсчитал в голове: значит, в хороший год каждый член Танакиной семьи имеет примерно 250 граммов рису в день, в плохой же год — не свыше 150. И это при том адском труде, который выпадает на долю японского крестьянина! На таком рационе не очень раздобреешь.

Старик, точно угадав мою мысль, продолжал:

¹⁾ «Коку» равняется примерно $\frac{1}{6}$ тонны. «Тан» составляет около $\frac{1}{10}$ гектара. Таким образом, японский крестьянин в среднем снимает до $3\frac{1}{2}$ тонн риса с гектара.

— В хороший год мы все-таки еще видим рис, хотя и немного. А в плохой год только и жуем, что соленую редьку да сливы. Иной раз рыбу наловишь. Иной раз жена «мисо» сделает¹⁾... А по правде сказать, пухнем с голодухи. Не дай бог неурожай! Брагу не пожелаю...

Танака-сан глубоко вздохнул и затем тихим, ровным голосом стал рассказывать.

— В позапрошлом году случилась у нас тут история... Год был плохой, старики такого не запомнят... Много рису погибло... Кто половину урожая снял, кто треть, а кто я еще меньше... У меня вот вместо 12 только 4 «коку» получилось. А одной аренды мне платить приходится 6 «коку». На что самим-то жить?! Ну, кой-кто еще у нас тут туювые деревья имеет, шелководством занимается, небольшой приработок получает... Опять же у меня самого младшая дочь по этому делу смекает... Да все-таки тяжело! Коли неурожай, на что самим-то жить?!

Танака-сан произнес последние слова с особенным ударением и как бы для вящей убедительности снова развел своими маленькими, сухенькими руками.

— Ну, собрался старики с нашей деревни, судили, рядили, как быть-то?.. Надумали пойти к Кавамура-сану просить сложить аренду на этот год: ведь не мы виноваты, — бог наказал... Приезжал в это самое время к нам человек из города. Не знаю, кто его послал да как он прозывался, а так, из себя гладкий, ловко говорит... Он все кричал: «Объединяйтесь с вашими братьями из других деревень! Стройте союз арендаторов! Предъявляйте требования кровопийце-помещику!..» Ну, мы шума да драки не хотели. Мы думали, все по-хорошему, тихому обладать. Не может же Кавамура-сан нас не уважить! Мы не смугляны какие-нибудь, не проходимцы. Наши отцы и деды на этой земле сидели, испокон веков семье Кавамура-сана служили, всех он нас с малолетства знает, — как тут не помочь? Как не войти в положение?.. Ну, сказали старики городскому-то человеку: «Вертай, брат, назад, нам это не подходит!» А он-то, как уезжал, дураками всех обозвал да погрозились, что его еще вспоминать будут... И ведь поди ж ты, так оно и вышло!

Танака-сан неудоумеваяще покачал головой и затем продолжал:

— Ну, вот, выбрали мы трех самых уважаемых стариков на селе, я с ними тоже пошел... Пришли к Кавамура-сану, вон в этот самый его дом, заходим на кухню, просим хозяина к нам выйти... Не хочет выходить, хоть ты лопни. Занят, говорит! А какое там занят, — видим, как по садику похаживает да папиросу курит... Сели мы в кухне, ждем... Час, два, три... Все, говорят, занят... Сидим, курум да молчим, а на душе кошки скребут... Вот вечер подходит, мы все в кухне сидим... Кухарка уж сжалась над нами, дала рису поесть да по чашечке «сакэ»... Вдруг раздвигаются «сед-

зи»²⁾, вбегают Кавамура-сан, весь красный, дрожит от гнева — и прямо к нам. «Вы что тут, — кричит, — меня со свету сжить хотите? Вы мне покою не даете? Пошли вон! Пошли вон!» Да как затопает ногами, да как заревет... Мы обробели и повалились ему в ноги. Так и так, мол, говорим, пе губи нас. Мы не виноваты, неурожай, голод, некуда податься. Сложи этот год аренду, а вот будет хороший урожай, — мы тебе все заплатим до последнего сена... Так, что ж вы думаете?.. И слушать не хочет! Вот вынь ему да положи мешки с рисом!.. Пробовали мы его и так, и этак уломать... И о боге ему говорили, и об отце его, которому верно служили, поминали... Не идет, хоть ты что!.. «Если, — говорит, — через две недели не внесете, что причитається, проваливайте с моей земли...» Ушли мы, как и пришли, ни с чем.

— А разве может Кавамура-сан вас сразу, без предупреждения, выгнать с своей земли? Ведь есть же у вас арендный договор, где вероятно предусмотрен порядок ликвидации аренды! — несколько недоумевающе спросил я.

— Арендный договор? — откликнулся, как эхо, Танака-сан. — Вот в том-то и дело, что его нет. Мы живем на этой земле испокон веков без всякого договора. Привыкли. В прежние времена-то, коли неурожай эль другая какая напасть случится, так отец или дед Кавамура-сана всегда это понимали и милость оказывали... Ну, а сыночек-то ихний из новых будет, милости-то и не знает!

— Ну, а что же дальше случилось?

— А дальше было вот что. Вернулись мы в село от Кавамура-сана, все рассказали. Освирепел народ. Не будем платить, говорят, и с земли не уйдем!.. Насупились все, ходят мрачнее тучи... Проходит неделя, другая — тихо. Никто не везет риса Кавамура-сану. Проходит еще неделя — тихо. Все уж надеяться начали, что дело как-нибудь обойдется, да видно судьба иначе хотела... Однажды, поздно вечером, га трех больших автомобилях приезжают в деревню десятка два полицейских. С ними управляющий Кавамура-сана. Говорит управляющий: плати или в 24 часа выселяйся!.. Как это так, выселяйся? Тут наши отцы и деды жили, тут каждый клочок нашим нотом поллит, а ты — «выселяйся!» Не пойдем отсюда, да и только!.. Сбежалась вся деревня, мужики, женщины, дети, кричат, орут, грозятся полицейским, — прямо тебе война. Вот тут мы действительно вспомнили, что человек-то из города говорил. Побежали парни в соседние деревни, а там тоже голод и неурожай, не хуже нашего.. Стал отовсюду сбегаться к нам народ. Большая толпа собралась с дубинами, с лопатами, с ножами... Бегут, кричат, на полицию наступают... Ну, полицейские видят — дело плохо, давай разгонять народ, сначала палками, потом стрелять из револьверов стали в воздух, — хотели поугагать. Только народ

¹⁾ «Мисо» — особое японское кушанье, что-то вроде полужидкого теста из бобов.

²⁾ «Седзи» — раздвижные стены японского домика.

остервенел — ничего с ним поделать нельзя. Наступают на полицию, грозятся всех перебить. Двое парней из нашей деревни как схватят управляющего Кавамуре-сана, да как подымут его, да как хрястнут головой об землю, — душа из него вон. Тут переполошились все полицейские, схватились за ружья и давай палить!.. Что тут только было!..

Старик закрыл лицо руками и несколько мгновений горестно молчал. Потом он выпрямился и сухо договорил:

— Ну, восемь человек наших было убито, двадцать ранено. Все разбежались. Потом наехали власти, арестовали человек сорок, судили. Половина вернулась домой, а половину засадили по тюрьмам — кого на 3 мес., кого на полгода, кого на год. А те двое, что управляющего убили, и посейчас сидят, — осуждены на 10 лет... Да, вот какая случилась история в третьем году!..

Я вопросительно взглянул на Ницхарасана. Агроном полностью подтвердил рассказ старика и прибавил еще некоторые характерные подробности. Из них особенно врзалась мне в память одна. Так как Кавамуре-сан, разъяренный убийством своего управляющего, категорически требовал ввещения аренды, то терроризированные крестьяне прибегли к последнему средству, — они стали продавать все, что можно было продать: сначала весь скот, который имели, — оттого сейчас в деревне не сыщешь ни свиньи, ни коровы, — а потом своих дочерей. Девушек продавали по дешевке на текстильные фабрики, в чайные домики гейш, в низкопробные дома терпимости. Только такой ценой крестьянам удалось усидеть на дедовской земле, сверх того еще по уши увязнув в неоплатном долгу помещику...

Так вот какие бичи и скорпионы скрывались под чарующей внешностью этого райского уголка! Вот каково было подлинное лицо этой сказочно прекрасной деревни!..

Вечером, сидя в маленьком домике Ницхарасана, расположенном на окраине крохотного уездного городка, мы вели длинную беседу об аграрном вопросе в Японии. Молодой агроном, принадлежавший к левому крылу интеллигенции, был сам сыном мелкого «рисороба» и прекрасно знал деревню. Он много думал и читал о крестьянской проблеме, в его скромной квартире была собрана большая библиотека, трактующая эти темы, и сейчас он горячо и с увлечением излагал мне выводы, к которым пришел на основании долгого изучения предмета.

Картина в основном получалась такая.

В сельском хозяйстве Японии в настоящее время занято $5\frac{1}{2}$ милл. семей, т.-е. свыше 30 милл. человек. Вся эту массу, составляющую около половины всего населения страны, можно разделить на три главные группы:

Во-первых, помещики. Сюда относятся все землевладельцы, располагающие более чем 10 га. площади. Их насчитывается около 50 тыс., или с семьями примерно 300 тыс.

душ (1 проц. сельского населения). Самостоятельного хозяйства капиталистического типа помещики обычно не ведут. Вся свою землю они, по правилу, сдают в аренду крестьянам.

Во-вторых, крестьяне-собственники, составляющие «крепкую» верхушку деревни. Крестьяне-собственники владеют участками в $1\frac{1}{2}$ — 3 га. Их насчитывается довольно много — 1,7 милл. семей, т.-е. всего до 9 милл. душ, или 30 проц. сельского населения. Само собой разумеется, что в этой группе имеются весьма различные элементы — как такие, которые мы могли бы зачислить в разряд «средняков», так и такие, которых мы по праву отнесли бы к «сулакам».

В-третьих, крестьяне-арендаторы и полуарендаторы. Первые вовсе не имеют собственной земли, как например старик Танака-сан, вторые владеют небольшим клочком на праве собственности, но, сверх того, вынуждены еще кое-что приарендовывать у помещика. Арендаторов в Японии насчитывается 1,5 милл. семей, а полуарендаторов — 2,3 милл., — всего, стало быть, 38 милл. семей, т.-е. около 21 милл. душ, или 69 проц. сельского населения. Вся эта масса составляет разные прослойки «деревенской бедноты», средний размер участка которой не превышает 0,6 га.

Сверх того, в японской деревне имеется еще некоторое количество чистых батрчков, работающих по найму у помещиков и «крепких» крестьян. Однако точное число их никому неизвестно.

Таким образом, подавляющее большинство крестьянства относится к группе «бедноты». И притом самой горькой и неприкрытой «бедноты»! Ибо средний годовой доход арендатора и полуарендатора колеблется между 600—800 руб. на наши деньги, из которых около половины он вынужден отдавать помещику в виде арендной платы (как правило, аренда составляет 50—60 проц. урожая). Таким образом громадная крестьянская семья (а семьи в Японии вообще очень многолюдны) располагает какими-нибудь 25—30 руб. в месяц на покрытие всех своих потребностей! Это уже не жизнь, это почти нищета. Деревня пытается помогать себе разными средствами — отходными промыслами младших братьев и сыновей, продажей дочерей на фабрики и в веселые дома, наконец кустарными промыслами, важнейшим из которых является шелководство. Шелководством занимаются в Японии 2 милл. крестьянских хозяйств. Однако все эти костыли не в состоянии исцелить экономическую «хромоту» японской деревни. Они не могут также предотвратить мощного развития классовой борьбы на рисовых полях.

А эта борьба все крепнет. Языки ее подымаются все выше. Черные клубы дыма становятся все гуще и зловещее.

Начиная с памятных «рисовых беспорядков» 1918 г., аграрные конфликты вспыхивают все чаще, принимают все более обширные размеры и все более острые формы. Нередко дело доходит до настоящих битв и

расстрелов, как в истории, рассказанной мне Танакой-саном. Механика этих конфликтов очень проста, и в основном всегда повторяется одно и то же.

Неурожай. Крестьяне голодают и не могут в срок внести аренду. Они просят сложения платежей или по крайней мере их отсрочки. Помещик не соглашается. Интересы двух классов сталкиваются, и вспыхивает революционная искра. Или: землевладелец решает повысить арендную плату, крестьяне не соглашаются, опять сталкиваются интересы двух классов, и рождается острый конфликт. Или: крестьяне требуют понижения аренды, помещик на это не идет, вновь сталкиваются интересы двух классов, и загорается пламя социальной войны. Около этих основных точек вращаются все или почти все аграрные конфликты в Японии.

О самих же конфликтах цифры говорят следующее:

1917 г. — 85 конфликтов, 1920 г. — 408 конфликтов, 1923 г. — 1.917, 1926 г. — 2.718 конфликтов.

За десять лет число конфликтов возросло больше чем в 30 раз! И в дальнейшем интенсивность борьбы не ослабевает. Наоборот, она увеличивается. Раньше конфликт, по правилу, охватывал только одну деревню, а сейчас почти всегда — несколько деревень, часто целый уезд, иногда 2—3 уезда. Раньше конфликт редко тянулся дольше недели, а сейчас в среднем затягивается на 2—3 месяца, нередко — на полгода, подчас — даже на 1—2 года. Раньше вспышки борьбы разыгрывались обычно стихийно, а сейчас для подготовки их и руководства ими имеются многочисленные организации. В 1918 г. в Японии насчитывалось только 178 местных «союзов арендаторов», а сейчас их имеется до 5.000. Почти полмиллиона крестьян вовлечены в эти союзы, несмотря на жестокие репрессии, с которыми на них обрушиваются власти. В ответ объединяются и помещики: они имеют сейчас до 200 организаций, насчитывающих около 60 тыс. членов.

Классовая борьба расширяется, обостряется, концентрируется, принимает все более высокие и совершенные формы. Тысячелетиями согбенная спина японского крестьянина начинает медленно и неуверенно выпрямляться. Только начинает!..

Но даже эти первые, робкие попытки всевыносящего «рисороба» слегка приподнять голову с земли действуют как настоящие социальные землетрясения. Они приводят в ужас и трепет господствующие классы страны. Приводят в ужас и трепет гораздо больше, чем рабочие восстания. И это понятно. Крестьянство дает основной костяк японской армии. Крестьянство лежит в фундаменте всей современной общественной пирамиды Японии. Горе пирамиде, если ее фундамент начинает шевелиться.

Женщина

...Когда солнце уходит под горизонт и над миром подымается сероголубые су-

мерки, темные аллеи и дорожки Хибиа-парка наполняются трепетными тенями Эроса.

Двухмиллионная столица медленно и постепенно отходит ко сну. Медленно и постепенно замолкают тысячеголосые шумы огромного города. Медленно и постепенно гаснут его бесчисленные вечерние огни. Стихает стук «гетэ» о каменные мостовые улиц. Стирается громкий рев автомобильных гудков. Ночная прохлада — влажная и освежающая — падает на разгоряченную землю с далекого, обсыпанного звездами неба.

В эти часы Хибиа-парк переживает моменты высочайшего напряжения. Самый воздух его кажется густо насыщенным какой-то опьяняющей стихией. Темные силуэты деревьев стоят, как завороченные. Не дрогнет лист. Ни вздоха ветерка...

И только — под тенистыми ветвями платанов и криптомерий, по аллеям, дорожкам, тропинкам огромного парка тихо скользят, как завороченные, парочки, парочки, парочки... Студенты, рабочие, приказчики, художники, журналисты... Продавщицы, швейки, кондукторши, гейши, ученицы средних и высших школ... Мужчины — в европейских пиджаках, в рабочих куртках, в японских кимоно... Женщины — почти исключительно в кимоно и «гетэ»... Одни по-японски сдержанно — плывут на почтительном расстоянии друг от друга, другие — идут под руку, по-европейски, третьи уже просто по-парижски обнимаются... Слышатся сдержанный смех, мелодичное женское щебетанье, звуки молодых, горячих поцелуев...

Хибиа-парк живет полной жизнью. Трепетные тени влюбленных скользят, точно приведения в старинной сказке. Как прекрасны эти женские силуэты в их широких, таинственных кимоно! Сколько грации и изящества в каждом их жесте и движении! Сколько прелести в изгибах их тела, в наклоне головы, в слегка колеблющейся походке! В этих маленьких, худеньких, трогательных японочках есть какое-то ни с чем несравнимое, им только одним свойственное очарование. В нем чувствуется дальний Восток, широкая Азия, полуденное солнце и седая от времени легенда...

Хибиа-парк живет полной жизнью...

Вдруг резкий свист, громкие крики, топот ног, истерические женские визги. Трепетные тени Эроса разбегаются и разлетаются во все стороны, как «частные торговки» на московских улицах при виде милицейского. В чем дело? Что случилось?

Ничего особенного. Это просто очередной налет полиции. По законам современной Японии, поцелуй и объятия «в публичном месте» безнравственны. А так как японская полиция заботится не только об «общественном порядке», но также и об «общественной морали», то почти каждый вечер ее многочисленные агенты делают набег на влюбленных одного из многочисленных парков столицы. И горе парочке, которая при этом замешкается! Она будет арестована, проведет ночь в участке, попадет в печать и вдобавок должна будет еще упла-

тить штраф по суду. Опасное это в Японии дело — целоваться!

Вот и сейчас. Все трепетные тени Эроса с быстрой ветра растаяли во мраке ночи без следа, но одна парочка все-таки досталась трофеем полиции. Мужчина был студент, а женщина... Кто знает, что она такое была?.. Приказчица? Проститутка? Работница?.. Трудно сказать. Однако при свете полицейского фонаря было видно, что она молода и красива и что она смертельно перепугана. Студент что-то заговорил, обращаясь к сержанту, гневно и взволнованно, — блюститель нравственности ответил ему резким ударом кулака. Женщина в ужасе упала перед сержантом на колени и, цепляясь за его сапоги, стала жалобно молить о пощаде. Впрочем полицейский не был расположен к сентиментальности. Он грубо схватил женщину за шиворот, встряхнул ее, поставил на ноги и под конвоем трех родовых повел ее вместе с ее любовником в ближайший участок.

Мне было очень жаль эту бедную, перепуганную девушку. Но еще более меня поразило другое. Когда эта девушка упала на колени пред полицейским, когда она целовала его ноги, когда она просила его о прощении, когда она шла под конвоем в тюрьму... сколько природенной грации, сколько чарующего изящества, сколько истинно японской прелести было в каждом ее движении!..

...Фешенебельный японский ресторан, таинственно мерцающий вечерними огнями сквозь гущу скрывающих его растений. В длинной и низкой, почти квадратной зале — сияющая пустота. Гладкие серо-блестящие стены, гладко-деревянный полированный потолок, гладкие желто-сверкающие циновки на полу. Все. Ничего больше. Ни столов, ни стульев, ни диванов, ни даже картин по стенам. Как-то пусто и вместе с тем приятно. Мы сидим «покоем» вдоль трех стен на плоских черных подушках, в носках, поджавши ноги под себя. Больно и непривычно, но ничего не поделаешь. Таков японский обычай. Молчим и ждем.

Вдруг легкий шорох и сдержанное шептание. Из дальней двери показывается необыкновенная процессия. Одна за другой, гуськом, мелко семеня ножками в белых «таби»¹⁾, по желто-блестящим циновкам не идут, а плывут десятка полтора хорошеньких девушек в ярко пестрых нарядах. Каждая из них кланяется, и каждая несет в своих маленьких, выхоленных ручках крохотный лакированный столик из черного дерева. Это гейши, которые сегодня нас будут занимать. Все они молоды (нет ни одной старше 20 лет), все они прелестны, как только-что распустившийся цветок, и все они ласково грациозны, как маленькие кошечки, которых шекочут за ушком. Гейши одеты в длинные, красиво расписанные с ярко белой подкладкой кимоно всех цветов радуги — синие, красные, зеленые, лиловые, желтые. Гейши не боятся пестроты,

не боятся бьющих в глаза красок. Чем моложе гейша, тем ярче ее костюмы. Головы гейш — это редкое чудо куафюрного искусства. Они подобны каким-то узорчатым башням с стрелчатыми окнами, висячими мостиками, остроконечными шпицами и гребнями. Волосы густо смазаны маслом и блестят. В них со всех сторон наткано бесконечное количество ярких цветов, булав, подвесных украшений, трепещущих, как бабочки, при каждом движении девушки. Ах, какая сложная и ответственная вещь прическа гейши! Поэтому гейши меняют ее не чаще раза в неделю, а чтобы не портить своих головных сооружений, они спят на особых резиновых валиках, подкладываящихся под шею, так что голова всю ночь остается навесу.

Гейши тихо подплывают к гостям и с низким поклоном ставят перед каждым маленький столик с странными кушаньями: суп из черепахи, сырая рыба, остро-соленая редька, какие-то кислые морские водоросли... Тут же рядом, на полу, ставится изящная фарфоровая бутылочка с подогретой «сакэ», такая же рюмочка-чашечка и небольшая полоскательница с холодной водой.

Каждому гостю по гейше. Каждая гейша угощает и занимает своего гостя. Сидя японски на коленях, она то и дело поддвигает ему кушанья, наливает «сакэ», кланяется, смеется, занимает шутками и прибаутками. Вот она из ниток и бумаги сделала крохотную собачку, поставила ее на столик и с поклоном залаяла. Вот она из безмерной глубины своего рукава извлекла несколько жуткого вида японских конфет и с самой очаровательной улыбкой на свете кладет вам одну из них прямо на язык. Вот она достала из-за широкого «оби»²⁾ пачку завернутых в бумагу зубочисток и с царственным жестом преподносит их вам. Вот она берет из ваших рук рюмочку-чашечку, наливает в нее «сакэ», выпивает и вновь протягивает вам. Вы непременно должны сейчас же выпить из той же рюмочки-чашечки, иначе гейша обидится...

Бегут минуты и часы. Одно за другим следуют непонятные японские кушанья. Быстро пустеют и вновь наполняются бутылочки с «сакэ». Наши японские хозяева уже пришли в то состояние, о котором Беранже когда-то писал: «не то, чтоб очень пьян, но весел бесконечно». Они потеряли свою привычную сдержанность. Они громко говорят, размахисто смеются, энергично жестикулируют и все чаще перебарываются с гейшами двусмысленными шутками...

Вдруг стена залы неожиданно раздвигается, и перед нами открывается спрятанная за ней сцена. Пять гейш в темных кимоно, сидя на коленях, смело ударяют по струнам «сэмизена»,²⁾ — зал наполняется металлически-протяжными, надрывно-глубокими звуками старинной японской музыки. Три гейши в дивно прекрасных, ярких, рас-

¹⁾ «Оби» — широкий пояс, перехватывающий на груди женское кимоно.

²⁾ «Сэмизен» — японская трехструнная гитара, на которой играют не пальцами, а косточкой.

¹⁾ «Таби» — японские носки.

шитых золотом и цветами кимоно начинают древний сказочный танец. Они танцуют о том, как молодой благочестивый монах по пути на богомолье остановился на ночлег у одной красивой вдовы, как вдова эта внезапно воспылала неудержимой страстью к монаху, как монах поспешно бежал из дома вдовы, спасаясь от ее преследований, как вдова, обратившись змеей, неслась быстрее ветра вдогонку за монахом, как монах в последний момент успел-таки добраться до монастыря, а нечестивая вдова в возмездие за свои греховные поступки была превращена в колокол, который и до сих пор созывает верующих в храм на моление...

Три гейши танцуют, то широко раскидывая руки, то извиваясь всем телом, подобно змее, то склоняя голову почти до земли, то откидываясь назад всем корпусом. Движения их становятся все быстрее и напряженнее. Во время танцев они ловко скидывают одну яркую одежду за другой, пока не остаются в легких бледно-розовых хитонах. Гейши кружатся на месте, схватываются за руки, разделяются, снова соединяются, изгибаются то вправо, то влево, зывают к небесам, протягивая руки. «Сэмизены» гремят, струны надрывно-металлически плачут, резкие аккорды то гулко взлетают к низкому потолку зала, то замирают и бесильно падают на землю. Вдруг гейши в темных кимоно круто обрывают на низком, за сердце хватающем звуке. Три гейши в бледно-розовых хитонах сразу останавливаются и замирают в неподвижности, точно

Танец окончен. Раздаются шумные аплодисменты и громкие возгласы восторга. Гейши на сцене оживают и низко кланяются зрителям. На густо напудренных лицах их сверкает довольная улыбка. Их шумно приглашают занять места среди гостей, им наперебой предлагают чашечки с «саке»...

У нас широко распространено представление, что гейша и проститутка — синонимы. Это большая ошибка. Верно, что из гейши легко превратиться в проститутку, статуи с протянутыми вверх руками... но зато из проститутки превратиться в гейшу почти невозможно.

Япония имеет свою проституцию, самую обыкновенную проституцию — этот гнило-стный продукт каждого буржуазного общества. Здесь есть разрешенные публичные дома, есть зарегистрированные властями проститутки, число которых определяется примерно в 50.000. Но конечно эта цифра далеко ниже действительности.

Повторяю, в Японии есть своя проституция, но гейши — совсем не проститутки, в обычном понимании этого слова. Стать гейшей совсем не так просто даже при наличии смазливой лица и красивого тела. Для этого требуется длинная и сложная выучка. Гейша начинает свою карьеру в 13—14 лет. Родители «сдают ее в аренду» по контракту на длительный срок многочисленным в Японии хозяевам «чайных домов». Эти дома, по правилу, не велики, — 5, 7, 10, редко больше гейш в доме. Но зато их

имеется огромное количество в каждом крупном городе. И общее число гейш в стране достигает 80.000. Молоденькие девушки, почти девочки, сразу же поступают в крепкую обработку. Их обучают самым изысканным японским манерам, — а это целая и тонкая и разветвленная наука. Их обучают изящной японской речи, — а это трудное и капризное искусство. Их обучают тайнам костюма, прически, косметики, — а это сложно, как высшая математика. Их обучают знаменитым «чайным церемониям», рисованию цветов, птиц и зверей, танцам, музыке, пению. Но этого мало. Каждая гейша сверх того еще специализируется на чем-нибудь одном. Есть гейши, прекрасно знающие старую японскую литературу, рассказывающие сказки и легенды, декламирующие стихи. Есть гейши — искусные танцовщицы, в роде тех, которых я видел в феянебельном столичном ресторане. Есть гейши — виртуозы в игре на «сэмизене» или «кото»¹⁾. Есть гейши — первоклассные актрисы. Недаром в Японии имеется известный «Театр гейш», где гейши играют все роли, не только женские, но и мужские. Этот театр принадлежит к числу лучших в стране и посещается сливками японского «общества». И одновременно — все гейши в совершенстве проходят до тончайших изгибов, до сокровеннейших глубин вечно старую и вечно новую науку любви... Гейши — не проститутки, но каждая гейша непременно имеет своего «друга» или «покровителя», который на нее тратится и которого она увеселяет. Речь здесь при этом идет вовсе не об одних лишь юнцах, не вышедших из студенческого возраста. Как бы не так! Чарам гейш воистину «все возрасты покорны». Любой министр, генерал, банкир, фабрикант, писатель, художник обязательно имеет «свою» гейшу, с которой он поддерживает длительную связь, которая часто играет крупную роль в его государственной или общественной деятельности и на которой он в конце концов нередко женится. В Токио любят говорить, что по крайней мере половина японских премьеров была жената на гейшах. Если тут даже и есть какое-либо преувеличение, то во всяком случае не очень большое. Некоторые гейши вошли в историю. Так например известная гейша О'Кои была многолетней подругой князя Катура, главы японского правительства в эпоху русско-японской войны...

На кого больше всего похожи гейши?

Пожалуй, на древнегреческих гетер. В условиях же современных Англии, Франции, Германии, Америки вы не найдете им полпой параллели. Буржуазный Запад не знает института, аналогичного гейшам. Здесь Япония обнаруживает свою несомненную оригинальность, имеющую впрочем — странно сказать! — известное сходство с совершенно чуждой ей античной Элладой. И, если уж во что бы то ни стало желать найти какую-либо аналогию гейшам в других капиталистических странах наших дней,

1) «Кото» — японская цитра.

то ее надо искать не в среде проституции, а в пестро-легкомысленном мире опереточных и эстрадных актрис... Однако и тут с одной оговоркой: гейши умеют любить гораздо глубже и трагичнее, чем европейские «дивы». Ведь нередко героинями двойных любовных самоубийств в Японии являются как раз гейши¹⁾.

Да и надо ли этому удивляться?

В старой, дореформенной Японии брак заключался без любви. Брак был простой сделкой между двумя семьями. Жених и невеста обычно друг друга не знали и впервые встречались только на «смотринках». В браке поэтому были физиология, экономика, геральдика, домохозяйство, быт, все, что угодно, но только не любовь. Любовь же жила лишь в «чайных домиках». Когда мужчина испытывал потребность в действительной страсти, подлинной любви, он шел к гейше. На протяжении столетий именно около красивой головки гейши сплетались лучи самых чудесных и самых изысканных любовных романов. Были примеры ослепительного счастья, но были примеры и глубочайших трагедий. И последних насчитывалось гораздо больше, чем первых.

В новой, пореформенной Японии положение стало изменяться, — однако не сразу, а медленно и постепенно. Мужчины 70-х—80-х годов прошлого века еще не умели любить «по-современному». В этом отношении они все еще жили в прошлом. Даже наиболее прославленные реформаторы страны, все эти Ито, Ямагата, Катокура и др., полной пригоршней вливавшие «европеизм» в старояпонское болото, любовью занимались только в «чайных домиках». К концу XIX века мужчины начали несколько «смелеть» и ухаживать, правда весьма робко и наивно, за женщинами сказительницами сказок, к ногам которых в знак любви обычно бросались мелкие монеты, за первыми начавшими тогда появляться женщинами-конторщицами, женщинами-акшерками, женщинами-работницами, женщинами-интеллигентками. XX столетие с его стремительным бегом развития, с его высокой техникой и «разрушительными» идеями дало мощный толчок эволюции нравов. Особенно крупную роль тут сыграли чрезвычайно популярные в Японии американские фильмы, ярко демонстрировавшие «к соблазну» рядового обывателя всю гамму любовных действий и переживаний, принятую на Западе. Американские фильмы в частности

«законили» поцелуй в быту подрастающего поколения, хотя полиция еще продолжает с ним бороться. В соответствии с «духом времени» стали эволюционировать и формы любви, постепенно все более приближаясь к буржуазноевропейским...

Сошла ли однако гейша со сцены?

Никоим образом! Ведь современная Япония — не Европа! В отношении женщины и любви — особенно не Европа! Так можно ли говорить о смерти гейши?

Возьмем основные факты.

Японская женщина вплоть до настоящего дня лишена политических прав. У нее нет избирательного права ни в парламент, ни в местное самоуправление. До 1922 г. она не могла даже участвовать в политических собраниях, и только в самые последние годы были отменены соответственные полицейские ограничения.

Японская женщина вплоть до настоящего дня лишена прав государственной и общественной службы. Она не может быть ни министром, ни городским головой, ни профессором, ни вообще штатным чиновником правительственной машины. Единственное исключение — учительницы народных школ (их имеется до 100 тыс.), акушерки и сестры милосердия (тоже около 100 тыс.), но это исключение только еще резче подчеркивает господствующее правило!¹⁾

Японская женщина вплоть до настоящего дня лишена прав среднего и высшего образования. Гимназии, являющиеся подготовительной ступенью к университету, закрыты для девочек. Девочки обучаются в специальных средних школах с гораздо меньшим объемом программы. Также закрыты для женщин государственные университеты. Женщины в последние годы стали допускаться лишь в частные университеты.

Японская женщина вплоть до настоящего дня лишена экономических прав: ее заработная плата в среднем вдвое ниже, чем заработная плата мужчины, выполняющего ту же самую работу.

И наконец японская женщина вплоть до настоящего дня лишена наиболее существенных прав в той области, которая особенно близка и особенно существенна для нее, — в области семейного быта и уклада. В токугавскую эпоху женщина была просто рабыней своего мужа. И муж имел над ней полную и бесконтрольную власть, включительно до права в любой момент отослать ее назад к родителям. По тогдашнему японскому «Домострою» муж мог прибегнуть, к такому образу действий, если жена страдала одним из семи следующих грехов: ревностью, непослушанием, бездетностью, болезнью, безнравственностью, болтливостью, склонностью к воровству. И так как японский брак эпохи Токугава представлял собой простую семейно-хозяйственную сделку, то женщина при этом была низведена на положение чего-то весьма близкого к простому товару.

¹⁾ В Японии самоубийства из-за любви — повседневное явление. Особенно распространены двойные самоубийства влюбленных. Достаточно, чтобы на пути любящей пары к соединению стали какие-либо непреодолимые препятствия. — роковой финал неизбежен. Молодые люди считают своим долгом умереть и действительно очень часто умирают, выбирая самые разнообразные, подчас самые варварские способы смерти. Бросаются в море, прыгают с высокой скалы в пропасть, ложатся под колеса поезда, принимают яд, стреляются и т. д. На острове Хоккайдо есть горячие серные ключи, которые образуют злое, кипящее, как котел, озеро, всегда окутанное густыми облаками пара. Влюбленные пары бросаются в это озеро и моментально свариваются в вонючем кипятке...

¹⁾ Имеется еще несколько сот женщин-врачей, окончивших заграничные университеты.

Сейчас—XX столетие, век аэропланов, радио и электричества, однако японский брак и в наши дни заключается по преимуществу через «накодо» (сваху) и по прямому решению глав заинтересованных семей. Свободного выбора, любви и прочих «романтических атрибутов» европейского брака в Стране Восходящего Солнца не признают. К чему это? Брак, по японским понятиям, весьма важный, но совершенно прозаический гешефт, к которому надо подходить с теми же серьезностью, осторожностью и практицизмом, с какими подходят к покупке крупной партии леса или приобретению ценных бумаг. Единственное отступление от обычных правил коммерческой сделки допускает в данном случае буржуазная Япония, учитывая особый характер «трагуемого» товара: браки редко окончательно оформляются сразу. Первый год совместной жизни мужа и жены считается временем «испытания». Только если он закончится благополучно, брак регистрируется и приобретает все признаки прочности и постоянства. Однако это бывает не всегда: по официальной статистике, общее число разводов составляет около 10 проц. всего числа ежегодно заключаемых браков.

Впрочем страдающей стороной и сейчас, как и во времена Токугава, является женщина. Жена в современном японском браке глубоко бесправна. Глава семьи—это настоящий диктатор. Главой же семьи может быть только старший в семье мужчина. Обычно—это муж, но, если муж умирает, его место занимает старший сын, хотя бы даже малолетний. Его имя появляется на двери дома, его подпись требуется под всеми официальными семейными документами. Вдова-мать считается только его временной опекуншей и обязана повиновением его ребяческой воле. Равным образом только он является наследником всего имущества отца. Мать не получает ничего. Если муж умирает бездетным, ему наследуют братья, а не жена. Это правовое пренебрежение к женщине заходит так далеко, что наследственные права «незаконного» мальчика имеют преимущество перед наследственными правами «законной» девочки,—факт потрясающий для буржуазного государства! А отсюда естественный семейно-бытовой вывод: если жена родит мужу мальчиков, она пользуется почетом и уважением; если жена родит мужу девочек, ее удел—обидное сожаление, а нередко плохо скрытое презрение.

Да, Япония вплоть до настоящего дня «страна мужчин». Мужчина здесь еще неоспоримый господин, женщина здесь еще грубо и цинично, без всяких фиговых листочков попирает женские права. Недаром же понятие «жена» передается японским словом «okusan», что в переводе означает: «госпожа из задних комнат»...

Помню, однажды я был в гостях у очень известного японского писателя. Он пригласил меня поужинать. На столе были только два прибора и у стола стояли только два стула, хотя писатель познакомил меня с

своей женой, очень милой и образованной женщиной, прекрасно говорящей по-английски. Мы сидели и ужинали вдвоем. Хозяйка все время бегала между столом и кухней, все время нас угощала, но сама ни разу не присела к столу. Она не смела присесть. Ибо, по старинной японской традиции, жена не может сидеть за одним столом с мужем и его гостями. Она может только служить. Вот как велика власть прошлого даже над крупнейшими представителями современной японской интеллигенции! Что же сказать о крестьянстве; о городском мещанстве, о буржуазии, о чиновничестве?!

Еще раз: сошла ли гейша со сцены? Конечно нет. В такой обстановке гейша не может умереть. И хотя европейские формы любви все шире пробивают себе дорогу, гейша еще очень крепко держит свои священные веками позиции. Она все еще остается жрицей любви, около красивой головки которой сплетаются цветы самых изысканных—то радостных, то трагических—романов.

Старая Япония еще тяжело тяготеет над женщиной!

И все-таки...

В один жестокий летний день, когда нестерпимая сырая жара, казалось, расплавляла людей и животных, я сидел в бюро японского суфражистского общества. Предомной была его представительница—Дама средних лет, в кимоно и круглых ровных очках, как обычно носят японцы. Несмотря на томительную жару, она была полна энергии и энтузиазма по поводу того, что она называла «главной целью своей жизни», т.-е. женского избирательного права. Она рассказывала мне о митингах, на которых выступала в защиту этой идеи, о журналах и листовках, которые распространяла среди женщин, о быстрых успехах, которые суфражистское движение делает в Японии, и о многом, многом другом. В конце концов она, видимо, забыла, что пред ней сидит один единственный обливающийся потом иностранец, она, должно быть, вообразила себя на большом суфражистском собрании, пред лицом жаждущей поучения аудитории, и загремела:

— Вы спросите меня, на чем японская женщина обосновывает свое требование политических прав? На прошлом, на истории, на мудрости наших дедов и прадедов! Вспомните японскую мифологию, наше главное божество, от которого, по словам легенды, произошел японский народ,—женщина, богиня солнца Аматаерасу. Когда Аматаерасу, возмущенная жестокостью своего младшего брата, в знак гнева скрылась в священной пещере, так что мир погрузился во мрак, все боги и богини собрались на совет и решили хитростью извлечь ее из пещеры. У входа в пещеру веселая богиня Амено Узуме стала танцевать комический танец и делала это столь совершенно, что весь божественный синклит громко показывался со смеху. Полная любопытства при звуках доносящейся до нее веселости Ама-

терасу слегка приоткрыла дверь пещеры, чтобы выглянуть наружу. Этого только и ждали боги. Один из них схватил протянутую руку Аматерасу и вывел ее из пещеры, вновь вернув миру свет и тепло. Кто добился такого результата? Опять-таки же женщина, шаловливая богиня Амено Узуме.

Моя собеседница слегка обтерла платком покрытое потом лицо и затем продолжала: — А в истории? В первые столетия нашего национального бытия женщина играла крупнейшую роль в политической и общественной жизни. Японией часто правили не императоры, а императрицы, и эти женщины на троне часто оставляли по себе неизгладимую память...

Признаюсь, я был несколько ошеломлен. Я никак не мог понять, зачем японской суфражистке XX века надо было аргументировать в пользу женского избирательного права от мифологии и от древних царей. Разве нельзя найти других доводов, возрастом помоложе и убедительностью покрепче? Я не хотел однако огорчать мою собеседницу и потому предпочел перевести разговор на более конкретную почву. Я спросил:

— В какой форме вы представляете себе женское избирательное право?

— Как в какой? Ну конечно к выборам должны быть допущены женщины с образованием...

Оказалось, что моя собеседница, сама жена либерального японского адвоката, считает за «женщин» только окончивших по крайней мере среднюю школу. Оказалось также, что все бесправие женщины она сводит к коварству и прирожденному властолюбию мужчин. Оказалось далее, что она с большой опаской относится к пробуждению миллионов работниц и крестьянок. Оказалось... да мало ли еще что оказалось!

Преодо мной была типичная буржуазная суфражистка, во всей своей близорукости и ограниченности, буржуазная суфражистка под японским соусом!

Но все-таки это была уже новая японская женщина.

И наконец еще одно яркое воспоминание...

Токио. День 1 мая. По длинной, накаленной солнцем улице идет рабочая манифестация. Сотни маленьких, юрких полицейских кишат на мостовой и тротуарах. Конные и пешие «блюстители порядка» то медленно двигаются вместе с демонстрантами, то останавливаются, то бегают, то прыгают, то нагло наскакивают, размахивая саблями,

на мимо проходящую колонну. Их не очень много, этих смельчаков-революционеров, рискнувших выйти сегодня на улицу, — всего тысяч шесть. Но в условиях железной руки японской диктатуры шесть тысяч на улицах Токио значат гораздо больше, чем шестьдесят тысяч на улицах Лондона или Парижа. Демонстранты медленно идут, с трудом прокладывая себе дорогу сквозь строй полиции, сквозь толпы любопытных и зевак, стоящих по обеим сторонам шествия. Среди них можно различить отдельные группы. Вот идут рабочие железнодорожных мастерских, вот рабочие арсеналов, вот типографщики, вот металлисты и строители. Бегут знамена, но то пестрые, разноцветные знамена профессиональных союзов. Красные знамена с первомайскими лозунгами сегодня полицией строго-настрого запрещены...

Вдруг какая-то волна пробегает по демонстрации. Миг напряжения, замешательства и беспокойства, и вот — показывается небольшая, но стройная колонна женщин. Они все в кимоно и «гета», но волосы у них перевязаны красными лентами и к «оби» приколоты красные цветы. Здесь работницы иглы, текстиля, омнибусов, прилавка, наборной кассы. Идут они крепкими рядами, взявши друг друга под руки, и на лицах их написаны решимость и энтузиазм. Внезапно раздвигаются ряды женщин, вперед выбегает молоденькая девушка, лет 19, с широкой красной лентой через плечо. Она взмахивает руками, и над головой у ней на легком, тонком шесте взвизгивает ярко-красное знамя с возгласом: «Да здравствует мировая революция!» Дюжина полицейских, как злые пауки, сразу бросается к девушке и к знамени. Работницы и рабочие тоже бросаются на помощь, и со всех сторон окружают трепещущее красное подотнище. Завязывается борьба, начинается свалка. Крик, шум, смятение, удары сабель, истерические женские взвизгивания. Еще момент — и запретное знамя смято и затоптано в пыли, на земле, а рядом с ним, как-то сразу сломавшись и потухнув, лежит молоденькая девушка с красной лентой. Из расчлененной головы ее на мостовую медленно стекают крупные капли крови...

Это уже воистину новая японская женщина! Та женщина, которая рано или поздно войдет в царство социализма.

Ей принадлежит завтрашний день.

На этом кончалась рукопись Нила Спиридонова.

Книжное обозрение

1. П. КОФАНОВ „Станицы в огне“. Арк. Глаголева.—2. Н. ТИХОНОВ „Анофелес“. Н. Матвеева.—3. Б. АНИБАЛ „Время, дела и люди“. Я. Бучилова.—4. З. ЧАГАН „Еще раз рожденные“. Бориса Гроссмана

Павел Кофанов — «Станицы в огне». Повесть. Изд. «Федерация». М. 1931. (Серия «Социалистическое строительство».) Стр. 141. Ц. 90 к.

Материал повести, по времени относящийся к зиме 1930 г.,—самый актуальный: коллективизация казачьих станиц и хуторов, организация колхозов, классовая борьба в деревне.

Но... но автор назвал свое произведение повестью, он хочет, чтобы его книжку рассматривали как произведение искусства. Однако как мастер художественного слова П. Кофанов еще весьма слаб. Правда, ему иногда литературно удаются некоторые отдельные бытовые зарисовки, кое-какие фигуры представителей старой деревни не лишены известной выразительности, можно считать удовлетворительной иллюстрацию многообразных форм классового сопротивления кулаков социалистическому наступлению. Но в лепке художественных образов, особенно новых людей, автор довольно-таки беспомощен. Форма у Кофанова частенько не соответствует содержанию, сильно отставая от последнего. Примером может служить один из основных образов повести, деревенский передовик, учитель Пospelов, послуживший Кофанову поводом для сложения «поэмы о народном учителе». Для обрисовки этого Пospelова у писателя не находится своих, свежих слов, он пользуется трафаретами.

«Учитель стал жестким и беспощадным. Не говорил, а чеканил слова, звонко разбирающая их перед собравшимися».

«Я не буду,—отрезал учитель и снова за метался по комнате...»

«...Венский скоро умолк, заметив пронзительный взгляд учителя Пospelова» и т. п.

Изядной долей литературной патоки насыщена зарисовка появления Пospelова на съезде молкозников (стр. 137).

Показ этого образа дефективен не только со стороны художественного мастерства, но, кроме того, и идеологически:

«...Пospelов был не только учителем и партийцем. Жила в глубине его души неясная ему самому сила, страстная и неу-

емная; жажда переделать всю жизнь по заветам вождя». Это «не только», разделяющее в Пospelове партийца и обладателя «жажды переделать всю жизнь по заветам вождя», оставляет более чем странное впечатление.

Далее в облике этого же самого Пospelова сквозь всю его внешнюю «жесткость» явственно проступают давно знакомые черты банальнейшего «чеховского» провинциального интеллигента:

«...Никто не знал, что Иван Александрович живет аскетом, любит Пушкина и часто по вечерам в своей комнатке тихо декламирует... мечтает попасть в Москву и заглянуть в Третьяковскую галерею и Художественный театр».

Бесцветен и облик «корреспондента центральных газет» Венского.

Об отсутствии у П. Кофанова литературно-художественной культуры приходится пожалеть: у него под руками значительный социальный материал.

Арк. Глаголев.

Н. Тихонов. — «Анофелес». Рисунки Вл. Конашевича. Изд-во Писателей в Ленинграде. 1930 Стр. 142. Ц. 1 р. 40 к. Пер. 25 к.

Необычная, волнующая, большой художественной ценности повесть, богатая внутренней связью частей. В ней нет незначительных мест. Фантастические явления, пластически развернутые и искусно перемешанные в ней с бытовыми сценами, ничуть не заглушают большого общественно-го смысла «Анофелеса». Счастливое и редкое сочетание гофманства как художественного приема с реальной советской тематикой. Повесть не проблематична,—это было бы слишком робко для ее темы. Она дает резкий и прямой ответ об объективной бессмыслице и вредности существования интеллигента-«непротивленца» в нашу эпоху социалистической стройки.

Заговорщик мечты (но не «чувства»). «бедный рыцарь» культуры, мнимый непротывленец, призывающий всех стариков к публичному и «мирному» уходу в природу, на пчельник, подальше от советских людей—«осквернителей» культуры, у ч и т е л ь

географии Кучин (который только и делает, что по-старинке учит и учит и не ведаёт, как все переместилось на географической карте мира), этот герой печальной образа развенчивается, разоблачается Н. Тихоновым с исключительной последовательностью и каким-то сострадательным мужеством. Никаких заговоров, даже вегетарианских, — вот логика произведения.

Никто другой однако, как сама жизнь, больно бьет Кучина. Он остается в абсолютном, круглом одиночестве, покинутый даже сверстниками. Одиночество ошпанного революцией представителя воображаемой надклассовой культуры раскрыто в повести особенно сильно. Личная антипатия его к буржуазному материализму не спасает положения, — слишком идеалистичны ее корни, и конечно Н. Тихонов мог бы досказать за Кучина, что строящийся в повести холодильник есть не что иное, как символ замораживания культуры, — именно так должен думать Кучин. Философия его — в презрении к «очевидности» (какая этимологическая ясность образа), в обращении к «рационализации». Мудрено ли, что на его призыв откликнулся только один человек — «чумаый», поджигатель, бывший домовладелец. С ужасом отвергается Кучин от такого «союзника». Внебытовой дурак и донкихотствующий чудак (являющийся в историко-литературном плане последней вариацией андрей-беловских «профессоров») начинает наконец как-будто понимать всю фиктивность и относительность своей аполитичности. Жаль только, что этому художественно полноценному герою никто, за исключением молодежи, в повести достойно не противостоит (инженер-большевик Поршнев слишком смутен и невещественен, и не случайно, может быть, скучноватое начало и несколько растянутое окончание повести связано с появлением Поршнева).

Позволительно однако спросить: стоило ли писателю заниматься такой музейной редкостью, как Кучин? Думаю, что стоило. Направленные фантазией художника в глубину обрубки кучинских прокуренных вождений неожиданно приобрели в повести отчетливые контуры безвозвратности и прошлости. Здесь как раз гофманство, умеренно использованное Н. Тихоновым, оказалось очень на месте, как оказалась на месте и вся чувственность, и плотность стиля Н. Тихонова («раскрылся рот, как дупло», «решение теплое, как пирог» и т. п.).

Н. Матвеев.

Борис Анибал. — «Время, дела и люди». (Фабричные очерки). Изд-во «Федерация». М. 1930. Стр. 134. Ц. 80 к.

В «предуведомлении» к своей книжке автор пишет, что материалом для очерков послужила жизнь и история одной фабрики.

И действительно цикл фабричных очерков представляет собой живое и полное описание работы и жизни рабочих швейной фабрики.

Анибал великолепно знаком с тем, о чем пишет; от него не ускользают даже мельчайшие детали фабричной жизни, и потому правдивы и увлекательны его очерки.

Наглядно и просто показана картина швейного производства («Будни» и «О рыбьей кости, швейных машинах и пр.»).

Хорошо схвачен как организующее начало элемент общественного воздействия (суд над прогульщиками). И особенно удачно сделана глава об отдыхе рабочих в б. имени князя Юсупова. Несколько подробное описание усадебной роскоши автор вводит для того, чтобы сильней оттенить, что все эти ценности принадлежат рабочему классу.

Нужно отметить, что очерки Анибала не простой фотографический показ действительности, а в них заключен активный, организующий элемент. Типы выведены не шаблонно, не штампованно, а жизненно и реально («Трое»).

Книжку Анибала можно рекомендовать.

Я. Бучилов.

З. Чаган. — «Еще раз рожденные». Очерки ГИХЛ. М.—Л. 1931. Стр. 119. Ц. 95 к.

Тема сборника десяти очерков — перерождение людей в условиях реконструкции народного хозяйства. Очерки не связаны «единством места». Днепротетровск, Ленинград, Бежица, Москва, Урюпинск, завод, втуз, колхоз и др.

Рассказывая о «еще раз рожденных» людях, которые вместе с ростом промышленности и коллективизации изменяются внутренне, превращаются в конкретных носителей социализма, — автор разоблачает приспособленцев, рвачей, безнадельных собственников, классовых врагов.

З. Чаган пишет темпераментно, он вгрызается в материал, который является для него лишь основанием для тех или иных выводов. Очерки Чагана сильны именно своей политической заостренностью.

Художественности, образного показа в «Еще раз рожденных» мало. Поэтому не запоминаются отдельные люди, не остаются в памяти детали. Автор довольно схематично иллюстрирует людьми свои наблюдения, выводы.

Если публицистичность очерков является сильной стороной сборника, то из этого не следует, что художественная невыразительность его оправдана, естественна. Разве нельзя сочетать публицистическую остроту произведения (хотя бы очерка) с остротой художественного восприятия, полноценного показа? Нам кажется, что если бы З. Чагану такое сочетание удалось, — книга выиграла бы.

Борис Гроссман.